

Евгений Андреевич Салиас Аракчеевский подкидыш

I

Были последние числа октября. По большой дороге, недалеко от реки Волхова, двигался тихо дорожный экипаж. Зима еще не наступила, санного пути еще не было, но вся окрестность, освещенная полумесяцем, белелась сплошь покрытая тонким слоем снега, и только дорога черной полосой расчеркнула по полям пустынную белую равнину. Карета, запряженная четверкой «вольных» лошадей, могла бы двигаться гораздо скорей, так как дорога была отличная, но ямщик постоянно сдерживал и оглядывался. Ему было строго приказано не уезжать далеко от ехавших сзади двух бричек.

В карете сидел Шумский и рядом с ним Авдотья Лукьяновна. Они ехали из Петербурга в Грузино и теперь были от него верстах в трех. Шумский сильно похудел, побледнел, но, кроме того, в лице его совершилась какая-то странная перемена, которая бросалась в глаза. Взгляд, всегда упорный и проницательный, вспыхивавший зачастую ярким огнем, теперь был совершенно иной. Взор как-то потух, уже не горел по-прежнему, но стал еще более жесткий. В нем не было прежней открытой смелости и беззаботной дерзости, а было лишь что-то сдержанно злое. На все лицо легла какая-то тень озлобления. Он даже держался иначе, сидел и двигался несколько сгорбившись, несколько поникнув головой.

По всей фигуре Шумского можно было догадаться, что над ним разразился такой удар, от которого большинство людей не оправляются, который можно пережить физически, но трудно пережить нравственно. Его мать изменилась тоже.

Ряд бессонных ночей, душевные муки и раскаяние в опрометчивом шаге, погубившем ее «божество» – все пережитое женщиной за это время от всех ее бесед с сыном, наконец, принятое им роковое решение, – все это подействовало на нее так сильно, что природа, хотя и крепкая, все-таки сдалась. Авдотья постарела сразу лет на десять. Еще недавно в голове ее лишь кое-где блестел седой волос, теперь же виски совершенно побелели, а на лбу легли две глубокие морщины.

Всю дорогу мать и сын ни о чем не говорили. Еще в Петербурге Авдотья Лукьяновна много раз принималась умолять Шумского не губить себя, не предпринимать никакого рокового шага, не терять своего положения, но он только печально улыбался и отворачивался. Женщина видела, что никакие силы в мире не заставят его изменить злобно принятого решения по отношению к мнимым родителям.

Теперь, уже приближаясь к Грузину, они молчали и за последнюю станцию в карете не было произнесено ни единого слова. Наконец, недалеко показались кое-где огоньки, а путь преградила вдруг река, темневшая среди ровных, отлогих берегов, частью покрытых мелколесьем.

– Вот и приехали, – тихо проговорил Шумский как бы сам себе и слегка взволнованным голосом. – Может в последний раз.

Авдотья вздохнула и ничего не ответила, но через несколько минут украдкой достала платок и стала сморкаться.

– Ты опять плакать, – выговорил Шумский. – Удивительный народ, бабы, то есть женщины. Как это вы можете реветь без конца все из-за одного и того же предмета. Ну, поплакала, обмочила слезами какой предмет со всех сторон. Ну, и довольно. А как же без конца-то?..

Очевидно молодой человек хотел пошутить, но голос его был грустный и хриплый.

– Михаил Андреевич, голубчик, Мишенька, – заговорила Авдотья. – Еще время одуматься. Не губи себя! Повидайся и уезжай опять в Питер. Ведь не уйдет. Всегда можешь

с ними перетолковать. А ну как потом сам расскаешься.

– Матушка, – угрюмо и сурово отозвался Шуйский, – ведь я от тебя эти самые слова несколько сот раз слышал, а может и тысячу. Что же ты все повторяешь одно и то же. Сто раз ты всякими святыми угодниками мне божилась даже не начинать снова этого разговора. И никуда твоя божба не привела. Лучше погляди, за нами ли брички.

Авдотья вытерла глаза и, опустив каретное стекло, высунулась в окно.

– Нет никого, – ответила она, снова садясь, – должно отстали.

– Так вели этому олуху обождать, – отозвался Шумский.

Авдотья снова высунулась и велела ямщику остановить лошадей.

Когда экипаж стал, мужик слез с козел, обошел свой четверик и, поправив кое-что в сбруе, снова лениво полез на место.

Шумский сидел недвижно и задумчиво смотрел в окно на полумесяц.

Авдотья искоса поглядывала на него, хотела заговорить, но боялась.

Через несколько мгновений две брички, запряженные тройками, приблизились к ожидавшей их карете. В передней сидели рядом две фигуры, в которых было что-то странное на вид. Всюду, где проехали они днем, народ невольно заглядывался на них, замечая что-то особенное.

При взгляде даже поверхностном на эти лица видно было, что эти путники находятся в исключительном нравственном состоянии.

Это были: Пашута и ее брат Копчик.

Шумский, давно собиравшийся послать в Гру зино виновных, рассудил, наконец, привезти их сам, но теперь, приближаясь к вотчине графа, молодой человек еще не решил мысленно их судьбу и сам не знал, что он скажет о них Аракчееву. Просто ли привез он обратно его двух крепостных людей или же он скажет все, иначе говоря, обречет их на всякие пытки.

Во второй бричке ехал Шваньский, а с ним рослый солдат, взятый в Петербурге про всякий случай. Один Шумский знал, зачем он приказал Шваньскому запасть таким адъютантом. Он опасался, что дорогой Пашута и Копчик сбегут, предпочитая сделаться беглыми, нежели возвращаться в кабалу графа и его любимицы.

Когда спутники подъехали, все три экипажа двинулись далее и, проехав около четверти версты, остановились на берегу, где был перевоз. Паром при их появлении отчалил к ним с противоположной стороны, где высились и белели здания и собор пресловутой Аракчеевской «мызы».

II

Шумский не сразу решился ехать в Гру зино. За последнее время в его доме в Петербурге было мертво тихо. Около недели в его квартире жизнь, казалось, ничем не проявлялась и как бы замерла. Несмотря на то, что в квартире было до десяти душ обитателей, тишина никем и ничем не нарушалась по целым дням.

Вечеру все окна на улицу были темны, и только в угловой комнате-спальне виднелся свет. Шумский никуда не выезжал и никого не принимал. Он сказывался больным, но был в состоянии, конечно, во сто крат худшем, чем самая трудная болезнь. Его рассудок долго никак не мог свыкнуться с тем, что громовым ударом разразилось над ним.

Мысль, что его кормилица и нянька, хотя страстно любящая его со дня рождения, но глупая и нелепая баба, к тому же крепостная холопка, вдруг оказалась его родной матерью, эта мысль страшным гнетом давила разум и сердце, но не укладывалась ни в мысли, ни в чувства. Сознание возмущалось фактом.

Шумский надломленный, разбитый, не только нравственно пораженный, но совершенно уничтоженный, в первые дни не приходил в озлобление, у него не было вспышек ненависти и злобы, была одна беспомощность. Он был как бы смертельно ранен и к тому же убежден, что не найдет в себе средств бороться, что не сможет силой воли

справиться с этой смертельной раной и выздороветь.

По сто раз в день повторял он мысленно или шепотом:

– Холоп крепостной! Хам!.. Да. Вот такое же хамово отродье, как Копчик и другие. Что толку, что артиллерийский офицер и флигель-адъютант... Дворянин, но из холопов!

Иногда закрыв лицо руками, он, как ребенок, тоскливо капризным голосом приговаривал:

– Да не хочу я этого, не хочу...

После того рокового мгновенья, когда Авдотья, почти бросившись ему в ноги, объявила ему, что она ему мать, Шумский двое суток не видал ее, ибо не мог заставить себя повидаться.

Сотни всяких самых нелепых намерений, мыслей И затей проходили через его разгоряченную голову. Он собирался и застрелиться, и топиться, и ничего, ровно ничего не сделать. Последнее казалось ему, однако, самым мудреным. Как взбешенный человек и зверь, равно не могут удержаться спокойно на месте, так и Шумский теперь, пораженный в сердце, оскорбленный и потрясенный, не мог примириться с мыслью, которую подсказывало ему себялюбие.

Все бросить!

Нет. Надо было действовать и злостно, жестоко. Душа требовала мести. Кому? Всем! И виновникам его несчастья и позора и тем, кто неповинен в его горе, но виновен в том, что сам счастлив и никогда не был и не будет в таком унижительном положении.

И Шумский решил ехать в Гру зино мстить.

На третий день после признания Авдотьи он, наконец, вызвал ее к себе, встретил ее у порога спальни и обнял... Но обнял молча, быстро, неловко...

Женщина горько зарыдала. Он потянул ее за руку и, тяжело переводя дыхание, усадил на диван и сел против нее, смущенно глядя ей в лицо, будто стыдясь сам своего взгляда.

– Расскажи мне все теперь, – шепнул он, наконец. – Всю эту адскую напасть, всю эту дьявольщину.

Авдотья поняла значение слов этих по-своему. Она стала рассказывать, как она доверила свою тайну Пашуте, думая этим заставить девушку, спасенную ею от смерти, действовать из благодарности в пользу ее родного сына и беспрекословно ему повиноваться.

Шумский прервал мать тотчас и объяснил, что он хочет иное знать, как попал в сыновья графу Аракчееву.

Авдотья Лукьяновна потупилась виновато, снова заплакала и, наплакавшись, начала рассказ.

Будучи еще девчонкой, она была в услужении у одного управителя – графского, но вскоре ее выдали в наказание за неказистого парня-бобыля.

Она зажила с мужем в деревушке верстах в десяти от Гру зина, мирно и согласно, но бедствовала, так как земли им не дали, и они нищенствовали. Детей у нее было только две девочки, но обе недолго прожили. Прошло лет семь, и она вдруг овдовела, но, схоронив мужа, осталась после него беременной. Тогда к ней явилась одна женщина неожиданно-негаданно. Это была старуха, ныне умершая, по имени Домна.

Познакомясь, Домна стала бывать часто, возила подарки и ласково подолгу беседовала с ней, «жалилась» над ее вдовьим сиротством и нищетой.

Наконец, однажды эта Домна Кондратьевна предложила ей устроить ее жизнь так, что всякий позавидует. Вместо худой избы и жизни впроголодь она будет жить в довольстве, счастии, даже богатстве... А будущий ребенок ее, если только он будет мальчик, а не девочка, будет ходить в шелку и в бархате, будет барчонком, а потом и знатным барином не ниже графа Аракчеева... Но все это может устроиться с условием отказаться от ребенка и передать его в чужие неведомые руки.

Авдотья Лукьяновна наотрез отказалась.

Через неделю Домна Кондратьевна явилась опять в деревушку и предложила другие условия. Ребенка не отнимут у нее совсем, а только «на словах», так как господа ее самоё

возьмут в дом в качестве кормилицы к младенцу, а потом оставят и нянькой при нем навсегда.

Авдотья Лукьяновна робела этой затее и готова была снова отказаться, но Домна Кондратьевна объявила ей, что в случае отказа на это предложение ее сживут со света и, по малой мере, «подведут под закон» и посадят в острог, а потом сошлют в Сибирь. А при этом при всем ее ребенок, конечно, помрет...

На замечание Авдотьи, что кто же посмеет ее, крепостную графа Аракчеева, пальцем тронуть, Домна объявила, что она именно и является из *Гру* зина от лица самой графской любимицы Настасьи Федоровны, которая именно и сживет Авдотью в случае ее несогласия на этот уговор.

Узнав, с кем она будет дело иметь, куда возьмут ее ребенка и чем он станет, Авдотья, разумеется, испугалась насмерть. Но после долгих колебаний женщина должна была согласиться, так как другого исхода не было.

Домна Кондратьевна объяснила тогда подробно хитрую и преступную затею барской барыни графа.

Настасья Федоровна, видя, что не может иметь от графа ребенка, решила притвориться и сказаться беременной, разумеется загодя, по расчету времени... Граф поверит, конечно, поверит ей на слово и ближе дело разбирать не станет.

Уговор сделан у Настасьи Федоровны с тремя крестьянками околотка помимо Авдотьи. Все они, конечно, находятся по расчету в одинаковом положении. У кого из них у первой родится мальчик, ту и возьмут в *Гру* зино с ребенком. Если из них какая проболтается теперь, то ее тотчас же запорят насмерть или сошлют в Сибирь.

Авдотья, узнав все и согласившись страха ради, все-таки так маялась от всей этой затеи, так дрожала и болела сердцем за свое будущее детище, что собиралась даже бежать... Ее остановил сон.

Привиделся ей покойник Иван Васильевич, то есть муж, который сказал ей, что у нее родится девочка и все сойдет благополучно.

Однако, сон не сбывся. Напрасно Авдотья надеялась, что у нее будет дочь, напрасно ждала тоже, что которая-либо из других крестьянок разрешится от бремени мальчиком прежде нее.

Прошло восемь месяцев со дня знакомства и уговора обеих женщин и, однажды ночью Домна Кондратьевна приехала за Авдотьей и увезла ее в *Гру* зино, как бы ворованную поклажу. Ее поместили в одной избе, но запретили казаться людям на глаза.

Недели за две до этого другая женщина, солдатка, родила прижитую на стороне девочку в этой же избе, но, как говорили, исчезла вместе с ребенком без следа... Через неделю после приезда Авдотьи жившая по соседству с ней баба, тоже привозная из деревни, родила тоже мальчика, но он умер на другой же день, а мать как сквозь землю провалилась.

Судьба хотела, Господь судил, чтобы именно детище Авдотьи явилось действующим лицом в преступной затее Аракчеевской барыньки.

Авдотья в свой черед разрешилась от бремени не только не девочкой, но даже здоровенным и красивым мальчуганом, кровь с молоком.

И через три дня тайком после полуночи она вместе со спрятым в корзине ребенком очутилась во флигеле дома *гру* зиновских палат и дико озиралась на все и на всех со страху.

Настасья Федоровна приняла ее ласково, тотчас легла в постель и начала стонать и кричать.

Под окнами сновала дворня, но при ней самой находились лишь три женщины: любимица Агафониha, Домна и привезенная в качестве кормилицы Авдотья...

На заре узнали в усадьбе и на селе, что Настасья Федоровна разрешилась от бремени сыном.

И тотчас же гонец поскакал в Петербург известить графа о радостном событии. Судьба даровала ему давно желанного наследника.

На всякого мудреца довольно простоты.

III

После этого рассказа или исповеди Шумский снова два дня не видал Авдотьи, снова сидел безвыходно в своей спальне, не впуская никого к себе.

За это время отношения его к матери как бы перерождались, озлобление стихало, наступило примирение с ней, ни в чем не повинной и любящей его.

Когда Авдотья кончила свой рассказ, Шумский не сразу отпустил ее. Он глубоко задумался и долго сидел молча перед ней, а затем едва слышно выговорил: «Уйди». Когда женщина была у дверей и переступала порог горницы, что-то вдруг шевельнулось на сердце молодого человека. Он вдруг протянул обе руки, хотел остановить эту женщину, будто хотел горячо обнять родную мать, но через мгновение махнул рукой и выговорил громче: «Ступай!» Теперь же он совестился, что сдержал тогда в себе добрый порыв сердца.

Однако, через два дня, выйдя в коридор и увидя в прихожей несколько фигур за самоваром мирно и тихо пьющих чай, а в том числе Копчика, швею Марфушу и ее, эту крестьянку, няньку, и родную мать, Шумский стал недвижно и долго глядел на нее через весь темный коридор. И вдруг сердце зануло и что-то шевельнулось в нем, что-то поднялось: краска ли бросилась в лицо или слезы просились на глаза. Он простоял несколько мгновений, но уже не глядя туда, а опустив голову и затем придя в себя, вернулся обратно в спальню.

– Это невозможно, – выговорил он вслух. – Так нельзя! Надо что-нибудь сделать? Ведь не могу же я... Ведь это невозможно... – и затем он прибавил несколько раз уже с легким раздражением: – Невозможно, невозможно.

Невозможным казалось ему то, что подсказало сердце. А оно подсказывало: сейчас же отделить в квартире комнату, устроить и поместить там не няньку, а мать и, одев ее самое иначе, обращаться с ней тоже иначе.

Но мысль, что мамка Авдотья станет жить у него барыней и матерью, все еще казалась ему затеей, фальшивой, смешной, неестественной.

Если чувства нет или то, что оно подсказывает, разум не оправдывает, то, конечно, и честный, сердечный поступок покажется одной комедией. Какое платье на Авдотью теперь ни надень, все-таки она останется крестьянкой и дурой мамкой.

На другой же день, однако, порядки в доме изменились.

Беглая девка графа Аракчеева Пашута, была приведена полицией к Шумскому, и Иван Андреевич Шваньский поневоле явился к барину с докладом, хотя тот и не позволял никому показываться на глаза.

– Прах ее возьми. Теперь она ни на черта не нужна! – сказал Шумский. – Все-таки запри ее где-нибудь.

И тотчас же Шумский обратился к Шваньскому с вопросом:

– Не вилай, отвечай прямо, Иван Андреевич, – выговорил он сурово. – Ты все знаешь?

– Все-с, – отозвался Шваньский, потупляясь.

– Знаешь, кто такая персона стала теперь Авдотья Лукьяновна? – грустно, но едко улыбнулся Шумский.

Шваньский начал было говорить, но запнулся.

– Сказывай, – резко произнес Шумский, – нечего юлить, небось, она с тобой не скрывается.

– Точно так-с, – заговорил Шваньский, – я очень убивался. Авдотья Лукьяновна у меня вечером сидела. Они знают, как я к вам всем сердцем отношусь и они мне поведали...

Голос Лепорелло слегка дрогнул. Шумский поднял на него глаза и увидел, что на лице Ивана Андреевича слезы. Это больно кольнуло его. Это сочувствие или соболезнование было оскорбительно. Возбуждать в ком-либо к себе жалость? Шумский не мог себе и представить подобной мысли. А возбуждать к себе жалость в такой мрази, как Шваньский, это уже какое-то падение, кровное оскорбление, полный позор.

– Ну, не вой, как баба, – грубо выговорил Шумский. – Что я, помер что ли? Мне нужно дать ей горницу. Кроме твоей нет, стало быть, ты переезжай. Вестимо на время. Найми тут, поблизости комнату, а в твоей надо ей поместиться.

– Слушаю-с, тут на дворе две горницы отдаются.

– Ну, и переходи. А коли две горницы отдаются, то сделай милость, и Ваську с собой бери, чтобы он мне не служил. Из других людей, чтобы никто не смел ко мне входить. Надо найти какого вольного, чтобы нанять мне в лакеи. Этих рож я видеть не хочу. Нет ли бабы какой, горничной? Поищи. Стой, – вдруг воскликнул Шумский. – Пускай твоя Марфуша служит мне.

– Как же-с, Михаил Андреевич, – возразил смущенно Шваньский. – Дело не подходящее. Все-таки швея.

– Пустое, я ее не заставлю черную работу делать. Пускай только чай да обед подаст мне, чтобы мне никого из этих идолов не видеть, а убирать спальню найми простую бабу.

– Дело-то, Михаил Андреевич, не совсем для Марфуши... – начал было снова Шваньский.

Но Шумский отозвался тихо:

– Не рассуждай!

Слово было сказано таким голосом, что противоречить было совершенно излишне и опасно.

– Пошли ее сейчас сюда, – произнес Шумский после паузы.

– Авдотью Лукьяновну? – спросил Шваньский. Шумский встрепнулся, как бы испугавшись, и тотчас слегка рассердился.

– Болван! Авдотью Лукьяновну устрой в своей горнице и скажи, ну, от себя что ли, чтобы она ко мне не ходила. Пошли сюда Марфушу.

Шваньский стал было переминаясь с ноги на ногу на одном месте, но потом двинулся к двери, взялся за ручку. Здесь он снова обернулся к Шумскому и трусливо выговорил:

– Марфушу послать?

Шумский поднял на своего наперсника глаза и пристально присмотрелся к нему.

Вероятно, Лепорелло ясно прочел что-нибудь в этом взгляде, ибо мгновенно юркнул в дверь, а через минуту на том же пороге стояла, смущаясь, Марфуша. Однако, за эту минуту мысли Шуйского унеслись так далеко, что, когда явилась молодая девушка, то Шумский слегка вздрогнул, присмотрелся пристальнее, потом отвел глаза в сторону, вздохнул и понурился. Нечто вторично случилось с ним. Пылкое чувство всколыхнулось от необъяснимого сходства пригожей швейки с нею, с красавицей.

– Марфуша, – выговорил Шумский, – ты перейдешь сюда на жительство и будешь служить мне, делать то, что Копчик, кроме всего трудного, грязного. На это дело наймут бабу.

– Угожу ли я? – едва слышно прошептала Марфуша. – Боюсь, не сумею.

– Вздор. А за то, что это не твое дело, за то, что тебя из швей в горничные произведут, я тебе дам приданое, коли ты все-таки за этого чучелу Шваньского замуж собираешься. Прослужишь у меня месяц, два, я тебе 500 рублей дам.

Марфуша оживилась и зарумянилась.

– Я не обману, коли раз обещал.

– Как можно-с! – громко воскликнула Марфуша.

– Что, как можно-с? Не хочешь? Что ж ты, дура совсем?

– Нет-с, я не про то. Я говорю, как можно, чтобы вы обманули.

– Так согласна?

– Как же, помилуйте, Михаил Андреевич. Ведь это совсем несообразица была бы. Я ведь не дура. С виду я такая, а я очень многое понимать могу.

– Так не хочешь стало?! – уже сердито вскрикнул Шумский.

– Напротив, счастье мне большое. Очень рада служить вашей милости. Только явите Божескую милость, обещайтесь одно только: не обижать меня опять тем же самым.

Шумский не понял и переспросил. Марфуша добродушно и наивно объяснила, что она всей душой рада служить барину и надеется услужить не хуже Копчика, но просит только не опаивать ее опять дурманом. Шумский грустно улыбнулся, вспомнив о своей дикой шутке. Сколько с тех пор воды утекло!

– Не бойся, Марфуша, – ласковее произнес он. – Служи, не ленись, разыщи какую простую бабу себе в помощницы и все будет хорошо. И ничем я тебя не обижу. Через месяц, два, когда все... – Шумский остановился. Он хотел сказать: «Все устроится» – и мысленно рассмеялся.

«Что же устроится? – подумал он. – Все наоборот расстроится, все пойдет к черту!»

– Через месяц или два, – снова заговорил он, – если соберешься непременно выходить замуж за этого мухомора Ивана Андреевича, то скажешь. Я тебе подарю приданое. Но не за твою службу, не за то, что ты горничную изобразишь несколько недель, а за то, чего ты и сама не знаешь...

Шумский поднялся, приблизился к Марфуше, взял ее за обе руки и потянул к себе. Девушка смутилась.

– За то, что ты, – взволнованным голосом произнес он, – так уродилась, что похожа лицом на другую, на одну барышню. Нет!.. Похожа на божество, которое живет на земле. Вот за то, что между вами обеими есть какое-то диковинное сходство, я для тебя все сделаю и теперь, и после. Между тобой и ею пропасть, да и лицо твоё совсем не такое, как её. Но издали, в сумерках... Ну да что говорить! Это не твоё дело!.. Так вот поди скажи вновь Ивану Андреевичу про горницу для Авдотьи Лукьяновны. Потом скажи, угнать всю мою ораву вон из дома, чтобы мне не видеть никого из них. А ты берись сейчас и управляй всем в доме.

– Слушаю-с, – кротко и ласково отозвалась Марфуша, глядя в глаза Шумскому.

Молодой человек увидел в синих красивых глазах швеи, которые в полумраке так напоминали иной взор, неподдельное оживление, даже радость.

Марфуша была настолько обрадована предложением, что лицо её просияло, стало таким, каким Шумский ни разу ещё не видал его. Он удивился и, продолжая стоять перед ней, держа руками за обе руки, молча долго смотрел Марфуше в лицо. Кончилось тем, что девушка потупилась, затрепетала и опустила голову.

Шумский тоже понурился, вздохнул, тихо выпустил её из рук и задумался.

– Я вам не нужна-с? – вымолвила Марфуша, взявшись за ручку двери.

– Покуда... нет... – отозвался Шумский, слегка улыбнувшись, и странным голосом, в котором была и кротость, и ласка, и печаль. – А потом, Марфуша, после... не знаю.

Девушка почуяла что-то в его голосе, но темных слов не поняла.

Она вышла, а он долго стоял, не двигаясь и не подымая тоскливо опущенной головы.

IV

В тот вечер, когда Шумский, примиренный с матерью, но озлобленный на весь мир Божий, переезжал на пароме Волхов и причаливал к берегу Гру зинской мызы, её владелец сидел у себя в кабинете за срочной и спешной работой. Но она была, видно, по сердцу. Граф был в духе... На столе перед ним лежала огромная и толстая книга, вся разграфированная, с клеточками и заглавиями в них. Надпись, вытесненная на переплете золотыми буквами, гласила:

«Винный журнал. 1-е октября 1810 год». На первом листе была надпись: «Кто, когда и за что наказан».

Эта «винная» или штрафная книга 14 лет аккуратно велась самим графом и была мудренее всякой бухгалтерии, ибо требовала особой внимательности и точности в своевременной записи и особой памяти для безошибочного действия по ней.

На столе же поодаль лежали в двух кучках маленькие карманные именные книжки, несколько замасленные. Это были «винные книжки» дворовых Гру зина, которую каждый

«раб» постоянно имел при себе. В случае провинности и крупной, и ничтожной, граф требовал книжку и тотчас вписывал в нее число, месяц и вину собственника, но при этом главная помета заключалась в словах: «в зачет» или «не в зачет».

Три малые вины «не в зачет» все-таки считались за одну большую, которая и помечалась: «вина трёшная». За каждую большую вину было особое наказание. За первую секли виновного конюхи простыми розгами на конюшне. За вторую виновный наказывался розгами, которые мокли в рассоле и имелись наготове в бочках на «деловом» дворе и в *гру* зинской домашней канцелярии. Виновного третьей виной, хотя бы и «трёшной», то есть состоящей из трех сравнительно пустых и мелких вин, наказывали батогами при торжественной обстановке в библиотеке близ кабинета при зрителях, при барабанном бое. Секли два драбанта солдата, по имени Содомский и Иевлев, отличавшиеся ростом и силой. Это была их должность...

После третьего наказания счет вин начинался и записывался сызнова.

Каждый месяц в последних числах граф отбирал винные книжки у провинившихся, переглядывал их и собственноручно переписывал вины в большую книгу с разного рода отметками для памяти. Случалось, что просмотрев «винный журнал» и карманную книжку какого-либо «раба» граф писал приказ в канцелярию о сдаче его в солдаты или ссылке на поселение в Сибирь. Иногда же, раз десять в году, не более, виновный сажался в «эдекуль» – местную *гру* зинскую тюрьму на неделю, на месяц. Этой эдекули, совершенно темной, глубокой и сырой ямы с каменными стенами, рабы графа боялись и трусили больше солдатства и Сибири. В эдекуле не умирали, но наживали смертельные болезни, от которых изнывали после, так как заключенному выдавалось в сутки лишь полфунта хлеба и кружка воды. А отрешение от людей, отсутствие света и воздуха, вечная ночь и сырой смрад производили то, что заключенный дичал и, выйдя, пугал внешним своим видом обитателей *Гру* зина.

Граф сидел за работой с самого обеда, так как провинившихся оказывалось много, а надо было сообразить и взвесить множество обстоятельств для того, чтобы одному смягчить, а кому и усугубить наказание. Помимо библиотеки приходилось графу теперь вспомнить даже и об эдекуле.

Поглощенный своим делом, граф был вдруг неприятно отвлечен стуком экипажей на дворе и удивился. На его часах было десять часов, а все приезжавшие к нему в гости устраивались так, чтобы прибыть в приличное время и его не тревожить позднее сумерек.

Аракчеев недоумевал и досадовал, когда перед дверями кабинета тихо и осторожно, тенью, появился его камердинер и доложил, наклоняясь почтительно:

– Молодой барин пожаловали-с...

Аракчеев повернул голову к лакею, но не двинулся с места и молчал, будто обдумывая это неожиданное появление. Затем он выговорил сухо и не глядя:

– Доложи, пусть идут к Настасье Федоровне. Я приду...

Лакей попятился, скрылся задом наперед в дверь и осторожно притворил ее за собой, а граф снова углубился в свою работу.

Он брал книжки по очереди из одной кучки и клал в другую, записывая имя, число и месяц вины, саму вину, в чем она заключалась, и таинственную, ему лишь понятную помету, а затем и приговор в одном слове:

«Розги. Рассол. Батожье. Лоб. Сослать».

Однажды, перо его начало уже было выводить в графе приговоров слово: «эдекуль», но он смягчился, перемарал и написал: «лоб», то есть сдачу в солдаты.

Между тем камердинер вышел навстречу к Шумскому и, встретив его в первой же горнице, передал ему приказание:

– Пожалуйте к Настасье Федоровне, а граф сейчас прибудет.

Шумский остановился, постоял и, ни слова не говоря, повернулся на каблуках и двинулся в противоположную сторону к коридору, где были комнаты, в которых он всегда останавливался. Это было его собственное отделение, где провел он свое детство и юность.

Приезд молодого барина, а с ним еще трех *гру* зинских обитателей, оживил дом сразу. Давно уже *гру* зинцы не видели этих прежних сожителей, но все вновь прибывшие: и Авдотья, и Пашута, и Васька, одинаково поразили всю дворню своими лицами. Все сразу догадались и поняли, что случилось что-то чрезвычайное, и приезд молодого барина, и возвращение их вместе с ним, не пройдет даром. Авдотью Лукьяновну многие почти не узнавали, настолько постарела она. Пашута и Васька смотрели дико, то уныло, то озлобленно. Если мамка так изменилась, то удивительного в этом не было ничего. Она объяснила, что хворала и была при смерти, и все поверили, хотя ранее об этом и слуху не было в *Гру* зине. Но что случилось с Пашутой и ее братом оставалось загадкой.

Когда девушка и лакей прошли в людскую, дворня окружила их с объятьями и расспросами, но скоро тревога и отчаяние, написанные на их лицах, сообщились всем. Никто ничего не добился и не узнал от прибывших, но все пришли к убеждению, что там, в Питере, разразилась какая-то гроза и здесь в *Гру* зине скоро, может быть завтра же, отзовутся громовые раскаты. Дворовые мальчишки и девчонки «на побегушках» и те заметили, что Пашута и Васька смотрят, как больные, как пришибленные или осужденные.

В то же время Авдотья Лукьяновна, смущаясь и робея, отправилась на половину Настасьи Федоровны Минкиной.

В большой угловой горнице, отделанной довольно просто, сидела за столом, накрытым скатертью, и пила чай барская барынька, или «Аракчеевская графиня», как иногда ее называли в шутку Петербургские сановники.

При вечернем освещении женщина эта, которой было уже за сорок лет, казалась еще довольно моложавой. Курчавая голова без единого седого волоса, черная, вороного крыла, высокий слегка выпуклый лоб и красивые дугообразные брови над блестящими южно-черными глазами, наконец, смуглый, но чистый и ровный цвет лица делали из нее женщину все еще пригожую, с ясно видимыми остатками недавней красоты. Единственно, что портило общее впечатление, была известная полнота, атрибут женщин ее положения, образа жизни и лет. Когда-то, двадцать семь лет тому назад, она явилась в *Гру* зино юной и стройной женщиной, казавшейся девочкой-подростком, так как несмотря на замужество ей было лишь шестнадцать лет. Постепенно из веселой, подвижной, страстной и хитрой юницы, благодаря образу жизни, она переродилась в полную, ленивую, дородную барыню. Вдобавок, в смуглом лице этой женщины было нечто, чего, конечно, не замечали граф и *гру* зинцы, но мог бы легко заметить всякий посторонний, несколько проницательный наблюдатель.

В чертах чистого без единой морщинки лица лежала печать какой-то усталости или изнурения. Это выражение является после трудной болезни, или после многих бессонных ночей, или от усиленных занятий. А между тем, у Настасьи Федоровны ни того, ни другого не бывало. Она не была никогда больна, спала много и целый день ровно ничего не делала.

Выражение это явилось последствием ее привычки, ее порока. Впрочем, этот порок был хорошо всем известен не только в *Гру* зине, но и многим высокопоставленным лицам Петербурга. Уверяли, что будто бы один граф Аракчеев не знает этого, но ошибались. Граф отлично знал, что его обожаемая сожительница каждый вечер, а иногда и с сумерек, предается своей страсти к крепким напиткам.

В этот вечер, сидя у себя и собираясь пить чай, Настасья Федоровна точно так же слышала стук экипажей на дворе и тоже недоумевала о том, кто может в эту пору осмелиться прибыть в гости в *Гру* зино.

Когда горничная доложила ей о прибытии молодого барина вместе с Авдотьей Лукьяновной, с Пашутой и с Васькой, Минкина широко раскрыла глаза.

– Вот как, – произнесла она, и в голосе ее прозвучала насмешка. – Воистину, как снег на голову. – Зови сюда Авдотью, – прибавила она.

Через несколько минут Авдотья Лукьяновна вошла в горницу и, переступив порог, остановилась у двери и низко поклонилась экономке.

– Здравствуй, Авдотья, давно не видались, – сухо произнесла та. – Иди сюда, садись.

Авдотья двинулась молча и села на стул. Настасья Федоровна оглядела ее с ног до головы и стала расспрашивать про столичные новости. Женщина, конечно, постаралась удовлетворить любопытство экономки, как могла. Но едва только началась их беседа, как лакей отворил дверь настежь и сам скрылся. Через мгновение на пороге показался сам граф и, сумрачно оглядев всю горницу исподлобья, удивился и выговорил:

– А Михаил?

– Он не приходил. Он, стало, в своих горницах. А я думала, что он у вас, – отозвалась Минкина, вставая.

– Я велел ему идти к тебе.

– Не был-с...

Граф постоял мгновение, сдвинул брови и, повернувшись по-солдатски на месте, вышел снова.

Та же рука какого-то лакея снова протянулась и затворила дверь.

– Ну, вот, на почине, он ему и задаст сейчас, – выговорила Настасья Федоровна. – Видно, матушка, наш Михаил Андреевич все тот же. Горбатого исправит могила. Я, чаю, здоровья еще в Питере потерял много, а упрямства своего не потерял. Слышал приказание ему идти сюда, а все-таки, на смех, в свои горницы прошел. Стало быть все тот же козел.

– Уморился с дороги, – заметила Авдотья.

– Мало что... Уморился? Граф приказывает, так всяк, хоть помирай, а исполняй. Ну, садись, рассказывай! Дать тебе, что ли, чаю?

– Позвольте, – выговорила Авдотья.

Женщины снова сели на свои места, и на разные вопросы Настасьи Федоровны о Шумском Авдотья отвечала уклончиво и нерешительно. Казалось, что она робеет этих вопросов и всячески обдумывает свои ответы, как бы боясь сказать что-либо лишнее. Через несколько минут Настасья Федоровна, положив локти на стол, оперлась и, пристально поглядев в лицо мамки, выговорила:

– Авдотья. А ведь у тебя что-то на уме? Тут что-то неспроста. Ты виляешь на словах... а в голове у тебя что-то есть. Что ты укрываешь?

Авдотья опустила глаза и молчала.

– Что же? Долго ты будешь баловаться? – произнесла Минкина вдруг, оживясь и вся вспыхнув. – Когда же ты скажешь, что у тебя в башке сидит? Что ты из себя дуру-то корчишь?

– Увольте, Настасья Федоровна, – глухо выговорила Авдотья. – Завтра Михаил Андреевич сам все вам расскажет.

– Так пошла вон, дура! – вскрикнула вдруг Минкина, и когда Авдотья вышла, она, оставшись одна, начала браниться вслух.

В это же самое время на пороге горницы Шумского, точно так же в растворенную заранее лакеем дверь появился граф. Шумский сидел в кресле в углу, прислонясь к спинке и закинув голову. Он сидел, закрыв глаза, чувствуя некоторую усталость от дороги.

Граф остановился близ дверей, заложив правую руку за борт сюртука и грозно поводя глазами по комнате.

– Спишь, что ли? – выговорил он.

Шумский открыл глаза, присмотрелся и поднялся с кресла, но медленно и как-то гордо. Граф не двинулся, ожидая, что сын подойдет и, по обыкновению, поцелует у него руку, но Шумский сделал два шага, поклонился и выговорил тихо:

– Здравствуйте.

Наступила пауза. Аракчеев недоумевающим взглядом смотрел на молодого человека.

– Что же к матери не пошел поздороваться? Тебе передали мое приказание! – Выговорил он наконец.

– Я очень устал с пути, – отозвался Шумский.

– Какой сахарный. Коли мог проехать столько верст, так мог бы пройти несколько горниц, чтобы с матерью повидаться, не выдавши ее сто лет.

– Конечно, я мог дойти до горницы Настасьи Федоровны, – отозвался Шумский глухо, – но не счел этого нужным.

– Что? – произнес Аракчеев едва слышно.

Он был поражен резким ответом, а главное тем именем, которое давал Шумский Минкиной.

– Настасья Федоровна?... А я, стало быть, буду тебе теперь вашим сиятельством. Что ты очумел? Ведь тебе кутеж видно голову просверлил. В уме ты?

– Слава Богу, в полном рассудке, – отозвался Шумский.

Наступило молчание, оба стояли друг против друга. Наконец, Шумский выговорил холодно:

– Позвольте, я завтра все разъясню вам.

– Разъяснишь? Что?

– Все, – отозвался Шумский.

– Да что все-то?

– Завтра узнаете.

– Да что ты загадки загадываешь! Что ты балуешься?! Стоишь истуканом и брешь.

Шумский тяжело вздохнул и вымолвил:

– Завтра, утром ли, ввечеру ли, когда прикажете, я все объясню вам, а теперь я слишком устал. Да и самое дело слишком важно. Надо собраться с мыслями.

Слова эти были сказаны с таким оттенком, который удивил Аракчеева. Он поглядел еще раз пристально на молодого человека, насмешливо пожал плечами и, круто повернувшись, вышел так же, как и из горницы Минкиной.

Через час времени всеобщее оживление, вызванное в доме приездом молодого барина, понемногу стихло, отчасти благодаря позднему часу и привычке гру зинцев ложиться рано спать, отчасти и потому, что лица всех приезжих навели уныние на всех дворовых.

Гру зинская дворня разошлась спать в тревожном состоянии: «Быть чему-то! Стряслось что-то!» А всякая беда в Гру зине захватывала не одного, не двух человек, но непременно всех, и правых, и виноватых.

V

Часов в двенадцать хоромы, двор и окружающие надворные строения, все безмолвно стояло под покровом темной ночи. Полная тьма и полная тишь прерывалась только каждые полчаса завыванием чугунной доски среди двора от мерных ударов по ней сторожа. Гру зинскую сторожевую доску все в околodge знали и все равно дивились ей. Станный в ней был звук. Не просто гудела она по ночам, как всякая другая, а жалобно ныла и завывала, будто плакался загробный голос какой. Сказывали и во дворе, и на селе, что когда сторож бьет в доску, то не она звучит, а подают голоса среди ночи те многие и многие несчастные, загубленные суровым графом и его любовницей-людоедкой Настасьей Федоровной.

Около полуночи какая-то фигура с черной бородкой, в длиннополом кафтане, картузе и с синеватыми очками на носу, шла из хором с фонарем в руках по небольшой крутой лестнице, по которой мало и редко кто в доме ходил. Сойдя вниз на крылечко через маленькую дверку, фигура потушила фонарь, поставила его на пол и, озираясь среди тьмы, сошла с крылечка на двор. Пройдя от дома до здания, именовавшегося «деловым двором», человек этот присмотрелся издали и прислушался.

Сидевшие у ворот два ночных сторожа тихо беседовали. Незнакомец осторожно подкрался за угол здания и стал прислушиваться. Один из двух сторожей угрюмо, со вздохами поучал другого.

– Что же? Все так-то на свете. Народ – темнота и не понимает. Вот лошадь, нешто не работает, хотя бы даже корова и ту, стало быть, доят. Вот собакам жить розно: иная собака дворная сторожит, другая на охоту ходит, птицу убитую подает, а другая у барыньки какой на коленочках почивает. Всю жизнь она проживет, якобы сама барышня какая. А наше дело,

чем плохо. Что ночью не спишь? Зато днем выспишься. Зато ночным делом мы и от графа якобы подальше. Знай, в свое время отхватывай в доску, он доволен и тебе нехудо. А кто по близости к нему обретаётся, гляди, все под розгами воет. А я вот ни одна не порот!

Собеседник ответил несколькими словами, которых расслышать было нельзя.

– Нет, братец мой, – отозвался первый, – шалишь. Это ты вновь так рассуждаешь, а я тебя обучу. Этого ты и думать не моги, он завсегда знает. Этак было ужас, Петрушка Косой пропускал разы, стучал в доску как попадет, то через час, а то отдрыхнет да зазвонит через два часа в третий. Так его через неделю до бесчувствия отодрали и махнули. И куда он девался, никому неведомо. Кто говорит – помер от розог, а кто говорит – в Сибирь пошел. Нет, ты этого не моги думать. Спит он или не спит, кто его знает, а он завсегда звону счет ведет. Избави тебя Бог не стучать кажинные полчаса.

Собеседник опять вставил несколько слов и получил ответ.

– Это верно. У нас пролазов-предателей тьма. Вестимо, ему докладывает кто и про сторожей, а сам он спит. А нам-то что же, что над нами ухо и глаз есть. А ты парень стучи, как полагается, и не бойся. Хоть и лих он, а все же зря, тоись, совсем зря не обидит. Бывает, что и зря накажет обмахнувшись, но тогда оное в зачет идет. Меня три года тому назад страсть как выпороли, но я этого дранья не считаю, потому обшибкой вышло и за то мне в зачет пойдет. Если теперь провинюсь, то на смазку выйдет. Загодя, стало быть, заплатил за свою впредь будущую вину. Но все ж таки я по этому покудова и сказываю, что я якобы порот еще не был.

Фигура, прислушивавшаяся за забором, вернулась назад, через двор двинулась в сад и, приблизившись к маленькой калитке, достала ключ из кармана, отворила ее и вышла наружу, на село. Незнакомец поправил очки, нахлобучил картуз еще больше на лоб и двинулся быстро, постукивая тоненькой тростью, которая изредка, попав на камень, издавала звенящий звук, так как была железная и весом тяжелая.

Пройдя улицу, где была полная пустота, незнакомец повернул в проулок и пошел задами домов. Всюду, где он проходил, он пристально вглядывался в окружающее, изредка останавливался, прислушивался, иногда пробовал заперты ли ворота или двери домов и надворных строений и шел далее. Там, где в окошках светились огоньки лампад, он приостанавливался и заглядывал в окна.

Пройдя довольно далеко задами и уже как бы собираясь повернуть в другой проулок, чтобы выйти на главную улицу, он вдруг увидел приотворенную калитку. Он подошел, ощупал и нашел два кольца и висячий замок с ключом, висевшим лишь на одном кольце. Он осторожно отворил калитку и вошел во дворик.

Пройдя немного вправо, потом влево, и оглядевшись, он увидел прислоненные к сарайчику лопату и метлу. Он усиленно покачал головой, как если бы увидел нечто чрезвычайно исключительное. Он взял метлу и лопату, осторожно вышел с ними на улицу, причем снял замок с калитки и положил его в карман. Он двинулся далее, но уже прямо в поле. Пройдя сажень сто, он стал искать глазами, прошел вправо, потом вернулся и опять двинулся.

Наконец, среди темноты завидя что-то черное, он прямо направился к этому месту. Здесь была куча мусору близ выгребной ямы.

Бросивши лопату и метлу на землю, он быстро своей железной палкой зашвырял и то и другое сором, затем присмотрелся и, видя, что хорошо зарыл оба предмета всякими отбросами, шибче и как-то веселее пошел обратно. Войдя снова в слободу и, пройдя несколько шагов по главной улице, он увидел свет в окне. Внутри громко говорили, шумели, спорили и бранились. Он стал прислушиваться, но, кроме отдельных слов, не мог разобрать ничего. Часто повторялись слова: «граф» и «пойду» и имя «Антошка».

Постояв немного, незнакомец осторожно двинулся далее по направлению к барскому дому.

В довольно большом здании среди слободы четыре окна были освещены и над входом была вывеска. Тут помещалась гру зинская аптека.

Незнакомец вошел на крыльцо, осторожно приотворил дверь в аптеку и глянул внутрь. За прилавком стоял молодой, лет двадцати, аптекарский помощник, а на лавке дремал старик-крестьянин и сидела, сгорбившись, женщина, повязанная платком.

Тщательно осмотревшись, человек этот вошел в аптеку и вежливо, почти подобострастно, выговорил:

– Господин аптекарь, позвольте мне малость горчицы для горчичника.

Аптекарский помощник, приготовлявший какое-то лекарство, отозвался тихим, ленивым, отчасти сонным голосом:

– Присядьте.

Незнакомец сел на скамейке поодаль от сидевших на ней и спиной к свету. Молодой малый продолжал свое дело тихо, неспеша. Очевидно, что сон сильно клонил его, так как он зевал не переставая, причем отчаянно завывал, изредка приговаривая:

– Ах, пропади ты! О-ох, идолы!

По движениям молодого малого, по опущенным глазам, поникнутой на бок голове, по всему лицу, было видно, что он не только находится в полусонном состоянии, но отчасти изнурен бессонницей. Прошло минуты две полной тишины, которую только нарушал аптекарь, то зевая, то постукивая чашечками или гремя пузырьками. Но он не глядел никуда и не спускал глаз с тех предметов, которые были у него в руках.

Чернобородый в очках внимательно, пытливо и упорно разглядывал малого и, быть может, этот долгий и пристальный взгляд магнетически заставил, наконец, аптекарского помощника поднять на незнакомца глаза.

– Снимите картуз! – промычал он апатично и снова опуская тотчас же глаза на работу.

– Вы это мне-с? – отозвался незнакомец.

– А то кому же? Я что ли в картузе?

– А почему же мне снимать его?

– Первое, потому, что здесь, вон видите, святая икона в углу, а второе, потому, что здесь – графская аптека. Сюда нельзя влезать, как в кабак.

Незнакомец не двигался и очевидно затруднялся исполнить данный совет. Прошла минута, молодой малый продолжал стряпать, затем снова поднял глаза и приостановился работать.

– Вы что же, господин, на русском наречии не понимаете? Вам сказано: снимите картуз. А не желаете, я вас попрошу вон и никакой горчицы вам не дам.

Незнакомец нехотя снял картуз и покосился на всех.

– На вот, – прибавил аптекарь, подавая крестьянке пузырек с лекарством.

– Как же с им быть-то, родненький? – спросила баба. – В нутро его. Пить? Аль мазаться?

Аптекарь терпеливо растолковывал женщине, как принимать лекарство. Баба оказалась совсем несообразительная. Раза три принимался он объяснять и, наконец, растолковал.

– Спасибо, родненький, – поклонилась женщина. – А то, ведь, лекарство возьмешь, а как с ним быть не знаешь. Вон у меня в прошлом годе тетка Арина чуть не померла. Дали ей тутотка мазь, а она ею облопалась.

– От того все это, что вы дуры, – произнес аптекарь добродушно.

– Мы-то дуры, да больно сердит Густав Иванович. Сунет в рыло посудинку и гонит вон, а пояснить не хочет. Не время, вишь. Спасибо тебе! Стало быть, через кажинные шесть часов?

– Да ты брось, баушка, часы-то, – уже нетерпеливо произнес молодой малый. – Какие у вас часы. Нешто вы это можете знать. Ты дай ей поутру, дай среди дня, да дай вечером.

– Можно тоже и ночью?

– Дай. А коли спать будет, не буди.

– Ну, прощай. Спасибо, родной!

Крестьянка вышла вон.

– Это вы что же, господин аптекарь, выясняете им, – заговорил незнакомец, – нешто

доктора нет у вас в Гру зине?

– Есть, – лениво отозвался аптекарь. – Да народ-то глуп. Им надо в башку-то, всякое, раз двадцать вдолбить.

– А скажите, пожалуйста, как мне доктора разыскать. Я здесь проездом, остановился на ночь, да вот прихворнул, а утром надо ехать дальше.

Молодой малый толково, но снова не спуская глаз с пузырька, в который наливал какую-то микстуру, объяснил, где помещается гру зинский госпиталь, и живет доктор.

– Хороший он человек? – спросил незнакомец.

– Кто его знает! Кто хвалит, а кто ругает. Я не знаю. Я здесь только две недели, как получил должность аптекарского помощника, никого и ничего не знаю. Да, должно быть, не придется и узнавать ничего. Отходить надо.

– Что ж так?

Молодой человек с большим оживлением или, вернее с ожесточением, начал рассказывать, как аптекарь играет в карты до трех часов утра, спит потом чуть не до полудня, оставляя его одного орудовать. Днем даст выспаться ему три-четыре часа и опять посылает будить, так как отправляется обедать или чай пить, или в гости, чтобы опять за карты засесть.

– Совсем смотался! Это не жизнь! Я от дела своего не отказываюсь, да ведь и собаке отдых есть! – раздражительно закончил аптекарь, снова зевая во весь рот.

– А вы бы графу доложили, здешнему помещику, – заметил собеседник.

– Как я к нему полезу, – пробурчал малый. – Это выходит, стало быть, идти с доносом. И как же графу нас разобрать. Аптекарь на службе который год уже здесь, а я без году неделю. Кому же граф поверить должен?

– Правда ваша. Да и к тому же, граф ваш, как сказывают, поедом народ-то ест. Людоед!

– Сказывают так, – отозвался аптекарь, – а я полагаю, что все то вранье. Строг-то он, строг, порядок любит, за всякую соринку на улице драть велит. И хорошо делает.

– Как же это, хорошо? – удивился незнакомец. – Жестокость это – за пустое взыскивать и по пустякам наказывать...

– Таков порядок на свете. Народ – свинья! Ты заставляй его делать, что следует, учи и наказывай, он же тебе потом в ножки поклонится за ученье.

– Да, а все-таки граф-то людоед, – настойчиво повторил незнакомец.

– Вы, сказываете, проезжий? – спросил аптекарь. – И в Гру зине никогда не бывали?

– Нет-с не бывал. В первый раз.

– Почему же вы так утвердительно говорите, что граф наш людоед?

– Это всему миру известно, по всей России. Все так сказывают.

– А вы мне скажите, каких он людей съел? Кого, тоись, безвинно погубил?!

– Я знать не могу.

– Как же вы говорите о том, чего не знаете. Надо говорить о таких предметах, которые знаешь. Да и что же это такое? Приехали вы в Гру зино, пришли в эту аптеку, которую устроил сам граф для пользы обывателей и тут же его поносите, а я должен слушать. Ведь вас надо взять за шиворот и вытолкать вон без всякого лекарства.

Окончив эту отповедь, молодой малый швырнул на прилавок перевязанную тесьмой коробочку и выговорил:

– Получайте вашу горчицу!

Незнакомец встал, подошел к прилавку и полез в карман за деньгами.

– Сколько полагается? – спросил он ухмыляясь.

– Четыре копейки.

Незнакомец положил на прилавок пять копеек, взял коробочку и быстро направился к дверям.

– Чего же вы бежите? А сдачу?

– Ну, что там, одна копейка-то; Бог с ней, – проговорил незнакомец. – Себе возьмите. – И он направился к выходу.

Видя, что незнакомец собирается уйти, аптекарь бросился к двери, стал у порога и выговорил, вспылив:

– Слушайте, берите сейчас свои деньги. А без этого не выпущу. Вишь, прыткий какой. Всех тут облаял, наболтал всякого вздора, да еще подает мне, словно нищему, копейку. Знаете ли, что следует за это сделать с вами?

Незнакомец торопливо вернулся, взял копейку с прилавка и двинулся из аптеки. Аптекарь отступил от двери и, пропуская его мимо себя на улицу, пробурчал чуть слышно:

– Эх, как бы я тебе наклал в шею!

Незнакомец быстро зашагал по улице, обошел издали барские хоромы, завернул к ограде сада и опять той же калиткой, тихо и осторожно прошел во внутренний двор. Через несколько минут он был уже на крыльце и зажигал фонарь. Поднявшись по лестнице во второй этаж дома, он тихо прошел весь коридор и, зайдя в дверь полуосвещенную горницу, потушил фонарь. Затем, пройдя еще две горницы, он вошел в кабинет вельможи и временщика. Здесь он сбросил на стол бороду, картуз, синие очки и сел в кресло, самодовольно улыбаясь.

Это был сам Аракчеев.

VI

На другое утро, около десяти часов, проснувшийся Шумский позвонил человека и потребовал трубку. Несмотря на все пережитое и пережитое за последнее время, Шумский все-таки не потерял своей привычки начинать курить прямо спросонок, еще в постели. Человек из гру зинской дворни, прислуживавший ему, спросил: намеревается ли барин кушать чай у себя или отправится к Настасье Федоровне?

– Это что за опрос такой? – выговорил Шумский. – Когда же это я по утрам у Настасьи Федоровны чай пил?

Лакей несколько опешил и выговорил виновато:

– Оне вас, слышал я, поджидают к чаю утрешнему.

– Ну, и пускай поджидает. Прикажи подавать сюда, а сам приходи меня одевать. Да только, пожалуйста, поскорей все сообрази, да попривыкни смекать. Не люблю я обучать.

– Нешто прикажете мне за вами ходить, а не Ва-силью?! – удивился лакей.

– Нет, я Васьки не хочу. Он будет тут другим делом занят, что граф прикажет. Мне его не нужно. Мне из вас кого-нибудь надо порасторопней.

– Слушаюсь, – ответил лакей, недоумевая.

Шумский оделся, сел пить чай, выкурил пять или шесть трубок, совершенно задымив комнату, недвижно сидел в кресле, глубоко задумавшись. Несмотря на несколько осунувшееся лицо, усталый, тускло-мерцающий взгляд, он чувствовал себя гораздо лучше, нежели вчера.

«Если так пойдет, – думалось ему, – так я недельки через две совсем молодцом. Совсем телесно и душевно справлюсь. Да на что оно мне теперь без Евы... Как это так глупо на свете бывает, что не умирает человек, когда нужно. Какого мне черта теперь делать на свете. Как не рассуждай, а следует всячески постараться помочь фон Энзе меня убить! И себя он одолжит, да и меня тоже». И, глубоко вздохнув, Шумский заговорил шепотом:

– Да, рухнуло! И как рухнуло. Я думаю, что если бы башня Вавилонская сразу развалилась, то не было бы от нее такого грома и треску, какой я чувствовал в себе, в душе, в голове, когда она призналась и мне все сказала. Если бы верить, что это наказание Божие, как иной дурак, так мне бы легче было. Делал всякие гадости, ну, и наказан, тут есть здравомыслие. Но если добра и зла на свете собственно нет и, стало быть, я зла делать не мог, то почему же все это? За что?! Где справедливость: заварили кашу дуболом и пьяная баба, а я расхлебывай!.. Ну, вот теперь и надо по мере сил постараться, чтобы и они подсели вместе со мной хлебать. И заставлю я вас, Ироды! – вдруг выговорил Шумский громко. – Да, заставлю вас хлебать вместе со мной. И, может быть, вы еще пуще меня нахлебаетесь,

треснете от моего угощения. Прогони он тебя из Гру зина, и я буду удовлетворен.

Шумский порывисто поднялся с места, прошел по горнице несколько раз и кликнул снова лакея. Сняв халат, он надел сюртук без эполет и пошел было из горницы, но на пороге он остановился и обратился к лакею:

– Ты! Сбегай к Настасье Федоровне, скажи, что я к ней иду.

Лакей побежал, а Шумский медленным шагом последовал за ним. Все время, что он шел по коридору, на его сумрачном лице отражалась странная улыбка. Всякий посторонний, приглядевшись к ней, назвал бы ее дьявольской усмешкой, столько горечи, злобы и ненависти было в ней. Недалеко от горниц Настасьи Федоровны лакей встретил Шумского и заявил, что барыня просит пожаловать. Шумский прошел еще несколько дверей и вступил в маленькую горницу, с мебелью красного дерева и со множеством цветов и зелени в горшках и трельяжах. Это была гостиная фаворитки. Настасья Федоровна стояла среди комнаты и, когда Шумский вошел, она двинулась навстречу к нему, собираясь обнять его и поцеловаться.

– Здравствуй, Миша, – произнесла она однозвучно, без всякого выражения, как бы машинально.

Но в тот миг, когда Настасья Федоровна подняла руки на молодого человека, он тоже протянул руку и выговорил тихо и спокойно:

– Это не нужно.

Настасья Федоровна гневно закинула голову, слегка глянула на него и глаза ее блеснули ярче. Но она тотчас же отвернулась и отошла, затем села и вымолвила несколько насмешливо:

– Милости просим, садитесь, господин фригер-тютент.

– Пора бы выучить название, – грубо выговорил Шумский, садясь на стул.

Наступило молчание. Шумский огляделся, перешел на кресло более спокойное и прислонился к спинке, как человек усталый.

Настасья Федоровна не спускала глаз с него и, покуда длилась пауза, разглядывала внимательно и упорно с головы до пят.

– Да, здорово изменился! Точно будто побывал на волоске от смерти, – произнесла она, наконец. – Неужто же это все от столичной веселой компании?

– Да, – отозвался Шумский злобно, – на дурацком волоске и сердцем, и разумом висел. Кабы умен был этот волосок, так оборвался бы. И мне бы лучше было, да и вам тоже, коли бы я с ума спятил или застрелился...

– Что ты это? Как же это лучше-то было бы? Твоя воля, если тебе угодно беситься с жиру, привередничать и не радоваться своей жизни. А мне-то почему лучше было бы? Ты меня не радуешь ничем, но все же мне не мешаешь на свете жить.

– По сю пору не мешал, Настасья Федоровна, а теперь, должно быть, помешаю! – странным голосом, спокойным, но резко твердым, проговорил Шумский, с ненавистью оглядывая женщину.

Настасья Федоровна широко раскрыла глаза. Главное, удивившее ее, было то, что Шумский не называл ее «матушкой», как всегда, а по имени и отчеству.

– Ну-с, – начал Шумский, тяжело вздохнув и как бы собираясь с силами. – Давайте разговаривать. Разговор будет у нас очень короткий, потому что с глупыми бабами долго болтать нечего, да и дело, которое я до вас имею, уже очень простое дело. Позвольте узнать от вас довольно важное и любопытное для меня обстоятельство. Чей я сын?

Настасья Федоровна сразу как бы оцепенела, потом изменилась в лице и хотела отвечать, но губы ее задрожали.

– Это что ж такое? – пробормотала она. – Это ты опять тот же вздор затеял, что когда в Пажеском был?

– Нет, не опять то же. Когда я еще пажом был, я спрашивал у вас, почему граф именуется Алексеем, а я именуюсь по батюшке Андреевичем. Я понял тогда, что я незаконнорожденный сын графа Аракчеева, утешился вскоре и даже об этом и думать забыл.

Я остался в полном убеждении, что я все-таки родной сын графа и ваш. Теперь я желаю, чтобы вы мне снова прямо отвечали на мой вопрос: чей я сын?

– Графский.

– Ложь. Нахальная и преступная выдумка! – вскричал Шумский.

– Что ты путаешь? Даже сообразить ничего нельзя, – смущенно заговорила Минкина. – Я не пойму. Хорошо, тогда мальчишкой был, а теперь большой человек. Вранья наслушался и приехал со мной о вранье губы полоскать.

– Я вас убедительно прошу, Настасья Федоровна, – спокойно заговорил Шумский, – не ломаться, не юлить, говорить прямо, толково, и говорить правду. За этим я теперь и приехал в Гру зино. Вы меня, кажется, хорошо и давно знаете. Неужели вы думаете, что я удовольствуюсь вашим кривляньем и увертками и уйду, ничего не добившись. Объясните мне толково, зачем я, будучи еще младенцем, очутился в этом проклятом доме, в этом проклятом Гру зине, где нет ни одного счастливого человека – от новорожденного до столетнего старика.

Настасья Федоровна уже давно достала платок из кармана, вытерла губы и нос, как будто хотела заплакать, но подобного с ней никогда не случалось. Она умела плакать только в минуты гнева и со злости.

– Вы не желаете отвечать и говорить со мной? – произнес Шумский. – Так я сам вам все расскажу.

– Я не знаю, что говорить. Ты спрашиваешь пустяки. Я тебе говорю, что сын ты графа и мой, всему свету это известно. Что же я буду еще объяснять?!

– Никому ничего не известно, – отозвался Шумский. – Наверное никто ничего не знает. Но весь Петербург, уже не говоря о Гру зине, всегда поговаривал, что я не сын графа Аракчеева, что я только ваш сын, а кто мой отец – неизвестно. Но и это оказалось вздором. Ну, вот я теперь и говорю вам: я не сын графа, но и не ваш!

– Что ты! что ты! – неестественно фальшивым голосом воскликнула Настасья Федоровна, но лицо ее все более бледнело, рука, державшая платок около губ, дрожала.

– Объяснять вам, кто я такой и как я попал в этот дом, я не стану, так как вы лучше меня это знаете, я только приехал сказать вам, что я это знаю. Вы не хотите признаться, этого и не нужно! У меня есть свидетели. Вам нужен был ребенок, потому что граф желал, якобы, наследника своего Гру зина. Вы обманули его, обманули всех, насмеялись над законами и людьми. Для ваших подлых расчетов вы отняли меня у родной матери. Теперь я желаю, чтобы граф знал правду, чтобы он знал, что я ни вам, ни ему не сын, а совсем чужой человек. Да я с детства чувствовал это! – вдруг воскликнул Шумский с горечью. – Я всегда чувствовал это. Я всегда ненавидел его и всегда презирал вас. Вот сегодня я и объясню все это графу Аракчееву.

– Миша! Миша! – отчаянно проговорила Настасья Федоровна и не могла продолжать.

Голос ее прерывался. Она закрыла лицо платком и замолчала.

– Миша, – заговорила она снова, – ну, если не для меня. Если я тебе ничто. Себя-то за что же ты губишь! Ведь ты все потеряешь. У тебя все есть. И все это Гру зино! Все твое будет. Ты все хочешь потерять! Из-за чего? Нешто можно такими делами шутить. За что ты хочешь трех лиц губить!

– Я не хочу его обманывать, я не хочу быть вашим сообщником. Покуда я ничего не знал, я мог разыгрывать вашу комедию. Но, повторяю: я всегда ненавидел и вас, и его. Считая себя сыном только незаконнорожденным, я пользовался и положением, и деньгами. Теперь я не хочу.

Настасья Федоровна схватила себя руками за голову вне себя от ярости и воскликнула:

– Ах, головорез! Разбойник! Вот проклятое детище послал мне Бог. Я думала на его счастье, а он...

– Ах, так ты мое счастье устраивала тогда?! – вдруг выговорил Шумский вне себя от злобы и гнева. – Это ты мое счастье устраивала, пьяная баба, когда силком отняла меня у бедной вдовы и выдала за своего ребенка. Нет, ты распутная баба свои дела обдeldывала.

Тебе было нужно Аракчеева к лапам прибрать, наследником его подарить. Ну, да что с тобой толковать. Я только пришел тебе сказать... – и Шумский поднялся с места. – Я пришел сказать, что я все знаю и все сегодня же объясню графу.

– Он тебя за клеветничанье на мать и выгонит вон! – воскликнула Настасья Федоровна. – Как щенка, за ворота вышвырнет.

– Нет, тебя он вышвырнет, а я сам уйду. Следовало бы мне только, прежде чем из этого дома уходить, одно дело сделать... След бы тебя, подлую бабу, задушить или прирезать. Да марасть руки о такого пса, как ты, охоты нет.

Настасья Федоровна оцепенела совсем от гнева, не двигалась и не могла произнести ни слова. Шумский стоял перед ней, тяжело переводя дыхание и как бы готовый броситься на женщину.

– Ах ты, мерзавец... – через силу вымолвила она наконец, всхлипывая от злобы. – Да тебя запороть... В Сибирь тебя и Авдотью надо... Если вы графу пикнуть посмеете, то и тебя, и ее запорят...

– Молчи, пьяная распутница! – глухо проговорил Шумский, наступая и сжимая кулаки. – Молчи! Не тебе грозиться мне. Я тебя, как клопа, раздавлю сегодня одним моим словом. А если ты пальцем тронешь мою мать, то я тебя прирежу, вот тебе Бог! Спасибо скажи, что жива еще от меня... Да авось Господь пошлет тебе за все твое окаянство, еще ухлопают здесь когда-нибудь... Сам бы я топор на тебя наострил, пропойца и развратница... Знаю я, каналья, чем ты графу мила, чем ты берешь его, чем милее ему всех красавиц земных... Все гру зинцы это знают и тебя ниже скотов, псов и свиней ставят. Гадина ты для всех! Гадина!.. Отродье борова с ведьмой!

Шумский повернулся и, задыхаясь от гнева, быстро вышел из горницы.

– Давай мне судьба на выбор, – прошептал он взволнованно шагая, – кого застрелить? Фон Энзе или эту гадину? И я его упусти? Он предо мной не виновен. Он тоже любит!.. А эта гадина?!.. Ох, три раза убил бы, оживил и опять убил.

VII

Вернувшись к себе и успокоившись, Шумский послал за Авдотьей. Когда женщина пришла, он внимательно присмотрелся к ее лицу. Увидя то же прежнее спокойно-грустное выражение, какое было у нее за последнее время, Шумский выговорил:

– Настасья тебя, стало быть, не вызывала для расправы, ты ее сегодня не видела и не объяснялась?

– Нет, вчера она меня пытала, да я сказала, что ты сам все пояснишь, а теперь шумит у себя на половине.

– Рычит и грызется, как пес, – усмехнулся Шумский. – Да, теперь из-за моего разговора с ней многие розог отведают. Надо же треклятой бабе на ком-нибудь сорвать свою злобу. Ну, а ты, матушка, собирайся. Поди оденься, мы с тобой отправимся по делу.

– Куда? – удивилась Авдотья.

– Оденься, на дворе свежо, и выходи, а я тебя обожду на крыльце.

Авдотья, недоумевая, вышла. Через несколько минут, встретившись на крыльце, и женщина, и молодой человек двинулись пешком через двор на улицу. После паузы Шумский выговорил:

– Веди меня на то место, где ты жила, когда я родился. Избы, говоришь, и следа нет?

– Нет. С той поры ведь тут все переменялось. Видишь, какие дома повыстроены. Тогда простые избы мужицкие стояли.

– Все равно, место покажешь мне, где я постылый свет Божий увидел.

– Как бы нас, Миша, из дому не заприметил кто.

Шумский усмехнулся.

– Пускай глядят, кому любопытно.

Пройдя немного по гладкой, чисто выметенной улице, где не было ни соринки, но где,

тем не менее, от людей до окошек и ворот, все глядело холодно и угрюмо, Авдотья остановилась и указала на один из дворов.

– Вот на этом месте, – заговорила она, оживляясь, – стояла та изба, куда меня ночью привезли и заперли, как повинную в злодействе каком. Тут ты и родился. Здесь вот дворишка был, закуты, колодезь...

– Стало, совсем и следа нет прежнего, – спросил Шумский, оглядывая большой дом с крыльцом по середине на каменном фундаменте, каковы были все дома Грузина.

– Вестимое дело ничего, только место, а то и бревнушка никакого старого не осталось. А уж что, Миша, крестьянского поту и крови пролито в этом графском строительстве.

Постояв несколько мгновений молча и понурившись, Шумский снова двинулся в сопровождении Авдотьи и затем вымолвил:

– Туда ли мы идем-то? Где кладбище?

– Оно вон там, – показала рукой Авдотья. – Да ты что?

– Пойдем на кладбище.

– Зачем?

– Понятное дело зачем. Ты сказываешь, что могила отца целехонька, что ты ее соблюдала.

Авдотья всплеснула руками и выговорила испуганно:

– Что ты, Господь с тобой, что ты затеял? Нешто можно. Помилуй Бог, узнают! Что тогда будет? Как-нибудь после, а теперь как можно.

– Полно, матушка, – холодно и мерно выговорил Шумский. – Сколько раз мне тебе повторять, что некого мне бояться, что я всякой бодливой коровы больше побоюсь, чем этого изувера Грузинского. Да и не посмеет он меня тронуть. Он на бабу и на раба отважен.

– А мне-то что будет? – всплакнула Авдотья.

– И тебе ничего не будет. Глупая ты, ну, чудная, что ли, – быстро поправился Шумский. – Разве я позволю ему, или Настасье, тебя тронуть хотя пальцем. Я им обоим головы оторву, коли они за тебя примутся. Сто раз я тебе это сказывал, и все зря! Как об стену горох! Ты, знай, свое повторяешь. Как я положил, так и буду поступать, а было решено мною с этим дуболомом и с этой пьяной канальей объясниться и на могиле отцовской побывать, а затем вместе с тобой же обратно в Питер. Ну, пойдем.

Авдотья покорно, вздыхая, двинулась и повела сына в противоположную сторону. Через минут десять молчаливого пути они приблизились к кладбищенской церкви. Войдя в ограду, они пошли тропинкой мимо десятков могил с простыми деревянными крестами, раскрашенными разными красками. Здесь в месте упокоения вечного рабов Божиих и Аракчеевских была тоже система, распорядок, аккуратность. Всякий крест был видимым знаком общественного положения похороненного, смотря по его колеру. У более зажиточных покойников на могилах стояли гладкие кресты: темно-красные и голубые, у других поглубже: желтоватые и сероватые и, наконец, у бедняков плохие кресты были выкрашены черной краской, или просто смесью сажи с маслом.

В дальнем краю кладбища Авдотья остановилась перед одной уже сильно сравнявшейся с землей могилой. Над ней был простой, ветхий крест прежде черный, теперь порыжелый от времени и слегка покосившийся на бок.

– Вот, – выговорила Авдотья.

Шумский остановился и стоял истуканом, глядя на порыжелую траву бугорка.

– Это, матушка, не значит могилу соблюдать, – произнес он наконец. – Я думал, могила в порядке совсем, а это что же такое? Грошовый крест, гнилой, торчит на бок. Как же это ты так?

– Опасалась я, Миша. Стала бы я подновлять, мало ли бы что вышло. Я и на могилу-то ходила от всех тайком. Деньги у меня были, желание, вестимо, еще того больше, да страх брал. Доложат Настасье Федоровне, что я могилку подновляю, она бы в сомнение пришла.

– В какое сомнение? Ей-то что же?

– А кто же ее знает. С ней противничать погибельно. Заставляла же она меня часто

иным гостям своим сказывать, что я, кормилица твоя, отродясь замужем не была и срамила меня. А я тут стала бы мужнину могилу подновлять.

Шумский двинулся от могилы, ни слова не говоря, и, уже приближаясь к церкви, увидел двух мужиков, которые копали свежую яму. Он позвал их. Мужики при виде барина в мундире и, догадываясь, кто это может быть, поснимав шапки, бросились к нему.

– Добегите к батюшке и попросите его сюда в облачении панихиду служить.

– Что ты, Миша, – вдруг воскликнула Авдотья, хватая молодого человека за руку.

От перепуга женщина сразу изменилась даже в лице.

– Скажите, Михаил Андреевич приказал звать, – добавил Шумский мужикам, не поглядев на мать.

– Миша, ради Создателя, брось. Зачем же дразниться? Ну, действуй, как знаешь, объясняйся с ним, говори свое, а зачем же тебе задирать его, дразниться?

Шумский усмехнулся.

– Да, вот именно как ты сказываешь. «Дразниться!» Вот это-то я и буду делать. Объясниться-то мы можем с ним, с идолом только один раз. А мне этого мало, на сердце не полегчает. А вот именно «дразниться» я могу сколько хочу, хоть всякий день и круглый год. Вот в этом-то все мое утешение. Нынче мы с ним поговорим, я его некоторыми словами, как тумачами по голове, отзвоню и он у меня ошалеет. Может быть, потом он и ее поколотит. Да через неделю, боюсь я, он простит все, помирится с ней и заживут они опять счастливо. А вот «дразниться» я могу и неделю, и месяц, и год, и всю мою жизнь. И этим-то я их и попроберу. Перед целым светом на смех подыму, поясняя, как они детей воруют...

Авдотья стояла потупившись и только смутно понимала, что хочет сказать сын.

– Что же, Господу Богу молиться на могиле в насмешку, – произнесла она наконец. – Ну, хотел бы ты по родителе панихиду отслужить, ну отслужил бы не на месте. И в Питере можно, без смеха. А этак нехорошо. Кто же когда на свете панихиду на смех служит?

Шумский положил руку на плечо матери и выговорил мягче:

– Ты не так поняла, матушка, я хочу служить панихиду по долгу сыновнему, а не в насмешку. А узнает Аракчеев, я рад буду... Пусть бесится!

В эту минуту на кладбище показались несколько человек, приближавшихся быстро и как бы смущенно. Впереди шел священник в облачении, за ним дьячок с кадилом и причетник. Старик священник еще издали, за несколько шагов, уже начал кланяться. Шумский двинулся к нему навстречу, подошел под благословение и затем вымолвил:

– Позвольте попросить вас, батюшка, отслужить панихиду.

– Где прикажете? – отозвался священник. – И по ком?

– За мной пожалуйста. По рабе Божьей Иоанне.

Шумский пошел вперед, за ним Авдотья, а за нею остальные. Приблизясь к той же убогой могилке, Шумский показал на нее рукой. Все три служителя кладбищенской церкви, недоумевая, принялись за свое дело и запели громко и сиповато. Шумский стоял недвижно и не крестясь. Не только рукой, но даже бровью не двинул он. Правая рука его была заложена за борт сюртука, в левой он держал снятый картуз. Глаза были опущены в землю.

Авдотья опустила на колени и, как ни старалась, не могла перебороть себя и плакала навзрыд. Поступок ее Миши, о котором она ничего не знала заранее и, конечно, и помышлять не смела, сильно подействовал на нее. Ей, разумеется, никогда и не мерещилось, что придет день, когда она вместе со своим сыном будет над этой могилой служить панихиду. Священник кончил и, повернувшись к Шумскому, поклонился ему в пояс.

– Давно ли изволили к нам пожаловать? – счел он долгом начать беседу с молодым баринном.

– Вчера ввечеру, – отозвался Шумский.

– Должно быть, могилка-то сродственника вашей нянюшки? – по природной болтливости спросил священник.

Шумский хотел что-то ответить, но слова будто замерли у него на губах.

– А нехорошо, Авдотья Лукьяновна, – заболтал опять поп. – Я в первый раз на этой

могиле служу. Как же это вы ни разу не подумали? Я и не знал. Вишь и крест покосился. Знали бы мы, смотрели бы за могилой. Кто же тут, стало быть, похоронен у вас, Авдотья Лукьяновна?

Женщина быстро взглянула на Шумского, потом перевела глаза на священника, промычала что-то бессвязно и смолкла.

– Здесь похоронен, – твердо, но как-то грубовато и хрипливо, проговорил Шумский, – похоронен муж Авдотьи Лукьяновны и, стало быть, мой отец.

Священник, дьячок и причетник, все трое зараз, как по команде, вытаращили глаза. Двое разинули рты, а третий, напротив, сжал губы, но зато еще сильнее пучил свои маленькие глазки. За несколько секунд молчания в уме священника, вероятно, мелькнуло, скользнуло что-то: воспоминание или соображение! Или слышанные им тайно, под страхом ответственности, пересуды и рассказы гру зинские. Священник вдруг слегка изменился в лице и оно изобразило лишь один неподдельный, отчаянный испуг.

– Я уж на вас, Михаил Андреевич... Я на вас полагаюсь... Господа Бога ради!.. У меня шестеро деток...

И священник не мог договорить, так как голос его дрожал и рвался.

– Что вы? – холодно спросил Шумский.

– Я на вас, Михаил Андреевич, полагаюсь. Если что... – Защитите. Я не виноват. Я не знал. Вы приказали... Я и пошел служить. Я же ничего не знал. Так я графу и доложу, а вы не дайте в обиду! Не губите деток, семью...

И священник все нагибался ниже и ниже. Казалось, еще мгновение и он бросится в ноги.

– Чего же вы сдуру перепугались? – произнес Шумский еще холоднее и еще глуше.

Ему вдруг почудилось что-то оскорбительное в этом страхе попа, ставившее его самого в глупое положение.

– Сами изволите ведать, я не при чем. Вы прислали явиться панихиду служить. Я же ничего не знал и – вот Господь Бог – и не знаю.

Шумский вдруг усмехнулся своей злой и ядовитой улыбкой и вымолвил:

– Нет, батюшка, кабы вы ничего не знали, так вы бы теперь и не перепугались, вы все знаете и все знали! Вы, стало быть, знали еще тогда, когда я сам, родной сын этого похороненного здесь, ничего не знал. И не вы одни, все знали. Один я не знал.

– Помилосердуйте! – всхлипнул священник, поняв слова по-своему. – Вы приказали, я не смел послушаться.

– Успокойтесь, – небрежно, но желчно вырвалось у Шумского. – Вы свое дело делали: позвали вас для панихиды, вы и служили.

Шумский тронул за руку Авдотью и умышленно выговорил:

– Пойдем, матушка.

Когда они были за церковной оградой, Авдотья все еще с красным заплаканным лицом качала головой и произнесла с отчаянием:

– Что ты творишь, Миша? Что ты творишь? Себя ты порешил загубить, но за что же ты других, безвинных, губишь? Ведь суток не пройдет, граф может и батюшку и всех кладбищенских во прах обратить. А это человек сердечный, добрый, все его уважают, и семейный. Ты эдак и младенцев безвинных перегубишь. Ты дразнишься, а все Гру зино, гляди, ныне же кровью обольется... Они твою вину на рабах сорвут.

Шумский вздохнул и ничего не ответил.

VIII

Едва только Шумский вернулся в дом, как к нему явился человек и доложил, что граф просит его к себе. Молодой человек, не ожидавший, что придется тотчас же идти к Аракчееву со своим роковым объяснением, слегка смутился, но тотчас же оправился и взбесился на самого себя.

– Струсил! – иронически выговорил он шепотом и, двинувшись через дом по направлению к кабинету Аракчеева, он чувствовал в себе лишь одно сильное озлобление. Сначала это была злоба на самого себя за то, что он унизился, почувствовав страх и смущение, а затем уже явилось злобное раздражение на всех и на все окружающее... от графа и до трусливого кладбищенского попа, поставившего его в нелепое положение.

«Подарю я тебя весточкой, дуболом», – подумал Шумский, переступая порог кабинета графа.

Аракчеев сидел за письменным столом, на котором кипами лежали бумаги, но перед ним не было ни одной, а лежало развернутое Евангелие.

Здесь, у стола, Шумскому пришло на ум нечто, о чем он, идя, не подумал: «Здороваться ли с графом обычным образом или нет?»

Когда-то он прикладывался к обшлагу рукава в качестве сына. Теперь, чужой человек, обязан ли он облобызывать сукно мундира этого всячески ненавистного ему человека. И вдруг коварная мысль мелькнула в голове его: чем вежливее и нежнее начнется это свидание, тем крепче, неожиданнее и чувствительнее будут те удары, которые он нанесет в сердце этого человека.

А человек этот настолько сух, бездушен, настолько деревянен, что нужны сильные нравственные тумачи, чтобы его пробрать и встряхнуть. Шумский, внутренне смеясь, наклонился, Аракчеев поднял руку и молодой человек приложился губами к обшлагу.

– Вон, – выговорил Аракчеев, мотнув головой на стул с другой стороны стола.

Шумский сел и устремил взор на графа. Тот сидел, опустив на книгу свои глаза с галчьиими веками. Толстые губы его топырились, как показалось Шумскому, особенно пошло. Мясистый, как бы опухший нос, слегка вздернутый вверх, тоже казался ему на этот раз особенно уродливым. Короткие и курчавые, как у негра, волосы, жесткие и блестящие, положительно не шли к аляповатому лицу.

Все эти завитки и колечки с легкой проседью казались париком, в шутку сделанным из мерлушки и вдобавок приготовленным для иного, более красивого лица.

«Стриженная кухарка Агафья в генеральском мундире!» – подумал Шумский, вдруг снова озлобляясь.

– У матери был? – в нос мыкнул Аракчеев, не разжимая губ.

– У Настасьи Федоровны? – как бы поправляя, вымолвил Шумский и прибавил: – Был-с.

Аракчеев двинул не спеша галчьиими веками и тускло-стеклянные глаза, как у куклы, уперлись в молодого человека.

– Это что же такое? – выговорил он мерно.

Шумский молчал, приняв наивно-равнодушный вид.

– Что же это такое? Спрашиваю я вас, сударь мой.

– Как-с-будто? – заискивающе произнес Шумский.

– Так-с! – отозвался, передразнивая, Аракчеев и вторя тем же тоном.

Наступило молчание, и тишина, нарушаемая лишь сопеньем графа, длилась долго.

Тут два человека вдруг захотели друг друга переупрямить. Один ждал ответа на вопрос, а другой не хотел отвечать, а хотел, чтобы ему еще раз предложили этот важный вопрос, но яснее и определеннее.

– Мало, мало. Да, мало тебя драли, – выговорил, наконец, один из двух, не подымая глаз. – Теперь поздно. И если драть нельзя, то надо будет выискать что-либо прямо соответствующее. По какому случаю и с какого черта? Что приключилось, чтобы осмелиться свою родительницу дерзновенно вдруг называть Настасьей Федоровной?

– Вот за этим, собственно, я и приехал, чтобы вам объяснить все...^ ответил Шумский умышленно небрежно. – Подробно, объяснять не стоит. Достаточно сказать лишь несколько слов, по которым вы уразумее все. Я называю вашу сожительницу не матушкой, а...

Аракчеев быстро вскинул глазами на Шумского, и тот невольно запнулся под ярко сверкнувшим взглядом. Это была уж не кукла, а зверь!

– Я называю ее Настасьей Федоровной по той причине, – продолжал он тверже, – что она мне не мать.

– Ты что же это... Допьянствовал до умоисступленья, до потери разума, до синеньких чертиков! – хрипливо вымолвил Аракчеев от приступа гнева, сдавившего горло.

– Соизвольте, ваше сиятельство, понять... Я родился не от Настасьи Федоровны, она мне не мать! Вы же мне не отец, а совсем чужой человек! Все это мошеннический обман и преступная комедия.

И сказав это, Шумский пристально впился глазами в Аракчеева, чтобы насладиться тем, что произойдет в этом человеке. Но через мгновение на лице Шумского было написано удивление. Со зверем-человеком ничего не случилось. Лицо его не изменилось ни на каплю, а если что и произошло там, где-то, где у людей бывает сердце, то ничего наружу не вышло. Он только громче сопел...

– Рассказывай, сударь, побасенку потолковей, с началом, с середкой и с концом, – вымолвил Аракчеев, ухмыляясь ехидно, но тревожный голос слегка изменял ему.

– Что же вам, собственно, угодно знать? Как все произошло? Откуда меня достали? Как выдали за своего и за вашего сына? Это, я полагаю, вам расскажут лучше меня все *гру* зинцы. Все здесь знают то, чего только мы двое не знали – вы да я... Последний хам в доме может рассказать вам, как меня в ваше отсутствие притащили новорожденным во флигель, и как выдала меня за своего ребенка ваша сожительница, которая сама и не могла иметь никакого ребенка, ибо, прикидываясь, только носила подушку. Я же сын родной Авдотьи Лукьяновны. Да-с! И если вы не хотите заставить объяснить все сами Настасью Федоровну, позовите мою мать, а то любого хама из дворни... Я отвечаю вам, что каждый из них знает подробно, как над вами потешилась ваша сожительница.

Шумский смолк. Аракчеев вдруг двинулся и не просто вздохнул, а как-то протяжно выпустил при себе дух, как если бы пробежал версту, не переводя дыхания, или бы окунулся сразу в холодную воду.

«Пробирает, соколик. Родненький! Желанный! Касатик!» – Мысленно издевался над ним Шумский.

Наступило молчание и длилось минут пять, которые, однако, показались Шумскому целым часом.

– Если все ложь, что мне тогда сделать? – глухо выговорил наконец Аракчеев. – Что мне учинить с тем негодяем, который, собрав охапку всяких сплетен, клеветничает на уважаемую мною особу, позорит любимую мною женщину, выше которой я на свете не знаю, выше которой на свете нет! Да! – Вдруг громко на весь кабинет крикнул Аракчеев: – Нет на миру женщины выше Настасьи Федоровны. Все какие есть на свете женщины, хоть бы принцессы и королевы, все ей в подметки не годятся. Только холопы разные этого не понимают и *гру* зинские, и петербургские. Да не крепостные, а сановные и придворные. А вот государь император, тот знает и высоко ценит Настасью Федоровну. И вдруг ты, паршивый щенок, набрав всякой дряни на язык, принес ее сюда и соришь языком у меня в кабинете, перед моей особой. Алтынный поросенок порочит особу, кою я не знаю с кем и сравнять... разве со святыми угодницами. Ну, так если все это святотатственная клевета на нее, что мне тогда с тобой сделать. Говори!

– Что вам угодно. Ваша воля...

– Знаю, что моя... Что мне угодно. Ну, так вот что. Слушай! Дело это рассудить не мудрено, сейчас же за него и возьмемся. Если, как я знаю, окажется на поверку, что все это злобная ложь, то я попрошу государя тебя разжаловать в солдаты и сослать в какой дальний полк, в трущобу. Там ты и околевай. Согласен?

Шумский молчал.

– Что? На попятный?..

– Нет-с, но я не понимаю при чем тут согласие мое и чего вы желаете от меня.

– Желаю и требую, чтобы ты, поганый щенок, выбирал... Начинать ли расследование этой мерзости, которую ты сюда притащил на языке, или бросить и постараться даже забыть

этот паскудный разговор, который мы теперь с тобой ведем. Если не начинать ничего, то все останется по-старому. Только я буду помнить, что ты на всякую гадость мастер. А коли не бросать, а начинать расследование, то после одного быть тебе солдатом. Согласен?

– Согласен, – отозвался Шумский, улыбаясь, – но позвольте... Всякий, как я слышал, и торговый договор бывал на две стороны. Если все окажется ложью и клеветой, то пусть я буду солдатом, хоть трубочистом. Чем вам угодно. Но если все окажется сущей правдой? Тогда, позвольте узнать, что будет?

– Что? Что? – воскликнул Аракчеев. – Что же тогда? Ничего!..

– Как ничего! Если в деле окажется виновной близкая и дорогая особа, так ее всячески выгородить. Меня в случае легкой виновности – сплетничанья – в солдаты, а кого другого в случае уголовной виновности милостиво простить, опять ласкать, обожать, ублажать, кормить и поить... возбудительным сладким винцом... пред отходом ко сну!..

– Не твое дело, негодай... это все... – прерывисто проговорил Аракчеев, и голос его, сдавленный и сиповатый, выдал всю ту бурю, которая вдруг поднялась в нем от дерзости молодого человека.

– Нет-с, мое дело, – резко продолжал Шумский. – Коль скоро заранее определено, как буду я наказан, оказавшись виновным, то я точно также желаю вперед знать, как будут наказаны другие, если я окажусь прав. И удивительно, право... Говорить, что это не мое дело. Надо мной разыграли комедию, меня новорожденным отняли силком, правда, у простой крестьянки, но все-таки у родной матери, и заставили меня эту мать считать прислугой, обращаться с ней двадцать пять лет, как с горничной, крепостной бабой... Когда цыганки уносят и воруют детей, их хватают, судят и наказывают. А важного сановника и его сожительницу за воровство чужого ребенка нельзя, стало быть, наказывать. Так, если законы и судьи тут не властны, то надо самому уворованному, когда он вырос, действовать и за себя отплатить.

– Пустомеля! Пустозвон! Если не сын ты, все же мой... хам!.. – И Аракчеев, схватив себя за голову, прибавил едва слышно: – Выйди вон.

Шумский, вообразив, что с графом делается дурно, приподнялся и хотел уже идти к окну, где стоял на подносе графин с водой, но в тот же миг Аракчеев дикими глазами глянул на него и выговорил тверже:

– Скорей! Вон! А то убью!

– А-а? – протянул Шумский, вдруг озлобясь, и чуть не прибавил вслух: «вон что!..»

– Уйди! – вскрикнул Аракчеев и стал озираться вокруг себя по столу и горнице, как если действительно искал что-нибудь, с чем броситься на молодого человека.

Шумский повернулся и, деланно улыбаясь, двинулся вон из кабинета. Но в дверях он остановился, как если бы сам сатана удержал его и, обернувшись к графу, выговорил мягко, почти приветливо:

– Виноват-с, в котором часу кушаете? По-прежнему в четыре или раньше?

Аракчеев снова взялся за голову, оперся локтем на стол и повернулся спиной к дверям.

Так как ответ был не нужен, а нужна была одна насмешка, то Шумский тотчас же вышел и быстро пошел через весь дом, бормоча по дороге:

– Теперь будемте-с втроем расхлебывать. Одному-то было скучно. Извольте, идолы, мне помогать. И авось-то я похлебаю без беды, а вы-то оба подавитесь.

Через четверть часа необычный шум в доме, голоса в коридоре и беготня озадачили Шумского. Он позвал лакея и приказал сбегать узнать в чем дело.

Лакей вернулся через минуту оробелый.

– Графу приключилось нехорошо. Дохтур у них. Да еще за городским в Новгород верховых погнали. Господи помилуй и сохрани!

– Не ври! Вы бы тут все гру зинцы трепака отхватали, если б он вдруг издох! – воскликнул Шумский.

Лакей побледнел слегка и оцепенел на месте, глядя на молодого барина совсем шалыми глазами. И услышать-то только эдакие слова – Сибирью запахнет под носом.

– А Настасья у графа? – спросил Шумский.
– Никак нет-с... – робея еще более, отозвался лакей и невольно двинулся к дверям, уходя от беды.
– Нешто ей не доложили?
– Они были-с... Граф не приказали им тревожить себя.
– Отправил! Не принял! Прогнал!
– Воля ваша-с... Михаил Андреевич... а я-с... я-с...
И лакей выскочил в двери.
Шумский, улыбаясь, прошелся по комнате несколько раз и вымолвил вслух:
– Ну-с, ваше сиятельство... Сынка я у вас отнял... Бог даст и персону, «коя превыше всех принцесс» тоже отниму. И сиди тогда, людоед, один как перст!

IX

Весь день в доме было затишье. Все население Гру зинской усадьбы от мала до велика попряталось каждый в свой шесток, так же, как птица прячется перед грозой. Все гру зинцы поняли, что на этот раз молодой барин приехал по какому-то важному делу, все знали, что между графом и Шуйским произошло важное объяснение, но не знали, конечно, в чем оно заключалось.

Все затрепетали, когда по выходе Шумского из кабинета графа, гру зинскому владыке приключилась дурнота. Втайне все радовались, что молодой барин сделал или сказал что-то неприятное Аракчееву, но вместе с тем все трепетно опасались стать причастными беде и без вины виноватыми.

Шумский сидел у себя в горницах, нетерпеливо ожидая, как «они» рахлебают кашу, которую он заварил, но до вечера ничего нового не случилось. Уже часов в восемь он послал за матерью, чтобы узнать от нее что-нибудь. Авдотья пришла встревоженная, с опухшими от слез глазами. Она объяснила сыну, что Настасья Федоровна пыталась ее на все лады, чтобы узнать, как все приключилось и каким образом Шумский узнал то, что 25 лет было тайной для всех. Разумеется, Минкина догадывалась, что дело не могло обойтись без участия мамки.

– Ну, а ты что же? – резко произнес Шумский. – Небось нюни распустила, покаялась?
– Как можно, – отозвалась Авдотья, – нешто могу я покаяться. Они меня до смерти заперют, или в «едекуль» посадят.

– Стало быть, ты на своем стояла: знать не знаю и ведать не ведаю?
– Вестимо.
– А мною она тебя пыталась?
– Два раза принималась допрашивать и, наконец, до того обозлилась, что собралась было драться, подступила и кулаки подняла. Да вдруг будто что вспомнила, сама себя ухватила за волосы, затопала ногами и выгнала. Как же теперь, родной мой, быть? Я и ума не приложу.

– Что, как быть?
– Да если они опять меня будут пытать, и помилуй Бог, граф к себе позовет. Что же мне тогда делать?

– А все то же, матушка. Говори: знать не знаю, ведать не ведаю, откуда оно все вышло. Вы, мол, у него спросите.

– Ну, а ты-то как же?
– Обо мне уж не беспокойся, я с ними разговаривать умею. Да и как все повернется не ведомо. Ведь он ее к себе не допустил.

Авдотья подтвердила то, что Шумский уже знал: в ту минуту, когда Аракчееву сделалось дурно и все поднялось на ноги в доме, Настасья побежала к графу и, действительно, не была принята им.

Вся дворня, привыкшая к полновластию фаворитки в доме, не могла понять, или не посмела понять, действительного значения факта. Не зная сущности беседы Аракчеева с

Шумским, никто не мог догадаться, что граф не пожелал допустить до себя и видеть свою любимицу. Все повторяли разные варианты того, что объяснил Шумскому лакей.

«Граф не принял в кабинет Настасью Федоровну, чтобы ее не напугать и не потревожить».

На вопрос Шумского о Пашуте Авдотья объяснила, что Настасья Федоровна вызывала к себе и девушку и ее брата и допрашивала обоих о житье-бытье в Петербурге, о том, кого Шумский наиболее видел за последнее время, о бароне Нейдшильде и его дочери, но помимо пустого разговора ничего не было.

Отпустив мать, Шумский строго наказал ей, что, если наутро она узнает что-либо в доме особо важное, то должна немедленно прийти и предупредить его.

– Боюсь я к тебе этак ходить, – отозвалась Авдотья.

– Что? – удивился Шумский.

– Опасаюсь... Буду я этак к тебе забегать, Настасья Федоровна в сумнение придет и не миновать мне беды.

– Да что ты, матушка, разума что ли лишилась! – резко произнес Шумский, но тотчас же смягчил голос и прибавил вразумительно тихо, – сколько же раз мне тебе сказывать, что я не позволю им ни единого волоса на твоей голове тронуть. Пойми же ты это, наконец! Пойми ты, что если Настасья тебя пальцем тронет, то я ее исколочу собственными кулаками. И она это знает. Пойми, что если граф велит тебя как наказать, то я и до его морды доберусь.

– Ох, что ты! – ахнула Авдотья с таким ужасом, как если бы сын страшно богохульствовал.

– Я тебе это на все лады объясняю, а ты все трусишь этих чертей. Ведь право, матушка, зло на тебя берет, что не могу я тебе в голову простое дело вбить. Мать ты мне, или нет? Говори?

– Ну, ну, – отозвалась Авдотья, потупляясь.

– А коли ты мне родная мать, то как же я позволю кому-либо тебя тронуть?

– Кому другому, вестимо, не дозволишь, а граф и Настасья Федоровна – люди властные и над тобой.

– Пойми ты, что не властны они надо мной. Скорей они у меня в руках. Я могу срамить их на всех перекрестках, что они чужих детей отнимают да за своих выдают:

– На воспитание брать – тут худого нет ничего! – вдруг заявила Авдотья как сентенцию, очевидно, с чужих слов.

– Так тогда я могу этого дуболоба срамить иначе на весь Питер, – озлобясь, вскрикнул молодой человек. – Я буду рассказывать, как Настасья девять месяцев надувала этого идола подушкой. Думаешь ты недаром сегодня с ним дурнота приключилась. Крепок дьявол! Я было надеялся, что его хоть малость кондрашка хватит...

– Ну, прости... Я пойду... А то неровен час!.. – перебила Авдотья.

– Ну, иди... Только помни, если что будет нового, приходи тотчас ко мне, коли сплю – разбуди. Да не умничай, слушайся меня. А теперь тотчас пошли ко мне Пашуту.

Авдотья ушла, а Шумский начал шагать из угла в угол по горнице, изредка ухмыляясь своим мыслям, но как-то горько, злобно, ядовито. Несмотря на эту изредка скользившую по лицу усмешку, лицо его было сумрачно, глаза печальны. Пройдясь несколько раз по горнице, он остановился, тяжело вздохнул и тихо выговорил вслух:

– Плохо дело, если единственная соломинка, за которую я хватаюсь – месть. Эдакая даже ни на что и не нужна. Утопающий думает, что в соломинке пошлет Бог чудо и она спасет его, а я, хватаясь за мою соломинку, знаю, что она не спасет меня. Да я и цепляюсь-то за нее не ради спасения себя, а будто со злобы, что утопаю, рву все, что под рукой. Во мне какое-то дьявольское желание, чтобы все гибло кругом вместе со мной. Вот этак-то в Священной истории Сэмпсон потряс и разрушил целый дворец, и себя, и всех кругом убил. Вот и я так же. Да, я чувствую, что теперь сделаюсь самый злой, скверный человек. Не только этого изувера и его Настасью, или фон Энзе, но даже людей совсем не повинных я в покое не оставлю. Буду мстить направо и налево всем, за все. Виновата лиходейка одна

Настасья, но что же я с ней могу сделать! Будь она не баба, будь офицер-дворянин, человек мне равный, я бы застрелил ее...

Шумский запнулся и усмехнулся.

– Равный!.. Дворянин!.. Нет уже это теперь, братец мой, надо оставить, – прибавил он злобно.

Пройдясь еще несколько раз по комнате молча, Шумский закурил трубку, сел в кресло и через минуту как бы несколько успокоился.

Он стал думать о том, что неизвестно зачем приказал послать к себе Пашуту. О чем будет он с ней говорить? О баронессе? Это невозможно. Она отмолчится. Вникнув глубже в свои теперешние ощущения, молодой человек увидел, что он почти без ненависти относится к девушке.

Когда Пашута, взятая и приведенная к нему полицией, снова сидела в квартире почти взаперти и под надзором всех домашних, Шумский ни разу не видал ее близко, не только не объяснялся с ней. Только перед отъездом из Петербурга, он вызвал ее, но не пожелал даже взглянуть на нее, а стоя у стола почти спиной к ней, остановившейся в дверях, он сказал ей, что берет ее с братом в *Гру* зино вместе с собой. Так как он ничего не прибавил к этому, то Пашута, постояв с минуту, сама вышла из его горницы. Дорогой Шумский точно так же не видел Пашуты. Иногда он не обращал на нее внимания, занятый докучливыми скорбными мыслями о себе... Иногда же при виде ее ему почему-то не хотелось глядеть на нее; было как-то тяжело и горько сделать это...

Все-таки она была главная виновница всего!..

Во сколько Пашута была ему ненавистна в первые дни после письма и отказа барона, во столько теперь Шумский питал к девушке какое-то странное чувство, почти неуяснимое для него. Во время пути от Петербурга до *Гру* зина Шумский много думал о том, как представит он Пашуту и Ваську Аракчееву? Как виновников всего или просто как крепостных людей графа, которых он более не желает держать у себя. Везет ли он их в *Гру* зино, чтобы отдать на пытку? И на какую пытку?! Почти на медленную смертную казнь! Или же он не скажет ни слова никому.

И незаметно для себя, будто против воли, он оправдывал девушку.

Главной виновницей всего была положительно одна его мать.

Продержав и сохранив тайну в продолжение двадцати пяти лет, зачем выдала она ее Пашуте! Она наивно рассчитывала на любовь и благодарность Пашуты к себе. Но разве может взрослая девушка, которой чуть не тридцать лет, быть благодарной за то, что ребенком ее спасли от смерти, вытащив из воды? Вдобавок ей приходилось выбирать между ним – Шумским, которого она ненавидит, и баронессой, которую она стала обожать.

Это, им общее, чувство обожания Евы всего более и действовало теперь на Шумского, сильно и странно влияло на него.

Пашута оказалась его злейшим врагом, виновницей всего несчастья и, вместе с тем, она безумно любила ту самую личность, которую безумно любит он. Роковое совпадение и сцепление обстоятельств!

И перед самым *Гру* зиным на переправе через Волхов он как бы независимо от собственной воли, под давлением какого-то смутного чувства, мысленно пощадил Пашуту, простил в ней главного врага своего, почти погубившего его... но почему?.. Погубившего ради спасения Евы, которую он обожает. Но если Пашуту простить, то брат ее и подавно ни в чем не виновен.

Х

Когда Пашута появилась в дверях и стала понурившись и опустив голову, Шумский невольно, впервые и внимательно присмотрелся к ней. Девушка за последнее время страшно похудела и побледнела, и впалые щеки, обострившийся нос, оттененные синевой глаза – все, казалось, было последствием трудной болезни, от которой болевшая якобы только что

встала. Невольно вспомнил Шумский, что эта красивая девушка, прежде высоко державшая голову, веселая, бойкая, сметливая, теперь уже давно, еще в Петербурге, с той минуты, что полиция доставила ее, как беглую, потом дорогой и, наконец, в эту минуту, все одинаково стоит сгорбившись, согнувшись, уронив голову на грудь, с руками, безжизненно висящими по бокам туловища.

Она – приговоренная к смерти!..

И вдруг в эти минуты почти первого свидания их, Шумский, оглядев Пашуту, вздохнул и подумал, что сделал бы лучше, если бы оставил ее у Евы, и не только не мешал, а помог, чтобы Аракчеев продал ее барону.

– Ну, Пашута, – заговорил Шумский умышленно сухо, – что же мне теперь с тобой делать?

Девушка не шелохнулась, бровью не двинула.

– Завтра расправа будет, – продолжал Шумский, – очухается наш дуболом, притянет Настасью к Иисусу, а там и за вас всех примется. А ведь на тебя розги двойную силу возымеют: и телу, и душе больно будет. Душе, пожалуй, еще больнее. Ты видишь, барышня какая. Тебе оскорбительное хуже, чем больное... Тебе, поди, что две розги, что сотня, – все равно. Что же ты молчишь?

Пашута не отозвалась, слегка двинула плечами и несмотря на видимое желание подавить и скрыть глубокий вздох, все-таки не скрыла его. Грудь ее высоко поднялась и глубокий протяжный вздох страдающего человека явственно послышался в комнате.

Наступило молчание.

Шумский задумался, стараясь вспомнить, какие причины заставили его когда-то выписать в Петербург именно эту девушку себе в помощь и приставить к баронессе в качестве ее горничной и своего тайного шпиона и помощника. Не пади его выбор на эту Пашуту, а на какую-либо другую девушку гру зинскую, то все повернулось бы иначе. И, пожалуй, во сто крат ужаснее, не только для Нейдшильдов, но и для него. Теперь он, вероятно, уже был бы солдатом! «Ничего не разберешь, – мысленно проговорил он. – Ничего окончательно не разберешь. Что хуже? Что лучше? Есть ли виноватые? Сам Господь Бог не рассудит всего этого!»

– Ну, Пашута, слушай, – заговорил он, наконец, спокойным, отчасти даже печальным голосом. – Тебе ничего не будет! Я не скажу ни графу, ни Настасье, ни единого слова о том, как ты меня ослავила и разжаловала из их сына в подкидыши. Ты одна всю мою жизнь в прах обратила. Понимаешь ли ты это свое деяние, или не понимаешь, уж право, я даже не знаю!

Пашута вдруг выпрямилась, подняла голову и красивые глаза ее ярко блеснули на сидящего Шумского, едва заметный румянец появился на щеках.

– Я вам зла не желала, – глухо, почти хрипливо, произнесла она. – Видит Бог!

– Зла не желала, а великое сделала! Что мне в том, что ты не хотела меня губить, а все-таки погубила. Тебе одной сдуру поведала все матушка, думая, что ты ей по гроб жизни обязана, а ты рассказала все фон Энзе, а тот всему Петербургу и барону. Даже мне самому хватил он это в лицо. Ведь ты одна всему причина. Будь же настолько правдива, чтобы сознаться в этом. Неужели ты не понимаешь, что без тебя все шло бы по-старому.

– Да, я во всем виновата, – выговорила Пашута слабым голосом. – Во всем я одна, но видит Бог, я зла вам не желала. Вы, барин, ничего не понимаете, ничего, как есть, не поняли и не поймете.

– Что же такое? Чего же я не понимаю?

– И не можете вы понять, – слегка воодушевляясь, заговорила Пашута. – Надо быть самому в холопстве, крепостной девкой, как я, чтобы понять все, что со мной было. Зачем вы меня отсюда взяли, зачем вы не взяли другую какую, ничего бы тогда не было.

– Это, Пашута, я сам знаю и часто думал...

– И себя бы вы не погубили, да и меня бы не погубили.

– Тебя-то чем же я погубил?

Пашута слегка покачала головой, затем опустила руку в карман и, очевидно, не найдя там платка, приблизила руку к глазам. Шумский заметил слезы на лице ее.

– Вы вот всегда были барином, – заговорила Пашута едва слышно, – считались наследником графа, все у вас было в полном довольстве. Вы не знали какую только себе новую прихоть, затею или новое баловство придумать. И надумали самое ехидное и грешное с девицей-ангелом. Теперь вы сами порешили всего себя лишиться, никто вас не неволит. Но все-таки же вы останетесь тем же барином-офицером и царским флигель-адъютантом. Все у вас может еще пойти опять на лад, если вы твердо порешили не поступать лиходейски, по-воровски с милой моей барышней, а жениться на ней. Все может у вас устроиться. А я загублена совсем и загубили вы меня...

Пашута хотела продолжать, но заплакала, голос ее оборвался и она замолчала.

Шумский, видя, как девушка утирает руками льющиеся слезы, точь-в-точь как какая-нибудь светская барышня, слегка, тихо, кончиками пальцев, вдруг двинулся к комоду, достал носовой платок и, перейдя к Пашуте, сунул его ей в руку. Девушка изумилась на мгновение, яснее глянула на него и, развернув платок, стала утирать лицо. Шумский отошел и сел снова в свое кресло.

Не столько слова, сколько оттенок голоса Пашуты, когда она заговорила о баронессе, коснулись его сердца. Между тем Пашута просто и без озлобления объяснила ему в нескольких словах, что Настасья Федоровна отняла у нее и платки, и все белье, подаренное ей баронессой. Затем она снова заговорила, постепенно оживляясь:

– После этой собачьей жизни в Гру зине, я попала по вашей милости, из-за вашей злой затеи к барышне, мало сказать, доброй, ласковой, к какому-то божьему ангелу. У нее я через месяц свет взвидела. Она меня человеком сделала. Хотя она и говорила часто, в шутку, что я уродилась барышней, да все-таки же другая стала бы обращаться со мной, как с простой холопкой. Понятное дело, как я полюбила баронессу за все ее ласки. Я стала боготворить ее, я готова была молиться на нее, как на святую. Посудите же, могла ли я злодейски предать вам того самого ангела, на которого готова была молиться! Не затевайте вы этой грешной и жестокой затеи опозорить и обечестить ее, без ножа зарезать... и ничего бы не было. Ведь кончили же вы тем, что предложили ей жениться? Зачем же сначала враг человеческий толкал вас на такое дело? И теперь я не каюсь! Я рада, я счастлива, что спасла от вас мою святую барышню. Я все рассказала фон Энзе. По моей милости, конечно, он очутился в карете с товарищами около дома, когда вы ночью, как душегуб, хотели опозорить баронессу. Все это я сделала, да вы и знаете, что я. Но говорю вам теперь... не каюсь я в этом ни минуты. Хоть одно хорошее и доброе дело сделала я ей за все то, что она для меня делала. И я у нее теперь не в долгу! И это меня теперь утешает. Что бы со мной ни случилось, я никогда не забуду, как баронесса обращалась со мной и буду знать, что и я добром отплатила ей. А теперь что же? Сказывайте все Настасье Федоровне. Меня заporют до смерти. Посадят в яму! Уморят! А если они меня не заморят до смерти, останусь я жива, то, право, хватит у меня сил дотащиться до Волхова, чтобы себя утопить. Моя жизнь кончена! Но все-таки, помирая, я буду помнить и буду говорить, что единственный человек на свете, который полюбил и обласкал меня, в свой черед великую услугу от меня получил. Я не в долгу у моей святой барышни!.. Если же вы женитесь на ней, то верно вам сказываю, первый человек, которого будет поминать, жалеть со слезами баронесса, будет Пашута. Но только на кладбище будет тогда Пашута...

– Этого никогда ничего не может быть, – глухо произнес Шумский. – Я не могу на ней жениться. Барон наотрез отказал мне, когда узнал, кто я такой. Он никогда не согласится на этот брак. Разве ты не знаешь, что баронесса любит давно... и замуж выходит за фон Энзе.

– Не пойдет она за него, – тихо и твердо произнесла Пашута.

– Что? – вымолвил Шумский, и сердце замерло в нем. – Что ты сказала? Зря ты сказала? Или знаешь что-нибудь?

– Вестимо, знаю.

– Говори скорей... Не томи меня!..

– Она не любит фон Энзе.
– Говорила она тебе это?
– Ничего она мне не говорила, потому что ничего сама не знает, не смыслит. А я знаю...

– Объяснись! – нетерпеливо, с волнением в голосе вымолвил Шумский.

– Говорю вам, баронесса сама ничего не знает. Она – малое дитя, или же просто святая девица, которая даже свои человеческие чувства не понимает и боится их. Не умею я вам сказать то, что хочется, но вы сами умны и авось поймете. Вы не знаете баронессы, хотя и говорите, что любите ее. Она совсем неземная девица. Ангел, что ли, земной? Или вот этикие святые прежде, сказывают, бывали. Она вот любит вас и не знает этого.

– Правда ли это, – воскликнул Шумский, поднимаясь с места.

– Я вам верно это говорю, хотя она мне никогда этого не сказывала. Когда вы приходили писать портрет, называли себя господином Андреевым, она часто со мной говорила о вас. Но я не могла говорить, у меня духу не хватало обманные разговоры вести с ней. Для нее вы были живописец Андреев. Я знала, с каким ухищрением ходите вы в дом. Я старалась всегда разговор о вас переменить на другой, чтобы не лгать ей. Но я видела и знаю то, чего сама баронесса не понимает. У баронессы давно к вам такое что-то, чему я имени не знаю. Сказать, что она любила или любит вас, не могу. Но знаю я, что во всякий тот день, когда был час рисования портрета, моя милая барышня будто оживала. И глазки у нее в те утра блестели иначе. Ну, как же не любила? Судите сами. А что я вытерпела тогда, видя с ее стороны детское понимание вас и хорошее чувство к вам, а с вашей стороны дьявольские ухищрения. Ну, да что же об этом теперь... – прибавила Пашута, слегка махнув рукой с платком.

Наступило молчание, и только через несколько мгновений Шумский выговорил глухим голосом:

– Неужели же она любит меня? Верно ли это?

– Не знаю, как теперь, – снова заговорила Пашута, – давно я не видала ее, но сказываю вам, что когда еще вы называли себя Андреевым, предложи вы на ней жениться, Бог весть, что было бы. Барон, вестимо, не согласился бы, но в конце концов все вышло бы по ее желанию. Разве он может перечить ей в чем? А уже коли за г. Андреева, нищего живописца, пошла бы она, так как же ей теперь не пойти за вас? Что за важность, что вы не сын графа Аракчеева, а воспитанник? Ведь это вы сами все так перепутали. Захотите вы теперь, все по-старому будет.

– Но ведь она выходит за фон Энзе! Свадьба даже в скором времени предполагалась.

– Однако, отложились!..

– На время. Если мне не удастся застрелить его на поединке, то он все-таки будет мужем ее.

Пашута тихо потрясла головой:

– Не верится мне. Видела я ее с вами, видела я ее с фон Энзе. Говорили мы с ней многие сотни разов и о нем, и о вас. Ведь не глупая же я дура. Я больше понимала и знала о баронессе, чем сама она знала про себя. Раз помню, одевая ее, когда вы ждали писать портрет, я сказала ей, что напрасно она к вам так ласкова, что слухи ходят, что вы, т. е. Андреев, скверный человек, лстивый, подлый, скверного поведения... И никогда, право, не забуду, как она жалостливо поглядела на меня. Будто я ее булавкой уколола. Как она ласково и печально сказала мне: «Не говори так, Пашута, за что его обижать. Будь он не бедный, не Андреев, а наша ровня и богатый, то совсем бы не то было». И помню я, как напугали меня эти слова. Я не решилась ни разу прямо спросить у нее, любит ли она вас. Вас – Андреева. Я боялась, что она мне ответит прямо: – «да». Ах, Михаил Андреевич, все вы сами перепутали, сами себя и ее загубили.

– Ее – нет, – глухо выговорил Шумский.

– И ее... Тоже. Легко ли ей теперь не видеть вас. Да одно спасение всем... вам жениться на ней.

– Но это невозможно, Пашута.

– Можно, можно. Поезжайте в Петербург, старайтесь, действуйте. Вы умный человек. Все может поправиться. Не опасайтесь только, а веруйте. На барона не смотрите. Он обожает свое детище.

Шумский глубоко задумался и пришел в себя от слов Пашуты, которые она тщетно уже третий раз произносила:

– Отпустите меня.

– Ступай, – выговорил он наконец. – Но помни, Пашута, что от меня ничего не узнает ни Настасья Федоровна, ни граф. Я не хочу тебе мстить. Бог с тобой.

– Все равно конец мой в Гру зине плохой будет, – отозвалась девушка грустно. – Я знаю, чую это..

XI

Шумский плохо спал ночь. Объяснение с Пашутой сильно взволновало его, и он сто раз пожалел, что ранее, еще в Петербурге, не виделся с ней и не переговорил. Впрочем, он понимал, что тогда подобного разговора и быть между ними не могло. Там он был еще озлоблен на девушку и собирался в наказание предать ее в руки Настасьи. Если Пашута теперь заговорила, высказалась, то, разумеется, потому что он ласково объяснился с ней.

Когда-то в Петербурге заявление Квашнина насчет баронессы, после его визита к Нейдшильду, мало утешило Шумского. Мнение Квашнина, что Ева любит его, основывалось лишь на одной фразе барона. Высказанное теперь Пашутой имело, конечно, гораздо большее значение. Девушка была любимицей, почти приятельницей Евы. Она не могла не знать истины, а должна была действительно знать больше, чем сама детски простодушная, наивная Ева.

Всю ночь Шумский среди беспокойного сна, в полудремоте, видел «Серебряную Царевну», и она говорила ему, что любит его. Приходя в себя, Шумский по несколько раз задавал себе вопрос: «Неужели это правда? Неужели все может еще устроиться?» Под утро он заснул крепким сном отдохнувшего или нравственно умиротворенного человека.

Проснувшись очень поздно, перед полуднем, Шумский с изумлением огляделся кругом себя и удивился, что он в Гру зине. Он видел что-то во сне, чего вспомнить не мог, но оно очевидно, уносило мысли его на край света от Гру зина. Он должен был сделать над собой усилие, чтобы вспомнить, зачем он здесь, что привело его в «логовище зверя», как иногда называл он Гру зино.

Вспомнив, что он приехал мстить, Шумский задал себе вопрос: «Что же будет?» Неужели зверь простит эту проклятую бабу, а он сам все потеряет, ничего не выигравши, даже не отомстивши.

Шумский поднялся, напился чаю и вышел прогуляться, чтобы чем-нибудь себя развлечь. Разумеется, он опросил тотчас трех попавшихся ему людей о здоровье графа. Они отвечали все то же слово, что и лакей, подававший чай.

– Слава Богу.

И всем трем Шумский ответил или сурово, или усмехаясь:

– Бог тут ни при чем!

Конечно, из опрошенных людей только один понял этот отзыв, смутился, замигал глазами, и почти отскочил в перепуге от молодого барина.

Едва только Шумский вышел и прошел вдоль двух флигелей, как услышал впереди гулкий барабанный бой и вместе с ним сливающийся странный звук. Догадаться было бы нельзя, что все это значит, но Шумский, как прежний обитатель Гру зина, знал в чем дело. На деловом дворе происходило наказание виновного. Барабанный бой изредка покрывался стоном. Не раз слышал он это еще будучи юношей, но теперь сразу сильно смутился. Ему стало страшно, дрожь пробежала по спине! Возник вопрос.

– Кого?! Что, если наказывают...

Он не додумал, как бы испугавшись мысли, пришедшей в голову.

Кого мог наказывать Аракчеев через день после их объяснения? Или кого-нибудь за прежнюю вину, или же... И Шумский опять мысленно запнулся.

Двинувшись быстро на барабанный бой, Шумский почти побежал и произнес вслух несколько раз:

– Не может быть! Не может быть!..

В ту минуту, когда он уже собирался войти на крыльцо флигеля, именуемого «деловым двором», ему навстречу показался главный повар, по имени Афанасий.

– Что это? – воскликнул Шумский, тщетно стараясь быть спокойным.

Повар снял свой белый колпак, вытянулся в струнку и, разинув рот для ответа, не знал, что отвечать, ибо не понял вопроса.

– Что это? – крикнул Шумский, от смущения снова задавая не тот вопрос, который хотел.

– Барабан-с. По болезни графа из библиотеки приказано перенести экзекуцию...

– Кого наказывают? – с легкой дрожью в голосе произнес Шумский.

Повар замедлил ответом, Шумский схватил его за плечи и крикнул со всей силы:

– Кого? Болван!..

– Крестьянина... Не могу знать-с... В беспорядке уличен... – поспешно заговорил Афанасий. – За ночь украли у него лопату с метелкой...

Шумский подавил вздох от спавшего с души гнета, отвернулся и тихо пошел по двору.

– И я тоже сумасшедший, – прошептал он. – Разве это возможно... Разве он посмел бы?.. Конечно, посмел бы! Но тогда что же бы с ним было. Что я с ним сделал бы? Да, тогда бы, пожалуй, прямо под суд и в Сибирь.

Между тем барабанный бой длился, крик все явственнее слышался. Шумский быстро пошел прочь.

Прежде случалось ему много раз быть почти свидетелем подобной расправы Аракчеева в его библиотеке, но это не производило на него никакого впечатления. Теперь внезапно ему стало и жаль наказываемого и казалась гадкой обстановка.

– И зачем этот барабан? – вымолвил он вслух. – Скрыть от всех или заглушить крики нельзя. Да ему и не нужно укрываться. Даже не желательно. Стало быть для комедии? Для чего-то иного?

Подумав, он согласился, что вопли, сливающиеся с барабанным боем, действительно производят даже на него какое-то сугубое впечатление казни: чудилось что-то омерзительно торжественное.

Удалясь от дома и дойдя до перевоза, Шумский остановился на берегу Волхова и долго глядел на реку.

При виде паромы он вспомнил, что именно при переправе сюда, стоя на этом самом пароме, он окончательно решил мысленно не предавать Пашугу. Теперь же после вчерашнего разговора с девушкой, ему казалось даже диким, как мог он собираться предать «вот на этот барабанный бой» любимицу той, которую он сам боготворит.

Бог весть почему здесь, глядя на Волхов, Шумский вдруг перенесся мыслию в Петербург и вся история его любви ярко восстала в его памяти. Однако, ясно и ярко восставали лишь факты, но их внутренняя связь, их причина и смысл были покрыты каким-то туманом.

Шумский, глядя на себя в этом недалеком прошлом, будто не узнавал сам себя, не мог уразуметь, не только оправдать все, что творил этот Шумский.

«Другой, а не этот, который вот стоит тут на берегу».

Если он встретил девушку, которую внезапно полюбил с такой силой и впервые в жизни, то каким образом он с первого же дня не пошел простым и прямым путем? Каким образом могла явиться мысль действовать злодейски, позорно и жестоко? Как решился он войти злодеем в честную семью старика с дочерью, чтобы нравственно убить обоих? И кто же явился ангелом-хранителем любимого им существа? Дворовая девушка!.. Правда, очень

умная и развитая по-своему, но все же таки простая горничная и крепостная холопка.

И вот, будто в наказание, когда он очнулся от своего полубреда, сознал свое бессмысленно преступное поведение и ясно увидел, что слишком искренно, глубоко любит Еву, чтобы решиться губить ее, в эти же почти мгновения все перевернулось, запуталось и все рухнуло... Пашута спасла баронессу, но запутала все и погубила всех.

Да, всех! Никому нет выгоды от того, что он, считавшийся сыном Аракчеева, стал подкидышем, подброшенным или купленным – все равно.

Одному фон Энзе выгодно это. Но ни барону, ни Еве, если она любит его, ни Авдотье, ни Аракчееву с Настасьей, ни самой, наконец, Пашуте, никому открытие тайны не принесло и не принесет счастья.

– Но какая путаница? – прошептал Шумский, не спуская глаз с серой волны широкой реки. – Какая путаница! И почему все это так было. Почему я мог решиться так действовать? Ведь я не злой, не подлый, не скверный человек? Я это чувствую. Ведь я это не другому кому, а себе самому говорю! Сам себя я никогда не обманывал. Вот теперь я глубоко чувствую, что я не злой и не скверный, а между тем, тогда я действовал отвратительно жестоко и злобно. Я приводил в страх и ужас доброго Квашнина, привел в ужас ту же крепостную девку Пашуту. В ней оказалось больше чести, больше сердца и души, чем во мне...

И Шумский, стоя спиной к Гру зину, к его каменным выровненным в ряд зданиям, к дому, и к собору, окинул взором пустое и голое пространство.

Безлюдные поля, кое-где покрыты тонким снегом, кое-где желтеющие померзлыми пажитями, темный лес на горизонте под свинцовой тучкой, широкая река, серая и пустая, выходящая змеей и уходящая вдаль – все миром повеяло на него.

Ширь и тишь окрестной жизни заглянули в душу петербургского блазня-гвардейца и будто шепнули ему что-то... про себя или про него?

– Да не здесь... Да, правда. Это в Петербурге возможно, а здесь никогда бы в голову не пришло! – ответил он. – Это дурная трава на подходящей земле. Живи я в деревне, я не стал бы таким. А там, в Пажском корпусе и на службе среди товарищей-офицеров, окруженный льстецами и ухаживаньем, я стал негодяем и несчастным. Все дурное росло во мне и крепло, пускало сильные корни, а все хорошее заглохло и я теперь еле-еле чую его в себе. Я только себе самому могу теперь сказать и доказать, что есть во мне хорошее. А будь я с рождения деревенским парнишкой, а теперь крестьянином, то, конечно, был бы славным мужиком, ретивым и счастливым, довольным. И, наверное, ни разу бы не пришлось барину, изувелу Алексею Андреевичу, наказывать меня батогами под барабанный бой.

И Шумский вдруг воскликнул громко:

– Ах, матушка, матушка, не отдавать бы тебе меня лиходеям! Будь я крестьянин, я был бы теперь, конечно, во сто крат счастливее. Теперь же я, будто какой надломанный у большого дерева сук, желтый, засохший, мертвый, но висящий, не отвалившийся еще и не упавший на землю.

XII

Шумский тихо двинулся от реки и побрел, глубоко задумавшись и опустив голову, обратно в усадьбу. И только когда он был в доме, а лакей снимал с него шинель, снова мысли о действительности вернулись к нему и ему пришло на ум спросить об Аракчееве и вообще о том, нет ли чего нового.

Перед ним стоял его любимец, гру зинский швейцар.

– Что граф, как себя чувствует? – спросил Шумский.

Пожилой дворовый, исправлявший должность швейцара, по имени Григорий считался в Гру зине самым умным из всей дворни.

– Ничего-с, – отозвался Григорий, тихо, вежливо, без какого-либо оттенка в голосе.

Это была его привычка разговаривать с господами и в особенности с графом. О чем бы

не зашла речь, хотя бы о чрезвычайном событии, Григорий отзывался однозвучно и говорил, как журчащий ручей. Ни любви, ни злобы, ни хвалы или порицания, досады или удовольствия, ни какой-либо тени какого-либо личного чувства, не проскальзывало в звуке его голоса. Григорий была самая воплощенная осторожность. Шумский еще юношей часто подсмеивался над Григорием, называл его куклой, балалайкой, колокольчиком и приравнивал звук его голоса ко всем однообразным звукам, но все-таки молодой барин относился к швейцару всегда ласково и приветливо, ибо знал, что он умнее и тоньше всех остальных.

– Нового ничего нет? – спросил Шумский.

– Доктор из Новгорода приехал-с.

– Ну что же?

– Был у его сиятельства и, рассказывают люди, просто беседовал с графом, так как его сиятельство чувствует себя совсем хорошо.

«Славно», хотел произнести Шумский с ядовитой усмешкой, но вспомнил, что с Григорием он никогда не позволял себе шутить об Аракчееве. Он не делал этого потому, что Григорий каждый раз на шутки или злые остроты молодого барина насчет графа потуплял глаза и каждый раз аккуратно выпускал протяжный вздох, говоривший ясно: «ты делай, что хочешь, да других-то зря не губи».

– Ну, а еще что нового? – спросил Шумский.

– Новый, рассказывают, у нас будет управительский помощник.

– Вот как! Кто же такой?

– Аптекарь.

– Что-о? – протянул Шумский.

– Точно так-с. Сегодня утром его сиятельство призвали его к себе и приказали состоять в доме сначала в помощниках дворецкого, а затем обещали сделать помощником управителя.

– Почему же так? Чем он отличался?

– Неизвестно-с.

– Да он свой крепостной?

– Никак нет-с. Он всего недели с две как в *Гру* зине, а откуда не могу доложить вам. Из Новгорода, что ли? Кто говорит, с Москвы. В аптеке он больше все по ночам дежурил. Парень молодой и с виду хороший. Напужался только теперь – страсть!

– Чему?

– А как же можно. Помилуйте. Был он в аптеке, а теперь будет здесь на глазах. Ответ будет большой. Как же не опасаться. Давай ему Бог угодить графу. Давай Бог и графу верного слугу.

– Да как же он из аптеки-то вдруг попал? Чем он отличился перед графом? – спросил Шумский.

– Нам знать не полагается, Михаил Андреевич. Его сиятельство, даже рассказывают, никогда малого этого и не видели, так как они в аптеке не бывают.

– Ну, а Настасья Федоровна была у графа? – спросил Шумский.

Григорий в виду серьезности вопроса тотчас опустил глаза и произнес однозвучно:

– Слыхал, что были, но утвердительно доложить не осмелюсь.

Шумский пристально поглядел в лицо швейцару, стараясь догадаться по нем, что тот может знать, но ошибся в расчете. По лицу пожилого дворового нельзя было никогда ничего узнать.

Шумский приказал другому лакею послать к нему Авдотью Лукьяновну, а сам двинулся по лестнице наверх.

Григорий хитрым взором проводил молодого барина. Швейцар был мало похож на дворовых *Гру* зина и отличие его от других было особенное. Он ни разу за всю жизнь не был наказан и поэтому считался любимцем графа. На деле Аракчеев особенно ненавистно относился к Григорию и всячески ловил его постоянно, но никогда не мог поймать ни в чем. Все у Григория было в порядке. Но в награду себе он видел постоянно неприязненный взгляд своего барина и ясно читал в его глазах, что тот не может простить ему его невиновности.

И раздумывая об этом, умный Григорий часто говорил себе, или жене: «Уже если у него такая повадка – кровь пить, велел бы меня лучше наказать без вины, да не глядел бы так по-дьявольскому. Другой бы барин похвалял и ласкал за то, что я порядливый, а ему обидно, что я еще не дранный и не битый. Чудно, совсем чудно», – размышлял Григорий.

Действительно, «чудно» подумал бы всякий другой.

Граф Аракчеев ненавистно и подозрительно относился ко всем своим холопам, которых не пришлось за какую-либо вину, хотя бы и малую, хоть раз наказать. Ему казалось будто, что там, где нет никогда никакой вины, дело нечисто. Быть может, там кроется что-нибудь особенное, за что бы следовало прямо голову с плеч снять. А что особенное? Нечто слагающееся из разума, воли, понятия о совести, о долге.

– А все это не приличествует хаму! Хам должен быть скот! Когда хам не будет скотом, трудно будет жить на свете!

Так думал и говорил граф Аракчеев и находил много лиц, сочувствовавших ему. Более ученые людиприводили графу в подтверждение его слов свежий пример, недавнюю всенародную бурю во Франции, еще живо памятную многим. Современников-очевидцев этой бури было немало в столице и часто заходила речь об этой каре Господней.

Но один только на всю Европу, а может быть и на весь свет, граф Аракчеев относился к французской революции вполне по-своему, и своеобразно. Он был глубоко убежден и утверждал горячо, что «Господь тут ни при чем, все простой случай потрафился». И, если бы он был приближенным короля Людовика XVI, то никакой такой революции не было бы никогда. Граф при этом поднимал кулак и говорил:

– Вот этим я справляюсь со всяким человеком, который на меня полезет, но дайте мне в этот кулак полную власть, я справлюсь с миллионами врагов. Знаете ли что такое Архимедов рычаг – неограниченная, единоличная власть.

XIII

Авдотья явилась к Шумскому не тотчас. Он долго ждал ее, нетерпеливо и досадливо бродя по своим горницам. Когда мать появилась в дверях, он не выдержал и выговорил сердито:

– Чего же ты не идешь! Я тебя час жду!

– Не могла, родной мой, никаким образом не могла, – заговорила она, запыхавшись. – Да и теперь не держи меня, нехорошо. Настасья Федоровна знает, что ты за мной присылал.

– Ну, и черт ее подери! – воскликнул Шумский, топнув ногой.

– Ох, полно. Ты все свое. А ты вот скажи-ка лучше, что было. Ведь граф вызывал ее. Она у него два раза была. Утром часа три сидела у него, да куда ты гулять изволил, опять сидела.

– Ну, – выговорил Шумский нетерпеливо и с изумлением, ясно написанном на лице, – что же?

– То-то... Ты вот все свое, а он-то свое. Ты вот думал, – понизив голос почти до шепота прибавила Авдотья, – полагал все, он ее шаркнет из Гру зина, во веки вечные на глаза не пустит, а оно вон что...

– Да что? Что?

– А то, что просидевши у него долгое время, пришла она к себе на половину, рукой не достанешь. Правда лицо, малость, красное, глаза вздутые, видать, что ревела, видать, что в ногах валялась. Два пятнышка на черном платье. На коленках стояла, да забыла обтереть. А полы-то у графа чистые, через день моют. Стало, посуди ты, сколько же она елозила перед ним по полу, коли платьишко протерла. Да, вон оно что! – говорила Авдотья совершенно серьезно, перерывая слова вздохами.

– Стало быть, он простил ее, – выговорил Шумский однозвучно, глухо, будто не слыша собственного голоса, будто занятый какой-то другой поразившей его мыслью.

А мысль эта была о том, что неужели же мсть не удалась, и будет одно пострадавшее

лицо – он же сам.

– По-твоему, матушка, они примирились? – взволнованным голосом спросил он наконец.

– Понятное дело, родной мой. Да посуди ты, нешто может он с ней раскинуться на две стороны. Ведь он двадцать семь лет на нее дышит. Шутка ли? Ты один в толк взять не можешь, что за барыня Настасья Федоровна. Ведь ты один только не веришь, что она не простая женщина, как мы грешные. Тебе никто не сказывал о ней ничего, считая тебя ее сыном родным, а теперь я тебе скажу. Обойди ты все Грузино, все деревни и поселки наши, пройди ты весь город Новгород и везде тебе умные люди скажут, что она – колдунья.

Шумский махнул рукой, отвернулся и стал ходить по комнате.

– Да вот маши, не маши, – отозвалась с упреком Авдотья, – а умнее умных не будешь. Нет человечка на свете, который бы не знал, что Настасья Федоровна колдунья. Она разными приворотами графа взяла и держит. Немало я тут видела диковинных от нее примеров. Знаешь ли ты, что было раз. Ехал раз граф в Старую Руссу по важнейшему делу, она заперлась у себя, шептала, шуршила, бормотала, что-то такое пакостное творила. А там вышла из горницы, пошла к нему, да при всех, при господах и при разных секретарях и при офицерах и объяснила: «Не ездите, граф, в Руссу, там вот что и вот что нехорошее будет с вами». Все так и ахнули. Граф не поехал, а все туда поскакали, как угорелые от страху ответа. Ну, и что же? Как они туда приехали, так и накрыли солдата, что из заряженного ружья собирался в графа палить. Это тебе здесь все скажут и в Руссе все скажут. Да и мало ли было такого. Говорю тебе, ты один на свете не знал этого, и вот рукой машешь. А нет такого ребеночка на селе, который бы ее свято не почитал за колдунью и ведьму.

– Вот-те, здравствуйте! – сказал Шумский. – К тому же еще и свято! – рассмеялся он, но смех молодого человека был далеко не веселый.

Он должен был теперь сознаться, что если все, что говорит Авдотья суший вздор, то в ином смысле она права. Эта отвратительная женщина, которую он и ненавидит и презирает, действительно, околдовала этого лиходея и дуболома. Она одна на всю Россию властвует над ним. Но чем? Как? Понять это совершенно невозможно. Так же невозможно, как понять, чем властвует Аракчеев над государем. Как царь слеп насчет своего фаворита, так точно он в свою очередь слеп насчет своей сожительницы.

Возможно ли было подумать, что этот человек, обманутый в самом кровном и важном деле и обманываемый в продолжение двадцати пяти лет, все сразу, в час времени, простит этой женщине.

Она уверила его, что была беременна, что у нее и у него есть родной им сын, а теперь должна была сознаться в грубом и подлом двадцатипятилетнем обмане и притворстве. Должен же он сообразить, что если на такое дело пошла она, то на что же способна эта же женщина в мелочах ежедневной жизни. Вот что должно бы было поразить Аракчеева. Но он, очевидно, ничего не сообразил и ни о чем не спросил себя, ни о чем подумать не захотел. Он захотел только одного: скорей, во что бы то ни стало простить эту женщину, потому что без нее он жить не может.

Шумский уже не ходил по комнате, а стоял перед Авдотьей, опустив голову, и злоба бушевала в нем. Его месть не удалась. Он надеялся заставить их разойтись, надеялся отравить им их существование. И этого не будет, потому что подобное невозможно. Эти два зверя живут душа в душу, которых у них нет.

– Что же теперь делать? – прошептал, наконец, Шумский, как бы потерявшись.

Авдотья, вообразившая, что этот вопрос обращен к ней, отозвалась тотчас и ласково:

– Послушайся, поди, родной, повинись, попроси прощения. А то еще того лучше, скажи: все припутал, приврал, что слыхать слыхал, а правда ли все это, сам не знаешь. Ведь ты не говорил от кого все узнал. Скажи в Петербурге офицеры тебе сбrehнули... Повинись и опять будешь счастлив.

Шумский вдруг озлобился, почти остервенел и глянул на мать неприязненным взглядом. Губы его дрогнули и он произнес каким-то металлическим голосом:

– Ты баба... Я не только перед кровопийцей Аракчеевым, а и на страшном суду Господнем не повинюсь ни в чем.

Авдотья опустила глаза, она не переносила никогда этого знакомого ей взгляда, которого она будто боялась.

– Ну, поди к себе, оставь меня. Я что-нибудь да надумаю, – пробормотал Шумский, и отвернувшись, отошел к окну.

Авдотья вышла смущенная... Когда дверь заперлась, Шумский взял себя за голову и произнес тихо:

– Хоть бы дьявол помог, если Господь Бог от меня отступился. А то что же это?.. Одного потерял, а другого не приобрел.

XIV

Шумский тщетно ждал, что граф его вызовет к себе для объяснений. Прошло уже четыре дня после первой роковой беседы между ними, и граф по словам людей прохворав целые сутки, выздоровел прежде, чем успел приехать главный доктор. Затем через сутки он объяснился с Настасьей и, очевидно, примирился с ней. Дело приближалось к развязке, к эпилогу, а между тем, виновника всего он не вытребывал к себе.

В ожидании объяснения молодой человек дошел до последней степени нетерпения и раздражительности. Привыкнув отдавать себе отчет во всех внутренних движениях, Шумский решил, что его, главным образом, томит теперь неизвестность его собственной судьбы. Злоба на то, что месть не удалась, была давно уже на втором плане. Теперь жгучая мысль была о том, что будет с ним? Как разрешится вопрос о собственном его существовании?

Судьба, баловавшая его всегда, и теперь, казалось, слагала обстоятельства в его пользу. Два или три лишних дня, которые молодой человек просидел в своих горницах, послужили ему на пользу. За это время Шумский, обдумывая всячески свой последний, роковой шаг, понемногу стал спокойнее и здравым течением мысли пришел к убеждению, что он очертя голову поступал и действовал.

– Я дурил... Дурь, все дурь! – часто повторял он вслух, бродя с трубкой в руке по своим горницам.

И теперь вдруг явилось в нем нечто вроде раскаяния.

Он, конечно, соглашался мысленно, что внезапным и грубым образом узнав тайну своего рождения от соперника-улана, он должен был тотчас ехать сюда, в Грузино для объяснения, но надо было сделать все, что он сделал, в иной форме.

Надо было из любви к себе постараться поправить дело, а не стараться из дикой злобы разрушить все окончательно.

Теперь, найдя в себе это чувство, если не полного раскаяния, то все-таки сожаления и, сознав необдуманность своего шага, Шумский объяснил эту перемену, вдруг происшедшую в нем, просто и верно: все сделала беседа его с Пашутой.

Да, если б он переговорил с девушкой в Петербурге и узнал от нее давно то, что он узнал только здесь, то, конечно, он не поехал бы для мщения в Грузино, а если бы и поехал, то повел бы дело совершенно иначе. В Петербурге ни на одну минуту не приходила в его голову мысль, что дело его женитьбы еще поправимо. Он не знал, что Ева любит его.

Он не поверил когда-то уверениям Квашнина, но словам Пашуты он должен был верить. Слова Пашуты: «Я знаю баронессу больше, чем она сама себя знает!» – не выходили у него из головы.

Он спрашивал себя теперь, что ему было бы дороже: личное счастье, то есть женитьба на Еве или удачное мщение, полный разрыв между Аракчеевым и Настасьей и, разумеется, прибавлял, досадливо смеясь:

– Черта мне! Живи они сто лет вместе. Какое мне дело, если я буду сам счастлив.

И чем больше думал молодой человек о том, как он нелепо поступил, явившись сюда

мстителем, тем более поведение его казалось ему каким-то простым мальчишеством.

И вдруг ему пришел на память случай, бывший в Гру зине несколько лет тому назад. В дворне был мальчуган по имени Егорка: дерзкий, умный, но от природы злой до бешенства. Вся дворня забавлялась тем, что дразнила мальчишку и он, действительно, стал всеобщим *souffre-douleur*.¹

Озлобленный мальчуган отмщал всю накопившуюся в нем злобу на детях моложе себя, на животных, и на чем только мог, даже на птицах.

Как ни было закалено население гру зинское в мучительствах и страданиях, все-таки многие в дворне, когда им навстречу попадался Егорка с окровавленной пташкой в руках, возмущались душой.

Однажды Егорку нашли рано утром около барского дома мертвым. Оказалось, что мальчишка влез на крышу, где ставил несмотря на запрещение графа, какие-то капканы для ловли галок и ворон. Главный фореитор случайно видел, как Егорка долго возился на крыше с какой-то галкой, попавшей в капкан. Она вырвалась у него из рук и, хромая, запрыгала по крыше. Мальчишка стремительно бросился за ней на самый край, снова поймал и с остервенением швырнул ее от себя. Хромая галка улетела через двор, но сам мальчишка со злости не соразмеривший взмаха руки, свернулся с края крыши и расшибся до смерти о каменные плиты двора.

Теперь этот простой случай вспомнился Шумскому, и ему почудилось нечто общее между ним и Егоркой.

«То же самое! Я озлобился на всех неведомо почему, – думал он теперь. – И швыряясь со злости на всех, кончил тем, что сам приладил все, чтобы свалиться и разбиться до смерти, вместо того, чтобы рассказать графу всю правду и, передав свою неудачу по отношению к баронессе, просить его помощи. Он всемогущ, он многое может, если не все. Но во всяком случае, если он захочет, то он уломает барона. Никакие родовые предрассудки аристократа-финляндца не устоят против его же неимоверного тщеславия и честолюбия. Да, если бы граф Аракчеев захотел, то он может все устроить. А я, пугая и мучая разных петербургских и гру зинских галок и ворон, кончил тем, что почти свалился и расшибся, как Егорка. Почти или совсем, вот вопрос?!»

И нетерпение узнать скорее свою судьбу истомило Шумского. Перестав злобствовать на то, что Аракчеев примирился с Настасьей и простил ей все, он думал исключительно о себе, о том, что сам себя погубил. И теперь ему казалось удивительным, что простая крестьянка, его мать и простая дворовая девушка умнее все дело рассудили, чем он сам, умнее потому, что проще. Они обе не мудрствовали, а он мудствовал и поэтому мудрил.

«Заварил теперь кашу, – думалось Шумскому, – которую расхлебывать буду один-одинехонек. Приглашал кушать вместе с собой и его сиятельство и его пьяную сожительницу, да они вот не пожелали, и ты изволь теперь один давиться этой кашей».

И покуда граф Аракчеев, собираясь вызвать к себе строптивного молодого человека, готовился к объяснению с ним, он сам того не зная, давал время Шумскому одуматься, успокоиться и давал возможность возникнуть в нем неожиданному чувству раскаяния.

Однажды, в ту минуту, когда молодой человек наименее ожидал быть позванным к графу, то есть в сумерки, явился к нему в комнату совершенно незнакомый человек. С любопытством оглядывая Шумского, которого он видел тоже в первый раз, молодой малый не похожий на лакея почтительно доложил:

– Вас его сиятельство просит пожаловать к ним.

Шумский вздрогнул, подавил в себе глубокий вздох и, волнуясь, двинулся анфиладой горниц на другой край дома. Так как молодой малый шел за ним, то он ради того, чтобы несколько успокоиться, а отчасти проверить себя насколько тверд его голос, обратился к нему с вопросом:

¹ Козел отпущения (фр.).

– Кто ты такой? Я тебя не знаю, никогда не видал.
– Я был в аптеке-с, помощником.
– А! Знаю, слышал. Тебя граф в другую должность поставил. Чем ты?
– Покуда состою при дворецком.
– Как же ты угодил графу, когда он тебя, говорят, и не видел ни разу?
Молодой малый молчал.
– Ведь ты приезжий, вольнонаемный, и из аптеки никуда не выходил. А граф там не бывает. Как же ты мог отличиться?!

– Простите, барин, – тихо отозвался малый, – не могу ничего сказать. Я всем во дворе отвечаю, что не знаю сам, а вам лгать не стану и прямо доложу. Его сиятельство не приказали объяснять, по какому случаю я взят в дом.

Шумский не настаивал и замолчал. Его нисколько все это и не интересовало. Ему хотелось заговорить, чтобы услышать свой собственный голос. Узнать, дрожит ли он? Заметны ли его смущение и волнение? Видна ли та буря, которая происходит в нем? Несмотря на все усилия, которые он делал над собой, кровь бурлила в нем и сердце стучало молотом.

Покуда аптекарь отвечал ему, Шумский мысленно повторял себе:

– Падай! И сам на себя пеняй! Да, сущий Егорка!

Молодой малый близ дверей кабинета опередил Шумского, заявив, что граф приказывал привести его, но доложить о нем прежде, чем впускать.

– Ступай, – проговорил Шумский и оставшись один подумал: «Это новость. Стало быть теперь господин военный министр примет артиллерийского поручика Шумского. Да и по делом!»

Шумский стал перед закрытыми дверями, понурился и вздохнул. Он простоял очень долго, но не заметил этого. Он был слишком полон мыслями о том, чем кончится теперешнее последнее объяснение с человеком, которого он с детства считал своим отцом, но с детства привык ненавидеть вследствие какого-то невольного и необъяснимого отворачивания, хотя все имел от него: воспитание, средства, карьеру.

Теперь, сейчас этот дуболом, этот солдафон, этот изувер, как называл он его всегда, станет для него официально чужим человеком. Он будет для него военным министром, любимцем государя и временщиком. А сам он обратится в простого артиллерийского поручика без всяких средств, да с новым клеймом на лбу не ужасным, а лишь смешным.

Если до сих пор на него показывали пальцем, как на подкидыша графа Аракчеева, которого тот ошибочно считает родным сыном, то теперь на него, улыбаясь, покажут тоже пальцем, но, усмехаясь, сострят...

Его прозовут Аракчеевский «откидыш».

А между тем, человек, сидящий за этой закрытой дверью, перед которой стоит Шумский, всемогущ: захоти он и Шумский будет вполне счастлив. Он не только властен над своими подчиненными, офицерами и чиновниками, но даже над всеми в России, он властен даже над чувствами независимых от него частных лиц. Поезжай он в Петербург на Васильевский остров к барону Нейдшильду, скажи ему несколько ласковых, но веских слов и никакие Густавы Вазы ничего не поделают. Какие бы загробные голоса предков барона Цур-Олау-Абра-Кадабра не раздались, голос графа Аракчеева заставит их всех замолчать. И барон Нейдшильд будет повиноваться не предкам, не вымышленному и деланному аристократическому долгу чувства или принципу, а ясно осязаемому, могучему и властному чувству честолюбия, пошлomu, но всеильному чувству тщеславия.

И вдруг Шумскому представилось, как через час или два ему подадут крестьянскую телегу в одну лошадь... Он знал Аракчеева хорошо! В телегу посадят парнишку лет 14-ти, на лошадь нацепят драную сбрую, веревочные вожжи... Быть может, дадут и другую телегу для его вещей. И он выедет в Петербург, как простой дворовый, делая по сорока верст в день с привалами для корма по деревням, и приедет в Петербург на четвертые сутки. Там придется тотчас же рассчитаться с хозяином дома, нанять где-нибудь две горницы и аккуратно ходить

на службу. Останется ли при нем его флигель-адъютантство, Бог весть. Он получил это почетное звание, как сын графа.

Теперь легко быть может, что через месяц флигель-адъютантский мундир снимут с него и он сделается почти тем, чем пожелал быть когда-то в шутку. Между бедняком живописцем господином Андреевым и бедным столичным офицером почти нет никакой разницы.

«Но ведь Пашута уверяет, что Ева любила Андреева»...

Шумский грустно улыбнулся при этой мысли, поднял голову и пришел в себя.

– Однако, он меня долго держит, – проворчал он, вспомнив, что уже очень давно стоит перед дверями. – Неужели он так мелочен, что хочет мне мстить даже эдак, глупо, ничтожно... Что мне стоит простоять час перед дверью, когда мне всю жизнь предстоит промучиться несравненно хуже.

Шумский вздохнул и начал тихо шагать взад и вперед перед дверями.

Между тем, на дворе окончательно смеркалось. Перед домом на дворе уже появился красноватый свет. Засветились два фонаря перед подъездом, которые швейцар зажигал всегда раньше всех, ибо они служили сигналом для всего Гру зина. Всякий после этого получал право тоже зажечь свою свечку.

Стараясь объяснить, зачем граф так долго заставляет его дожидаться, Шумский все-таки не догадался. Он не мог конечно представить себе, что происходит в эту минуту в кабинете Аракчеева, чем может он быть занят и куда девался малый, который его привел.

А между тем, в эту минуту граф сидел задумавшись в кресле, близ окна, положив руки на бочка кресла, молчал и ждал. В углу кабинета стоял у стены истуканом, вытянувши руки по швам, молодой аптекарь, попавший неожиданно в число дворни. Еще менее, чем Шумский, понимал он теперь все происходящее, когда он доложил о молодом барине, граф приказал ему стать к стене и стоять. Он стал и стоит...

«Зачем? С какой целью? Кто же его знает, самодура! Заставляет его неведомо зачем стоять в углу, как на часах, а барина стоять и ждать перед дверями. А зачем? Конечно, сам чудесник не знает. Просто потешается, надругивается!»

На этот раз и аптекарь, и Шумский оба ошибались и были неправы.

Аракчеев, вызвавший к себе для объяснения Шумского, спохватился, что вызвал его слишком рано. Ему не хотелось показывать Шумскому своего лица. Ему не хотелось, чтобы умный и проницательный молодой человек мог читать по его лицу и прочесть то, что было у него на душе.

Поэтому он и оттягивал это объяснение, ждал, чтобы наступил полусумрак в горнице, а чтобы свечи было якобы рано зажигать.

Прождав около четверти часа, Аракчеев пересел на свое обычное место за большим письменным столом, подозвал молодого малого и, приглядевшись к нему, убедился, что при бледном, умирающем свете, падавшем в большие окна, невозможно разглядеть выражение лица.

– Позови Михаила Андреевича, – вымолвил он сухо.

Молодой малый бросился с места исполнять приказание.

– Тише! – крикнул граф. – Четвертый раз тебе сказываю, не швыряйся, как заяц из-под гончих. Ходи человеком, степенно и почтительно. Ежечасно помни, кому служишь, перед кем стоишь, и около кого ходишь.

Аптекарь который замер на месте при окрике, двинулся к двери каким-то смешным, неуверенно правильным шагом, как если бы он шел по канату или по жердочке, а затем отпер дверь с величайшей осторожностью, как бы боясь разбудить кого.

XV

Шумский вошел, сделал два шага и остановился. Дверь затворилась за ним. Так как он долго ждал в комнате, которая была на запад, и там было несколько светлее, то здесь он с

трудом осмотрелся. Можно было только различить мебель и кое-какие предметы и видеть человека в мундире, сидящего за столом. Разглядеть же лицо его было невозможно. И в эту только минуту Шумский понял, почему именно в такую пору дня вызвал его к себе граф.

«Коли не зажгешь ты тотчас свечей, – подумалось ему, – то, стало быть, хочешь спрятать от меня свою рожу. Ну, и черт с тобой! Не это мне важно».

Между тем, Шумский уже с минуту стоял молча в двух шагах от двери, а граф сидел и тоже молчал. Наконец, повернувшись медленно, но не к Шумскому, а в противоположную сторону, где висел большой во всю стену портрет государя Александра Павловича, работы Дау, граф выговорил:

– Иди, крапивное семя, якобинец! Садись!..

Шумский молча двинулся и сел на то же место около стола, где сидел при первом их объяснении после его приезда.

– Отвечай, что будут спрашивать, – заговорил граф глухо, но резко и с особенной неприязнью, – не юли, не фиглярничай, не якобинствуй, а то после первой же штуки выгоню вон, разжалую в солдаты и сотру в прах... Говори: чей ты сын?

– Вам известно, что я объяснил в прошлый...

– Чей ты сын?! – вскрикнул Аракчеев.

– Авдотьи Лукьяновны, от ее законного мужа, вашего крестьянина, – тихо, но твердо произнес Шумский.

– Кто тебе это сказал?..

– Все в столице знают это... Мне сказал это улан фон Энзе. Я стал расспрашивать Авдотью Лукьяновну, пригрозился, что застрелюсь, она испугалась... Я заставил ее сознаться во всем ради страха, который напустил на нее... Она поэтому не виновна...

– Тебе сказал офицер питерскую сплетню, а дура-баба со страху подтвердила. Так?

– Да-с. Но это все не...

– Не рассуждай... Отвечай на вопросы. Мне наплевать на твои рассуждения. Зачем ты почел нужным сейчас же примчать сюда и мне рассказывать все?..

– Я почел долгом раскрыть обман, объяснить вам, что вы напрасно почитаете меня своим сыном от Настасьи Федоровны.

– Ты присутствовал при своем рождении, видел обман своими глазами? Свидетель ты этого обмана? Ну, чего молчишь?

Шумский невольно развел руками, не найдя, что сказать.

– Отвечай! Нечего махать да пальцами разговаривать! Не глухонемой!

– Авдотья Лукьяновна, полагаю, знает лучше всех, ее ли я сын или Настасья Федоровны.

– Полагательно! И коли она теперь рассказывает, что ты пистолетом из нее вынул клеветническое сочинительство, грозясь и себя и ее застрелить – а что она со страху наврала целый короб... то ей, вестимо, след верить. Ей да Настасье Федоровне ближе всех знать, чей ты сын. Ну, вот и посуди теперь, кому мне верить. Тебе с жиру и спьяна врущему, или им обеим – матери и кормилице?

– Да разве Авдотья Лукьяновна отказывается теперь от своих слов? – воскликнул Шумский.

– А то нет?! Она женщина богобоязная...

– Со страху!.. От ваших угроз!.. Но я все-таки остаюсь уверенным, что она в Петербурге не лгала мне.

– Дури, коли ум за разум зашел от праздношатания и пьянства. Дури. Может быть и до дома умалишенных допрыгаешься... Вообразишь себя зеленым змием – еще любопытнее будет. Но это мне все равно, что собственно с тобой будет. А не позволю я тебе, щенку, позорить женщину, голубицу... Особу почитаемую, можно сказать, всеми россиянами, кои только приближались к ней. Сам монарх наш с уважением и приязнью относится к этой особе, украшающей мое земное существование, облегчающей мой государственный подвиг. Если б не Настасья Федоровна, я не снес бы бремя, на меня соизволением монарха

наложенное. Это святая женщина! А ты, щенок, поносишь и позоришь ее, ты, ее сын родной! Да что же это! Разве это не якобинство! Разве за это не достоин ты сесть на веки в крепость или идти в Сибирь на поселение. А?.. Зачем тебе понадобилась, наконец, вся эта комедия, все эти клеветнические сочинительства? Чего ты хочешь? А? Очумел ты от вина и лености, с ума спятил? А? Говори! Куда тебя теперь запрятать? В желтый дом или в крепость? Безумный ты аль якобинец!

Аракчеев смолк и тяжело дышал.

Шумский, совершенно озадаченный, даже ошеломленный, сидел, вытараща глаза в мрак комнаты. Он всего ждал от графа, но не этого... А между тем, уже два чувства успели молнией скользнуть по его душе... Радость и стыд. Невольное чувство радости, что все разрешается неожиданно и внезапно в его пользу. Все может снова быть поправлено. Снова «она» будет его невестой... И едкое, горькое чувство стыда за эту радость, в которой он не волен, которая сама ворвалась в душу. Шумский поник головой и задумался.

«Дрянь! Такая же дрянь, как и все... – говорил ему внутренний голос. – Ненавидишь и презираешь их обеих. И рад, что останешься со званием их сына обманывать честных людей. Да ведь это все ради нее, ради любви к ней... Ведь это от беседы с Пашутой, от уверенности, что она любит меня. Иначе я не смолчал бы теперь. Я бы сказал: я не сын ваш и не хочу им быть, я вас презираю»...

Громкий голос Аракчеева привел его в себя. Граф, очевидно, уже не в первый раз говорил что-то и спрашивал.

– Отвечай или одервенел совсем?!

– Виноват, – заговорил Шумский тихо. – Я так поражен всем, что мысли путаются. Что прикажете?.. Я не дослышал.

– Что мне с тобой делать?!

– Я не знаю... Я не понимаю, что вам угодно.

– Что мне теперь с тобой делать? Как ты намерен себя вести?.. Скоморошествовать, вольнодумствовать и срамно путаться не в свое дело или вести себя благоприлично.

– Как не в свое дело?.. В какое дело? – изумляясь, выговорил Шумский.

– Размышлять об своем рождении!.. Измышлять всякие мерзости! Позорить Настасью Федоровну и меня на всю Россию выдумками и клеветой. Разве тебе, а не нам рассуждать и знать: чей ты сын! Ты ничего не знаешь и не можешь знать, но твоим словам дураки поверят. Дурак скажет: как же, мол, не правда, когда-де он сам говорит, что сын крестьянский. Стало быть, графа Аракчеева его подруга жизни дерзостно обманула и более двадцати лет обманывала. Что, мне это допускать по-твоему и глядеть. Нет, врешь, я этого не допущу. В дураки рядить себя никому не дам. Меня за всю мою жизнь никто в пустяковине грошевой не обманул и не провел. И государю это ведомо! И вся Россия это знает! И не тебе, щенку, с первым вельможей в государстве дурачиться и облыжно срамить на весь свет графа Алексея Андреевича Аракчеева. Осчастливленный частым лицезрением моей особы ты забыл кто перед тобой, кого ты зришь во мне... Забыл все... Забыл страх Божий и родительский! Да. Вижу теперь... Мало ты принял побоев с детства. Мало тебя драли! Воспитаю я тебя в постоянном учительстве рассолом, ты не дерзнул бы теперь якобинствовать и мешаться не в свое дело, пытаться, от кого ты родился. Ступай к себе. Сиди три дня и размышляй. А затем приходи ко мне и скажи, что мне с тобой делать, что себе избрал: крепость, Сибирь, сумасшедший дом... Или, остепенясь и бросив вольнодумничанье французское, приходи молить прощение у меня и у матери. Тогда я и Авдотью не трону, баба не виновата, что ты ее застрадал. А если ты опять придешь ко мне с предрезостными мыслями, я тебя сотру с лица земли, но позорить себя на всю Россию не дам. Ну, уходи... прокаженный!

Шумский быстрыми шагами прошел к себе в комнаты, опустил в кресло и заговорил вслух:

– Стыдно. Горько и стыдно. Не будь тебя Ева, никогда бы я на эту сделку не пошел. Нет. Я бы наслаждался, тиранствуя... Я бы этого изверга добела раскалил. А-а? Так ты не желаешь, чтобы все знали, как тебя, дурака Емелю, баба надула подушкой. Ты чуешь изверг,

как всякий человек посудит это дело. Коли простая пьяная экономка может, мол, его в шуты нарядить, стало быть, чучело гороховое, стало быть, глуп и туп скажет всякий. Пигалица с самолюбьишком пяточковым. Ты щенок, а не я. Ты щенок разумом и душой. Мелкота! Тля! Да, тля, мразь... Букашка вонючая и вредная...

Шумский не скоро успокоился и когда излил страстным шепотом всю горечь, весь стыд, который чувствовал в себе от невольно принятого решения согласиться на сделку, то ему вдруг стало невыразимо грустно. До этого дня он поступал всегда – хорошо ли, дурно ли, – но руководимый независимой ни от чего и ни от кого волей. Он делал, что хотел и как хотел, презирая все и всех не на одних словах, но и на деле. Отсюда явилось сознание – ошибочное и ложное – своего превосходства над окружающими его людьми. Они рабы всего и всех! А он только раб своих страстей, но и то сознательно... Он из-за прихоти человека убьет, в Сибирь пойдет и не раскается, не оглянется.

А теперь он в полной зависимости у Аракчеева и Настасьи, у двух презренных существ. Что они ни захоти, он будет повиноваться, потому что «она» его любит. А надругавшись над ними, он потеряет ее. И они даже не знают, в чем их сила и власть над ним. Они, подлые твари, воображают, что ему деньги нужны, общественное положение, флигель-адъютантство и всякая мишура, доступная сынку временщика.

– Что ж? Будь по-вашему, поддельные папаша и мамаша, гадкие твари-родители! – грустно улыбаясь, решил Шумский уже ввечеру. – Я буду молчать. Весь свет знает и верит, что я подкидыш, но я буду разыгрывать роль незнайки. Да. Но только не думайте, что надолго. Как только все устроится и Ева станет моей, так я на всех перекрестках буду кричать, что я крестьянский мальчишка, обманым образом подброшенный Аракчееву его канальей-сожигательницей. Моя мать будет у меня в доме жить, и не только Ева, но весь Петербург будет с ней обращаться как с моей матерью. Только пособи мне, изувер, Еву отвоевать у фон Энзе, а там я тебя отблагодарю. Ты у меня из скоморохов не выйдешь. Всем состоянием своим ты не купишь моего молчания. Идол!

XVI

На Васильевском Острове в доме барона Нейдшильда бывало всегда, по обыкновению, тихо. Барон по целым дням сидел у себя и работал, читал или писал свое огромное сочинение: «О сродстве звуков и красок».

Красавица-баронесса точно также сидела в своих горницах, читала Шиллера, рисовала, или же большею частию вышивала в пальцах. Только среди дня отец с дочерью выезжали сделать кое-какие визиты или просто покататься, но это бывало не всякий день.

Гостей у них почти не бывало, за исключением двух или трех земляков. Остальных людей, полужнакомых, разных столичных сановников, с которыми барон был в сношениях вследствие своей принадлежности к придворному ведомству, он вообще никогда не принимал. Каждый день в передней появлялось много карточек, так как ни для кого барон не бросал своей работы.

За последнее время к этой всегдашней тишине в доме прибавилась какая-то мрачность, угрюмость. В жизни Нейдшильдов, очевидно, произошло что-то новое, что нарушило их прежнее мирное существование.

Часто барон бросал книгу и задумывался, вздыхал или, бросив свое писание, начинал бродить по своему кабинету, как бы озабоченно обдумывая что-то, совершенно чуждое его работе и далеко не радостное, не поддающееся разрешению.

Иногда он, побродив, проходил в комнату к дочери, садился около нее, молча помогал ей вышивать по канве или говорил с ней о столичных слухах, шутил и смеялся. Но посторонний наблюдатель тотчас заметил бы, что, болтая о всяких пустяках, и отец, и дочь, делают это с невинным умыслом, будто сами себя обманывают, ибо в действительности оба думают о совершенно ином и далеко не веселом... В шутилом голосе барона была натяжка, деланность, ложь.

Ева не смеялась, а только улыбалась и, если не совсем грустной улыбкой, то все-таки не такой, как бывало прежде. Она предпочитала молчание этой болтовне.

Заметная перемена в доме произошла с тех пор, как однажды утром дальний родственник их, улан фон Энзе, явился к барону с вестями и объяснением. Он приехал встревоженный и взволнованный с заметно изменившимся лицом. Он только что узнал о сватовстве Шумского и о согласии не только барона, но и самой Евы. Хотя все его товарищи считали его давно женихом красавицы-баронессы, хотя он сам тоже считал себя вправе надеяться и верил, что у Евы есть что-то к нему; однако, ни разу ни с девушкой, ни с отцом ее не обмолвился ни единым словом о своих надеждах и намерениях, следовательно теперь при известии, что Шумский сватался и принят, он не мог считать своих прав нарушенными. Тем не менее, конечно, он был страшно поражен неожиданным ударом. Он раскаивался, что ранее не разоблачил всех тайных и гадких ухищрений петербургского «блазня», являвшегося в дом барона под именем живописца Андреева. Еще недавно, узнав от бежавшей к нему Пашуты на какое ужасное дело решается Шумский, приставив к баронессе свою няньку, фон Энзе не решился из чувства деликатности раскрыть глаза барону. Ему казалось совершенно достаточным явиться ночью в карете к воротам дома и помешать злодею проникнуть в дом. Вдобавок фон Энзе допустил бы скорей возможность немедленного светопреставления нежели мысль, что Ева может, хотя бы отчасти, заинтересоваться Шумским. Полюбить же ей его – non sens!²

И вдруг громовая, внезапная весть из дома барона. Шумский посватался, а Ева приняла предложение! Разумеется, фон Энзе мгновенно поскакал к Нейдшильдам. Тотчас же передал он барону все, что было известно некоторым лицам в Петербурге. Молва ходила давно, что Аракчеев обманут своей сожительницей и ошибочно считает Шумского своим сыном. Разумеется, большинство относилось к этому слуху недоверчиво, но с радостью повторяло его из ненависти к обоим.

У графа-временщика и у «блазня» насчитывалось слишком много врагов, и всякий понимал отлично, что нет ничего мудреного в том, если бы подобную клевету сочинили на них по злобе. Наверное, однако, никто не мог знать ничего. Всякий благоразумный человек думал то же, что и Квашнин: «Кому же лучше знать, как не самому графу Аракчееву?»

Разумеется, на основании одной петербургской молвы фон Энзе никогда бы не решился теперь броситься сообщать барону нечто похожее на клевету да еще вдобавок на молодого человека, который уже посватался и уже принят им. Если он решился, то исключительно на основании слов Пашуты, которая в свою очередь узнала все от родной матери Шумского.

Отправляясь к барону, фон Энзе знал, что он не в положении погибающего, хватающегося за соломинку. Он знал, что известие, которое он привезет барону, сразу изменит все, ибо тот никогда не согласится на брак дочери с человеком мужицкого происхождения, да еще с подкидышем.

Впечатление, произведенное на барона рассказом улана, было потрясающее. Нейдшильд так растерялся, что, быть может, целую неделю не решил бы, что предпринять. Фон Энзе, конечно, убедил его не терять ни секунды, отказать немедленно Шумскому и взять назад свое слово, прежде чем тот успеет кому-либо поведать о своем сватовстве. При этом фон Энзе старательно разъяснил Нейдшильду, что на все это приключение должно смотреть серьезнее. Оно более чем неприятно или досадно. Нет сомнения, что все случившееся крайне печально, ибо произведет соблазн в обществе.

– Поправить дело возможно, хотя и мудрено, конечно, – объяснил фон Энзе. – Весь Петербург узнает одновременно о двух удивительных вещах: что Шумский не сын, а подкидыш графа Аракчеева, и в то же время тот же безродный *enfant trouve*,³ объявленный

² бессмысленно! (фр.).

³ подкидыш (фр.).

почти жених баронессы Нейдшильд. Поэтому было бы спасением и счастьем, если бы баронесса теперь же отказалась и была объявлена в столице невестой совершенно другого лица, а Шумский через то поставлен лжецом.

– Каким образом? – Воскликнул барон. – Я даже не понимаю, как это сделать!

– Очень просто, – отозвался фон Энзе. – Я удивляюсь, барон, что вы не догадываетесь.

И, начав издали, офицер сказал целую речь, в которой с искренним чувством, взволнованным голосом, передал барону, что он давным-давно любит Еву, одно время даже мечтал, что пользуется ее взаимностью, и согласие баронессы на брак с Шумским его поразило вдвойне.

Фон Энзе заключил свою речь тем, что он будет счастливейший человек, если барон согласится на его брак с Евой. Тогда он явится законным защитником девушки и ее отца от всякого нападения, как по отношению к дерзкому, способному на все блазню, так вообще по отношению ко всем злым языкам и клеветникам в обществе.

Нейдшильд, который давным-давно подумывал о возможности этого брака и сам привык считать улана претендентом на руку дочери, теперь не был нисколько удивлен.

Он радостно прослезился, протянул руку фон Энзе и выговорил:

– Я не только согласен, но счастлив. В особенности в такую трудную минуту, – наивно прибавил барон. – Да, вы будете защитником и дочери, и моим. Но что скажет Ева?

– Я не сомневаюсь ни минуты, барон, в согласии баронессы. Быть может, теперь тотчас же она захочет подумать, не выскажется, но со временем, я глубоко уверен, что она забудет и думать об этом негодяе. Я признаюсь не понимаю, каким образом она могла ему дать свое согласие. Теперь говорить ей нет нужды. Успеем. Главное, вам надо тотчас же объяснить с Шумским и отказать ему наотрез.

– Но это ужасно! – выговорил барон, хватаясь руками за голову, как если бы его посылали прямо в клетку какого-нибудь зверя.

Фон Энзе долго убеждал барона действовать решительно, но не добился ничего. Нейдшильд дал ему право не скрывать, что он принимает его предложение, надеясь на согласие дочери, и считает его почти женихом. Но отказать Шумскому барон просто боялся.

– Пусть до него дойдет стороной, что вы, а не он, настоящий претендент! – предложил он.

Фон Энзе напрасно доказывал, что это решение вопроса самое неудобное. Барон стоял на своем. Однако, на другой день фон Энзе, уже успевший умышленно разблаговестить на весь город о своей женитьбе, снова явился к Нейдшильду и убедил его, по крайней мере, написать письмо Шумскому. Барон сразу охотно согласился и с видимым увлечением писал, исправлял и переписывал набело свое витиеватое послание. Когда оно было окончено, запечатано и послано на квартиру Шумского, а затем вернувшийся лакей заявил, что письмо доставлено в собственные руки, фон Энзе вздохнул свободно и расстался с бароном, считая все дело окончательно решенным в свою пользу.

По отъезде улана барон, совершенно смущенный, отправился к дочери и нашел ее в хлопотах. У нее была знакомая ему женщина-торговка, а на всей мебели лежали разные материи, преимущественно белые. Только на некоторых виднелся едва заметный бледный и мелкий рисунок.

Баронесса с детства обреченная по обычаю, или, вернее, посвященная белому, «*voiee au blanc*»,⁴ лишь изредка решалась шить платья, на которых допускался маленький, едва заметный рисунок. Теперь она выбирала материи для подвенечного платья и для свадебных визитов.

Барон, войдя к дочери, был озадачен веселым и счастливым лицом ее. Никогда Ева не была так красива, никогда лицо ее не сияло таким счастьем и восторгом. Барон постоял, поглядел на все разложенные материи, и вышел вон, не сказав ни слова.

⁴ «посвященная белому» (фр.).

Как же в такую минуту решиться сказать дочери, что она не невеста, более того, что она, якобы, уже невеста другого человека. Нейдшильд вышел тотчас из дому прогуляться немного, чем немало удивил своих людей, так как был ненавистник прогулок пешком. Ему нужно было движение на воздухе, так как он был слишком взволнован. К тому же он боялся, что Ева, не ждавшая Шумского накануне, будет неминуемо ждать сегодня, закидает его вопросами и заметит в нем перемену и смущение. Надо было оттянуть время.

Вечером, разумеется, Ева, прождавшая весь день с минуты на минуту приезда жениха, начала беспокоиться и волноваться, стала озабоченно спрашивать отца и добиваться его мнения о том, почему нет жениха. Она высказывала опасение, не случилось ли с ним что-нибудь особенное, ужасное.

И барон решился заговорить. За целый день он заготовил, по крайней мере, десять разных вступительных речей, чтобы не сразу поразить дочь. Но когда пришлось начинать одну из этих речей, Нейдшильд взял дочь за руку, привлек к себе, поцеловал и, прослезившись, выговорил смаху:

– Ева! Ты не можешь быть его женою.

Девушка не ответила ничего, бровью не двинула, даже как будто и не удивилась. Приняла ли она слова отца за пустую болтовню, не имеющую ни значения, ни каких-либо последствий, или же молодая девушка была окончательно не способна на порывы.

Барон стал быстро говорить, сыпать словами, доказывая невозможность брака с Шуйским. Ева сидела спокойно, глядела отцу в лицо и была настолько невозмутимо внимательна, как если бы дело шло о чем-либо постороннем, для нее лишь отчасти любопытном. И только после многих убеждений отца она выговорила:

– Как же все это? Я даже не могу понять. Почему же все это стало невозможно?

Барон снова более связно и толково повторил те же доводы, основанные на аристократическом принципе: *mesalliance – demiroture*.⁵

Когда он кончил, Ева понурилась, задумалась, но оставалась все-таки спокойна, только красивые глаза ее смотрели, если не тревожно, не грустно, то более упорно, более твердо, а губы крепко сомкнулись. И она долго молчала.

– Но не все ли равно, – вымолвила она наконец, – кто он? Сын графа Аракчеева, не прямой, не законный, не носящий его имя, или воспитанник его, приемыш. Ведь это все равно.

И весь разговор, происшедший после этого между отцом и дочерью, был очень странный. Все, что говорила Ева, было просто, правдиво, глубоко обдуманно и логично. Барон мысленно соглашался с дочерью и горячо противоречил ей. Он сам внутренне давно убедился, что совершенно безразлично, кто Шумский: побочный сын временщика от экономки или мальчик, взятый в дом и воспитанный, как родной сын при отсутствии законных детей. И так как он не носил никогда фамилии графа Аракчеева, то теперь его не лишают этого имени. Он как был так и остался Шумским, только теперь его положение воспитанника всесильного графа, пожалуй, много лучше с нравственной точки зрения. Вместе с тем, он был и остается личный дворянин, артиллерийский офицер и флигель-адъютант государя.

Кончилось тем, что Ева снова замолчала и как бы согласилась на все убеждения отца, а барон, якобы убедивший дочь, сидел совершенно убежденный логичностью ее возражений.

XVII

В продолжение двух дней Нейдшильд много раз собирался сказать дочери про свое послание к Шумскому с отказом, но не решился. Ева была несколько озабочена, но спокойна. Очевидно, она была все еще далека от мысли, что все окончательно порвано с

⁵ мезальянс (неравный брак) – полупростолюдин (фр.).

Шумским и продолжала наивно ожидать его появления в доме. Барон смущался, трусил и не знал, что делать. Его тайные мысли о том, что фон Энзе уже успел посвататься, а он успел уже принять его предложение, теперь пугали его самого и казались часто сновидением или бессмыслицей. По счастью улан тоже не являлся.

На третий день, не видя Шумского, баронесса начала, видимо, волноваться и, очевидно, теперь только догадывалась, что в объяснении с ней отца было нечто недосказанное. Отец что-то скрывал от нее. И теперь, чем более барон старался избежать последнего решительного объяснения, тем более Ева ожидала его. Вечером, уже собираясь проститься с отцом, чтобы идти спать, девушка решилась и, кротко глядя отцу в глаза, спросила:

– Как же вы намерены поступить относительно всего этого? Вы знаете, решили все, но скрываете от меня...

– Что? – отозвался барон наивно.

– Все касающееся моего замужества. Я не вижу Шумского...

Барон потупился и покраснел, как школьник, пойманный в шалости. Он отвел глаза и проговорил едва слышно:

– Я уже давно... тогда же... написал г. Шумскому письмо, в котором говорю, что ты не можешь быть его женой.

Наступило молчание.

Ева не ответила ничего, а Нейдшильд боялся поднять глаза, боялся увидеть впечатление, какое произвели его слова на дочь.

– Напрасно, – произнесла, наконец, Ева чуть слышно. – Это будет очень мудрено...

Барон взглянул на дочь и увидел, что лицо ее несколько изменилось: стало темнее, серьезнее. Глаза смотрели не так кротко, как всегда. Они раскрылись немножко шире и взгляд был тверже.

У другой женщины, а не у баронессы, подобное выражение лица означало бы легкую досаду от маленькой неприятности, но на лице Евы, вечно ясном и невозмутимо спокойном, такое выражение значило уже очень много.

– Я сознаюсь, что сожалею теперь, что сделал это, не переговорив с тобой, – вымолвил барон виноватым голосом.

– Это будет очень мудрено, – повторила Ева, как бы сама себе, но более глухим голосом.

– Что будет мудрено? Разрыв с ним?

– Да, очень мудрено, – однозвучно и задумчиво снова повторила она.

– Почему же? Я просто не приму его, если он приедет объясняться. Я дал ему слово... Правда... Но это не резон. Мы не знали того, что знаем теперь. Мы были введены в заблуждение. Мы правы, когда отказываем теперь. И все кончится просто...

– Я говорю – мудрено... совсем другое. Мне будет мудрено.

– Объяснись! Я не понимаю, – удивился барон.

– Что же я объясню? Мне нечего объяснять. Я не знаю, но мне кажется, что мне будет очень мудрено забыть...

– Что? Что забыть? Шумского забыть?!

– Не знаю...

– Ты боишься, что его не сможешь забыть! Не будешь в состоянии выйти замуж за другого? Со временем? Не так ли?

– Не знаю.

– Ты не хочешь сказать правду твоему отцу?

– Нет, нет. Я правду говорю. Я не знаю... Мне кажется, что все это будет очень и очень мудрено. Так я и говорю.

И Ева приблизилась к отцу, наклонилась, поцеловала его и затем тихой, обычной походкой ушла к себе.

Барон поволновался около получаса у себя в комнатах, но затем лег спать и скоро сладко заснул. Ева долго не смыкала глаз и целую половину ночи ворочалась в постели,

изредка повторяя мысленно и даже шепотом: «Не знаю».

На другой же день после полудня явился фон Энзе довольный и счастливый. Он был убежден, что барон уже успел переговорить с дочерью, и ожидал, что тотчас же сам объяснится с ней. Поэтому он был очень удивлен, когда узнал от барона, что тот еще не говорил дочери ни слова о его сватовстве, так как долго не решался заговорить об отказе Шумскому.

Фон Энзе, человек бесспорно умный, относился, однако, ко всему наивнейшим образом, так как совершенно не допускал мысли, что Ева может любить Шумского. Для фон Энзе порядочность была почти кумиром. Он ставил эту порядочность или джентльменство в жизни и в общественных отношениях выше всего, наравне с честью и нравственностью. Поэтому ему и казалось, что блазень, кутила, предводитель буйной и пьяной шайки офицеров может быть только страшен и даже гадок всякой молодой девушке. А тем паче должен быть гадок Шумский такой девушке, как Ева, невинной, как младенец, чистой помыслами и душой, страдательно относящейся к малейшему неосторожному слову, нечто вроде цветка – *Sensitive*.⁶

Очевидно, фон Энзе своим немецки формальным, порядливым умом не мог верить в замысловатые и необъяснимые противоречия, сплошь и рядом руководящие человеческим существованием. Едва только барон объяснил улану, что он не решился передать дочери о его сватовстве, как фон Энзе предложил тотчас же сделать это сам.

Нейдшильд даже обрадовался.

– И всего лучше, – сказал он. – Да, переговорите с ней и объяснитесь сами.

Через четверть часа все трое были уже вместе в гостиной и после двух-трех слов приветствий, фон Энзе, несколько смущаясь, но отчасти официальным тоном объявил баронессе, что он предлагает ей руку и сердце, так как давно любит ее и сожалеет теперь, что не решался сделать предложение раньше предложения Шумского.

В эту минуту на лице Евы появилось то же самое выражение, необычное у нее. Упорство и твердость или сухость взгляда красивых глаз и будто обидчиво сжатые губы. Она опустила глаза тотчас же и, не ответив ни слова, будто ждала...

После мгновенной паузы барон нашелся вынужденным заговорить, так как лицо улана потемнело и становилось все угрюмее с каждой секундой.

– Ты не отвечаешь, Ева? – спросил барон.

– Я вас попрошу ответить за меня, – тихо произнесла девушка серьезно и без смущения.

– Что это значит, баронесса? – проговорил фон Энзе глухим голосом.

– Я не могу отвечать вам... Я не знаю... Пускай отец мой решит все и ответит за меня.

– Но это невозможно! – воскликнул барон. – Стало быть, сама ты не знаешь, не хочешь, не можешь. Отвечай прямо. Г. фон Энзе поймет, извинит, простит. Все-таки это нам большая честь. Отвечай!

– Я не знаю. Мне кажется, что так нельзя. Все это так никогда не бывает. Если я еще вчера, сутки назад считала себя принадлежащей на всю жизнь одному человеку, то как же теперь через сутки я скажу другому. Все это очень странно...

– Да, правда, – произнес барон, глубоко вздохнув. – Правда. Мы поступаем ребячески.

И обернувшись к фон Энзе, он горячо, красноречиво и очень разумно объяснил, что надо обождать с решением подобного вопроса.

Фон Энзе, сидя, склонился перед Евой и выговорил взволнованным голосом:

– Я готов ждать сколько угодно. Я буду счастлив теперь, если не услышу от баронессы прямого отказа. А ждать я готов, сколько она пожелает. Я не могу опасаться такого соперника, как г. Шумский. Баронесса могла по неведению на время увлечься этим человеком, но когда она узнает, что это за человек, на что он способен, какие позорные и

⁶ Мимоза (фр.).

бесчестные намерения были у него, прежде чем он сделал свое предложение, то, конечно, баронесса будет только презирать его.

Ева подняла строгие глаза на улана и выговорила тихо:

– Мне нечего узнавать. Я все знаю.

– Вы не знаете, – воскликнул фон Энзе, – что Пашута, а затем другая женщина – нянька г. Шумского – были лица подосланные к вам ради невероятного замысла.

– Знаю, – проговорила Ева чуть слышно и снова опуская глаза.

Наступило молчание.

– И это не помешало вам, – начал было фон Энзе, но запнулся. – Вы не презираете его? Он не гадок вам?

– Нет. Человек, который сильно любит, отчасти теряет рассудок и поэтому не ответствен вполне за свои поступки! – просто произнесла Ева. – Любовь все извиняет.

– Все! – изумляясь, протянул фон Энзе. – Даже подлость, злодейство?

– Все.

– Я такой любви, баронесса, не допускаю и не понимаю!..

– Вероятно, потому что вы еще никогда никого не любили, – отозвалась Ева утвердительно, как если бы заявляла об известном неопровержимом факте.

– Простите, я сейчас говорил и повторяю, что я вас давно люблю и готов для вас на все на свете. Готов, как говорится, идти на смерть, но сделать что-либо подлое, поступить бесчестно я не смогу, если бы даже на это получил ваше приказание.

– Потому что бесчестье хуже смерти? Тяжелее...

– Да.

– Ну вот видите. А г. Шумский и на это решился, потому что страсть затемняет рассудок.

Фон Энзе слегка разинул рот и не знал, что отвечать. Наступило мгновенное молчание.

– Стало быть, вы думаете, что Шумский любит вас больше, чем я.

– Вы говорите, он шел на злодейство. Надо думать, что за подобное судят, наказывают, ссылают, офицера разжалывают в солдаты, не так ли? А Шумский этого не испугался! Весь Петербург назвал бы его, как вы, бесчестным человеком. Он был бы опозорен и потерял бы все: положение, карьеру, все, все, не так ли? А он шел на это.

Ева замолчала и сухо, спокойным взглядом глядела на отца и на улана, как бы ожидая возражения, но они оба сидели перед ней изумленные и не отвечали ни слова.

– Так, стало быть, вы любите этого человека! – с ужасом выговорил фон Энзе.

Ева подняла руку с колен, как бы останавливая улана, и быстро прибавила:

– Нет, не знаю. Я этого не сказала, вы сказали, что готовы пожертвовать мне жизнью, но не честью. Я отвечала только, что Шумский готов был пожертвовать всем.

– Но у него нет чести, поймите. У него нет понятия о чести. Он в полном смысле слова негодяй! Простите меня, баронесса. Да. Он негодяй и презренный...

– Трус, – прибавила Ева.

Фон Энзе, слегка озадаченный, пристально взглянул в лицо Евы. Ему показалось, почудилась легкая усмешка на губах ее.

– Нет, я не сказал «трус» и не скажу. Вам, вероятно, известно нечто, что вы бросаете мне упреком. Вы, может быть, намекаете, что я трус, так как несколько раз отказывался драться с Шумским. Но моя честь не позволяет мне становиться под выстрел такого человека, как он. Скажите, неужели вы думаете, что я боялся поединка с ним?

– Я не знаю, что вас останавливало, но, во всяком случае, очень рада, что поединка этого не состоялось. Очень рада, что его не будет, так как это может окончиться несчастливо.

– Мне кажется, – заговорил снова после паузы фон Энзе, – что я своим поведением не доказал ничем малодушия или трусости. Я первый смело бросил в лицо этому человеку его темное происхождение. От меня первого узнал Шумский, что он простой подброшенный Аракчееву крестьянский мальчишка.

– Это с вашей стороны... было жестоко, – промолвила Ева.

– Да, правда. Сознаюсь...

– А виноват ли он в прошлом? Его ли вина, если он был продан родными.

– Конечно, нет, но было с моей стороны оплатой за то, что он умышлял против вас.

– Вы меня защищали?

– Да.

– По какому праву?

– Баронесса!.. – воскликнул фон Энзе укоризненно. – По праву человека, который давно любит вас.

– Я бы не желала, чтобы чья-либо любовь ко мне становилась причиной злых и жестоких поступков. Тот, кто украл из нашей квартиры портрет мой, рисованный г. Шумским, тоже написал мне, что он не простой вор, а поступает так вследствие безумной любви ко мне.

Фон Энзе опустил глаза и выговорил глухо:

– Вы догадались, баронесса. Портрет этот был украден по моему наущению и он был у меня, но теперь его нет. Г. Шумский, как мужик или дикий, ворвался ко мне в квартиру в мое отсутствие, разбил вдребезги раму и стекло, вырезал и унес его...

– Вот видите ли, – вдруг веселее и улыбаясь произнесла Ева. – Два вора, но совершенно на разные лады. Один украл тихо, осторожно, чужими руками, не рискуя собой, а другой – резко, грубо, сам. И я думаю, что во всем вы будете действовать так же, а г. Шумский тоже так же.

Фон Энзе обернулся к барону, который все время сидел, как опущенный в воду, молча переводя глаза с дочери на улана и с него на дочь, будто не понимая ни слова из их беседы.

– Я вижу ясно, барон, что случилось нечто, чего трудно, невозможно было ожидать, нечто, чему я никогда бы не поверил. Если бы мне даже мой отец или моя мать сказали это, люди в каждое слово которых я верю всей душой, и то я не поверил бы. Но теперь я вижу, слышу и не могу сомневаться ни на одно мгновение. Хотя это все ужасно, но это так. Баронесса привязалась сердцем к этому человеку. Она ослеплена и много надо времени, много надо усилий, чтобы раскрыть ей глаза на этого человека. Много пройдет времени, прежде чем баронесса поверит, что такое господин Шумский для всего Петербурга, для всех честных людей.

– Я это знаю, – отозвалась Ева. – Я это слышала отовсюду, от всех. А если бы я и не слышала этого, то вы здесь сейчас назвали его негодяем. А я не имею поводов вам не верить.

– И вы все-таки любите его?

– Я не сказала этого.

– Но это выходит само собой. Это видно из всего.

– Нельзя видеть, – кротко и спокойно произнесла Ева. – Нельзя постороннему видеть в моем сердце то, чего я сама не вижу. Я знаю наверное и ни на мгновение не сомневаюсь, что г. Шумский любит меня до самозабвения, до забвения всего. Я вижу и понимаю, что я для него все. Но люблю ли я его? Повторяю – я не знаю!..

XVIII

После своего объяснения с графом Шумский пробыл в Гру зине только три дня, так как решился тотчас же уступить во всем исключительно ради Евы.

Конечно, в тот же вечер после странного объяснения с Аракчеевым, он послал за матерью, чтобы узнать от нее самой, что побудило ее переменить образ действий. К удивлению Шумского, Авдотья прислала сказать, что хворает и не может быть.

Шумский взбесился, поняв, что Авдотья действует по приказанию Минкиной. Снова закипела в нем злоба и ненависть. Он тотчас же поднялся и отправился сам на ту половину дома, где была комната Авдотьи. Он нашел мать, конечно, совершенно здоровой и сидящей за самоваром. Она оторопела при виде его, вскочила с места, замахала отчаянно руками.

– Уходи, уходи, – зашептала она испуганно. – Зачем пришел? Не приказано мне с тобой

ни о чем беседовать, не приказано видаться.

– Ладно, садись, – отозвался Шумский, сел у стола и, заставив оторопевшую женщину тоже усесться, выговорил нетерпеливо:

– Тебе, матушка, хоть кол на голове теши! Что я тебе ни говорил, все как об стену горох. Я на тебя не сердит. Ты не можешь иначе действовать. Скажи мне только, каким образом вышло, что ты отказалась и отперлась от всего?

Авдотья прослезилась тотчас же и, утирая глаза свернутым в комочек платком, объяснила сбивчиво, без связки, что Минкина ее замучила, «затрепала», убеждая всячески заявить графу, что она нагала все Шумскому в Петербурге под страхом его угрозы застрелить ее. И она, наконец, согласилась отпереться.

Затем Авдотья тихо, шепотом рассказала, озираясь и постоянно взглядывая на дверь, что после этого сам граф ее вызывал к себе и в коротких словах объяснил ей, как он смотрит на все это дело.

– Все как-то само собой вышло, – прибавила женщина. – Я от страха ничего ему не сказывала, он все сам говорил и все спрашивал: так ли? А я еле живая поддакивала. И на конец того он мне и говорит: – «Спасибо тебе, Авдотья, за всю твою правду сущую. Ты человек правдивый, богобоязный. И я не забуду этого». Ну, я от него, как из угара, на двор выкатилась!

Шумский, слушая мать, ухмылялся ядовито, потом качнул головой и поднялся порывисто с места. Походив, он вымолвил:

– Ну, матушка, пускай будет по-ихнему до поры до времени.

– Вот это ладно, золотой мой, – обрадовалась Авдотья. – Что проку себя губить. Все опять по-старому и пойдет.

– Да, по-старому! Но не надолго. Будет на моей улице праздник!

Когда на утро Шумский велел доложить о себе графу, тот приказал ему явиться в сумерки и снова продержал перед дверями около двух часов.

На этот раз, однако, со стороны Аракчеева не было ни прихоти, ни издевательства. У него было несколько военных из Новгорода и из Петербурга с докладами.

Приняв старших офицеров и более крупных чиновников, Аракчеев позвал к себе молодого человека. На этот раз он не посадил его и, не глядя на него, сидел, уткнувшись в бумаги лицом.

– Надумался? – выговорил он сухо. – Ну, сказывай коротко, что мне с тобой делать?..

Шумский, стоя в нескольких шагах от него и с ненавистью меряя глазами его фигуру, заговорил тихо, но твердо. Слова его говорили одно, а голос совершенно другое. Он чувствовал это. Аракчеев также почувствовал. Отенок голоса молодого человека говорил ясно, что он лжет, рисуется своей ложью и презирает причины и людей, заставляющих его лгать.

– Я размышлял и согласился, – говорил Шумский. – Я меньше, чем кто-либо могу знать, чей я сын. Коль скоро женщина, которая объяснила мне все, отказывается от своих слов, то и я должен переменить образ мыслей. Я прошу вас извинить меня за причиненное беспокойство, но вместе с тем у меня есть до вас важная просьба. Есть одно дело, о котором я вам уже говорил. Если оно устроится, я буду счастлив на всю жизнь. Я, может быть, стану другим человеком...

При последних словах голос Шумского изменился и из лживого стал искренним.

– Если устроится то, о чем я давно уже мечтаю, я буду самый счастливый человек, а в этом вы, конечно, можете помочь хотя бы несколькими словами. Если это дело не устроится, то мне тогда, говорю по совести, будет все равно, что со мной ни случись. Тогда мне и Сибирь, и солдатство не страшны, тогда я своим поведением сам заслужу быть в солдатах.

Аракчеев, молчавший и не поднимавший лица от бумаг, поднял голову к Шумскому и взглянул на него вопросительно.

В первый раз в эту минуту Шумский увидел и заметил перемену в лице Аракчеева.

«Эге! Даром-то не обошлось! – подумал он. – Сам-то ты видно поверил, что двадцать

лет нахально надували тебя!...»

Но помимо легкой перемены в лице графа Шумский увидел и почувствовал, что Аракчеев смотрит на него совершенно иным взглядом, в котором были и ненависть, и презрение.

«Я знаю теперь, – говорил его взгляд, – что ты мне совершенно чужой человек, крестьянский мальчишка и подкидыш. Ты мне тем ненавистнее, что сам раскрыл мне глаза на подлое поведение женщины, мной любимой».

И покуда Аракчеев стеклянными глазами упирался в Шумского, этот многое, как в книге, читал на его лице и читал, казалось ему, безошибочно.

После небольшой паузы Аракчеев выговорил резко:

– Какое дело? Сказывай!

– Я уже говорил вам в Петербурге, что хотел бы жениться на баронессе Нейдшильд...

– Отличное дело! По крайности перестанешь пьянствовать и празднично шататься.

– Я должен доложить вам, что объяснялся с бароном неофициально, так как еще не имел вашего разрешения, а так в разговоре намекал. Барон принял мое предложение под условием вашего согласия, конечно...

– Я согласен.

– Но затем, – продолжал Шумский, – когда фон Энзе распустил по всему Петербургу известие о том, что я не сын ваш, когда это дошло до барона Нейдшильда, он написал мне письмо, в котором на основании этого известия наотрез отказывается мне. Если вам угодно, я представлю это письмо.

– Мерзавцы! – тихо, но резко и озлобясь, произнес Аракчеев.

– Вот я и не знаю как теперь быть? Теперь все рухнуло. Барон поверил так же, как и я, во все, и помимо вас, конечно, никто не может убедить его в противном. Если вы не пожелаете вступить сами в это дело, то, конечно, ничего не будет, и барон выдаст дочь насильно замуж за улана фон Энзе.

– Ну, это мы увидим! – выговорил с угрозой Аракчеев. – Через несколько дней я вернусь в Петербург и примусь за этого старого дурака по-своему.

– Стало быть, я могу надеяться на ваше заступление?

– Веди себя благоприлично и все устроишь, а теперь нечего тебе сидеть в Гру зине. Выезжай сегодня же в столицу, перевидай всех своих знакомых и приятелей и путных, и беспутных, коих у тебя, наверное, много больше, и всем им сам рассказывай, какую про меня и про тебя мерзость сочинили. Не жди, чтобы тебя спрашивали. Только виноватые ждут опроса. Сам заговаривай! Чести улана подлым вралем и клеветником. Я, знаешь, против всяких соблазнов и буйства, против поединков, но, если бы ты мог за дело взяться горячо и, заступившись за честь Настасьи Федоровны, проломил бы голову этому фон-барону... то хорошо бы сделал.

– Спасибо за разрешение, – выговорил Шумский, невольно улыбаясь. – Я уже три раза вызывал фон Энзе на поединок, но он отвертелся. Теперь я надумаю что-нибудь такое, что он не отвертится.

– Прямо говори всякому, – продолжал Аракчеев, видимо занятый какой-то мыслью, – говори: за честь родной матери заступаю. Ну, собирайся! Наутро же можешь выехать, а я дня через три, четыре буду тоже.

Шумский поклонился и хотел двинуться.

– Денег нужно? – пробурчал Аракчеев, уже снова глядя в бумаги.

Шумский молчал.

– Слышал?..

– Слышал-с, – тихо отозвался Шумский.

– Ну?!..

– Нет-с.

– Что же? Много еще есть? Старых осталось?

– Да-с, – вымолвил Шумский и по голосу его ребенок догадался бы, что он лжет.

– Что же это? Артаченье опять? Ведь у тебя, поди, ни копейки нет? Только долги.

Шумский молчал.

Какой-то внутренний голос говорил ему, что он уже достаточно много допустил сделок со своей совестью за эти три дня. Этот голос как бы запрещал ему согласиться взять денег. Давно ли он думал, что ему нужно, ворочаясь в Петербург, жить на одном жаловании офицера, а теперь снова начинается то же самое.

Между тем, Аракчеев взял лист бумаги, перо и писал поперек листа крупным почерком. Затем он расписался, расчеркнулся и, обсыпав лист песком, протянул с ним руку к Шумскому.

Этот взял лист и, глянув на него, увидел распоряжение в вотчинную контору о выдаче ему тысячи рублей ассигнациями.

Взяв бумагу, Шумский понурился, подавил вздох, как если бы с ним сделали нечто обидное, что отомстить он не в состоянии. Он знал, что должен тотчас же поблагодарить графа и поцеловать у него руку, как делывал прежде, но чувствовал, что не может даже произнести слова «спасибо».

– Ступай! Мне некогда, – выговорил Аракчеев, как бы желая сам прекратить неловкое положение.

Ворочаясь к себе, Шумский вдруг вспомнил нечто удивительное и сразу остановился среди какой-то комнаты.

– А к ней не послал? – прошептал он вслух. – К ней прощения просить не послал! Стало быть понимает, что я все-таки не на всякую гадость способен. Он понял, что на это я бы не согласился. Да не знаю пошел ли бы я просить прощения у достоуважаемой и достопянной Настасьи Федоровны. Даже для Евы не знаю пошел ли бы... И он понял это. Стало быть, умнеть начал наш граф.

Наутро часов в восемь дорожный экипаж с ямскими лошадьми уже стоял у подъезда. Люди таскали вещи, а Шваньский, упорно за все свое пребывание не казавшийся никому на глаза, снова появился на свет Божий, весело двигался и командовал людьми.

Фигура и лицо его были далеко не те, что по приезде. Это был снова прежний Шваньский – молодец на все руки. Даже люди, исполнявшие его приказания, заметили перемену и кто-то из них выразился:

– Ожил наш Иван Андреич! Знать все к благополучию потрафилось.

Действительно, если было теперь вполне счастливое существо в Гру зине, плакавшее от радости, то это была Авдотья Лукьяновна, но у нее радость и счастье выразились тихо и даже боязливо. После же нее самый счастливый человек, оживший, быстро ходивший, громко говоривший, чуть не прыгавший от радости, был Шваньский. Он ликовал за патрона, но и за себя самого.

За час перед тем Шумский, увидевший своего Лепорелло, невольно озлился на него, как бы устыдясь своего поведения.

– Чему радуешься, дура, – вымолвил он грубо.

– Как же не радоваться, Михаил Андреевич? Помилуйте! С ума спячу от радости. Целый год буду от зари до зари радоваться.

– Ну нет, сударь мой, коли хочешь радоваться, так радуйся поскорей. Поспеш! Года я тебе на это не дам.

– Как же так? – опешил Шваньский.

– Так. Радуйся скорей! Придется тебе опять печалиться.

– Ну вот, Бог милостив, не будет этого, – отозвался Шваньский, принимая слова патрона за пустую угрозу.

Уже готовый к отъезду Шумский со шляпой в руках, даже нацепив саблю и надев перчатку на левую руку, вдруг собрался отправиться к Минкиной.

«Подобает мне ее лицезреть или мордозреть, – пошутил он, злобно усмехаясь. – Сделаю уступочку дуболому, а сударыне-барыне – вежливость. Лжесыновний долг мой перед отъездом явиться к ее сиятельству Аракчеевской графине, у коей братец есть

любимый, коему званье не графчик, а графинчик!»

Войдя в первую горницу Минкиной, нечто в роде гостиной, Шумский послал горничную сказать, что пришел проститься. Настасья Федоровна тотчас же вышла к нему навстречу, но, сделав несколько шагов, остановилась.

Перед ней стоял нахально улыбающийся офицер. Это был гость, явившийся издеваться. Едва только женщина вошла в комнату, как Шумский шаркнул ногой, звякнул шпорами и баловнически наклонил голову на сторону.

Во всей его фигуре была неприличная любезность хлыща, будто приглашающего сомнительную даму на танцы. Довести издевательство и глумление далее было невозможно. Даже Минкина почуяла, какие офицеры и с какими женщинами так ведут себя.

– Честь имею, фрейлен, представиться и откланяться, – проговорил Шумский певуче. – Еду в Санкт-Петербург. Не будет ли каких поручений? Осчастливьте!

Минкина слегка переменилась в лице, глаза ее загорелись гневом:

– Провались ты на первом мосту! Издохни на полдороге! – проговорила она глухо и, повернувшись спиной, пошла из комнаты.

– *Après vous, madame!*⁷ – предупредительно и снова шаркая ножкой, поспешил вымолвить Шумский ей вслед. Выйдя из комнаты, он прибавил однако:

– И за каким чертом я все это творю? Ведь это еще хуже. Уехал бы прямо, не прощаясь! Шел сюда, мысля уступочку графу сделать, а вместо того над канальей потешился. Точно будто кто-то властвует надо мной. Ох, Настасья Федоровна, уж как же я тебя люблю! Как я тебя люблю, один Бог видит!

Когда все было готово, Шумский послал доложить графу, что он едет. Вернувшийся лакей объявил, что граф «желают счастливого пути, принять не могут, не время».

Шумский спустился по лестнице в швейцарскую, затем сошел с подъезда и, подойдя к экипажу, уже занес ногу, но остановился.

«А мать?» – мелькнуло в голове.

Он забыл проститься с Авдотьей Лукьяновной.

«Да и она тоже... – подумалось Шумскому с досадой. – Провалилась куда-то. Могла бы прийти!...»

Он простоял несколько мгновений в нерешительности, а затем досадливым движеньем сразу влез в экипаж. Шваньский быстро вскочил вслед за ним. Столпившаяся кругом дворня кланялась со всякого рода пожеланиями.

– С Богом! – выговорил Шваньский ямщику. Лошади тронулись, а Шумский рассмеялся и выговорил:

– Отсюда с Богом, конечно. Вот сюда с Ним никому не дорога!

XIX

На этот раз переезд Шумского из Гру зина в Петербург не был простым путешествием. Он не ехал, а скакал, летел, сломя голову.

Шваньский от природы замечательный трус, сидел все время, как в воду опущенный. Он ожидал каждую минуту, что экипаж очутится где-нибудь в овраге или в канаве кверху колесами. Сидя рядом, Шумский и его Лепорелло не говорили ни слова между собой. Только изредка, когда они неслись чересчур шибко, Шваньский, не стерпя страху, заговаривал:

– Пожалуй, Михаил Андреевич, как раз колеса рассыпятся? – заявлял он вдруг тихим, как бы ласковым, голосом.

– Ну, и рассыпятся, – отзывался Шумский равнодушно.

– Михаил Андреевич! – внезапно через час или два тревожно произносил Шваньский. – Если теперь на всем скаку да упади пристяжная, то прямо под экипаж. А мы на нее и набок.

⁷ После вас, мадам! (фр.).

Что тогда будет?

– Скверно будет! Отстань! – однозвучно отзывался Шумский.

На всех станциях при перемене лошадей Шваньский, расплачиваясь на дворе, тайно наказывал новому ямщику ехать осторожнее. Но Шумский при отъезде приказывал гнать. Экипаж снова летел вихрем, и Шваньский, снова сидя на чеку и не выдержав, вдруг прерывал молчание.

– Уж вот, если, Михаил Андреевич, помилуй Бог, шкворень выскочит... Все вдребезги! И от нас даже ничего не останется!

– От меня останется, – совершенно серьезно отзывался Шумский.

И весь день Иван Андреевич замирал от боязни и ждал ночи, надеясь, что когда совсем стемнеет, Шумский не будет гнать. Выезжая с одной станции уже часов в семь вечера, Шумский снова крикнул новому ямщику:

– Валяй во весь дух! Целковый на чай!

– Михаил Андреевич! – отчаянно возразил Шваньский. – Помилуйте! Ни зги не видать!

– А какого тут черта видеть? Какую тебе згу надо? – отозвался Шумский.

И всю ночь, не смотря на полную тьму от облачного неба, они ехали все-таки крупной рысью и вскачь.

Шумский почти всю ночь не спал от томительных дум и изредка вздыхал. Он думал и передумывал одно и то же. Мысль, что он уступил Аракчееву из-за баронессы или, вернее, вследствие своего объяснения с Пашутой, не выходила у него из головы. Не скажи Пашута, что Ева любит его, конечно, он теперь ворочался бы в Петербург совершенно в иных условиях.

– Уступил! Спасовал! Что делать? Отвоюю и возьму Еву, тогда только держись граф Алексей Андреевич! А покуда я пас.

Зачем скакал Шумский, он сам не знал. Особенного спеху не было. Прежде он боялся, что вдруг узнает о свадьбе Евы с уланом, теперь он верил тому, что сказала ему Пашута. А она сказала прямо: «Не пойдет она за него!»

Тем не менее, Шумскому хотелось бы как можно скорее в Петербург.

Теперь, думая о том, что делать по приезде, Шумский решил, что прежде всего нужно драться с фон Энзе. Положение их обоюдное было буквально то же, что и месяц назад. Но как заставить фон Энзе драться? Как прежде, так и теперь, Шумский не мог ничего придумать.

«Застрелить, что ли, его? – думал он. – Теперь я имею разрешение этого идола проломить башку улану за клевету. Ну, а я вместо пролома сделаю прострел! Небось заступится, выгородит!»

Но, обдумывая подобный поступок, Шумский, когда-то уже покушавшийся на жизнь улана, теперь не находил в себе силы решиться на простое убийство.

Тогда он решился на это, будучи в каком-то тумане или опьянении от злобы. Теперь он сознавался себе, что не сможет снова взять пистолет и стрелять в беззащитного врага.

«Как же быть? Что делать?» – сотни раз мысленно повторял Шумский и глубоко вздыхал.

Как-то на рассвете, покуда перепрягали лошадей, Шумский вдруг вздохнул с таким страданием внутренним, что Шваньский не выдержал.

– О чем вы тужите так, Михаил Андреевич? Все слава Богу.

– А ну тебя, дура! – отозвался Шумский нетерпеливо.

– Вестимо, слава Богу! Я вот просто ожил, когда увидел, что все дело обернулось пустяками. Оказалось все сочинительством Авдотьи Лукьяновны.

– Скажи еще раз такое же, и я тебя выкину из экипажа, как кулёк среди дороги! – вскрикнул Шумский. – Понял? Да и на глаза не пущу, когда придешь пешком домой. Сочинительство? Нет, я, слава Богу, от женщины родился, а не от псы!..

И с этой минуты они промолчали почти вплоть до Петербурга. Раза два или три Шваньский принимался было заговаривать о пустяках, но Шумский только отзывался тихо и

кратко: «Молчи».

Когда дорожный экипаж был уже в Большой Морской и остановился перед подъездом квартиры, там оказалась мертвая тишина. Даже ставни были все заперты. Шваньский, вышедший вперед, едва достучался в ворота.

Дворник дома отворил ворота, ахнул при виде экипажа и заявил, что в дом войти нельзя, так как в нем никого нету. Из трех людей, которые были оставлены при квартире, не было ни одного. Все они, по словам дворника, пропадали от зари до зари.

– А Марфуша? – воскликнул Шваньский.

– Оне-то завсегда сидят, но теперь вышли, должно быть, в лавочку.

Шумский, собиравшийся войти к себе через подъезд с улицы, вошел во двор и уже приказал ломать дверь в сени, но в эту минуту появилась Марфуша, запыхавшись и бегом.

Шумский, увидя девушку, присмотрелся к ней каким-то странным взором. И сама она, и Шваньский ждали гнева и брани, но барин ласково улыбнулся и выговорил:

– Ай да Марфуша! Ай да хозяйка! Шатаешься по кварталу, кутишь! Что же теперь жених-то твой скажет. Ну, вдруг откажется!

Марфуша покраснелась, боязливо приглядываясь к обоим. Она тотчас же отворила дверь ключом, вынутым из кармана, и впустила барина. Но в ту минуту, когда он входил в растворенную дверь, он вдруг обнял девушку, поцеловал в щеку и вымолвил шутя:

– А откажется, наплевать! Другого получше найдем.

Шваньский при виде внезапно происшедшего растопырил руками и испуганно удивился, но затем лицо его тотчас же прояснилось. Он рассмеялся и, входя вслед за Марфушей, вымолвил тихо ей на ухо:

– Вот так поздоровался! Поди раскуси! Не то к добру, не то к худу... Кажется, уже я, с ним живя, наудивлялся досыта, а вот опять удивил!

Марфуша, по-видимому, очень довольная ласковой шуткой барина, принялась весело хлопотать, и через полчаса Шумский уже пил чай у себя в спальне. Два лакея будто почуяли прибытие барина и явились тоже. Один из них был тотчас же послан к Квашнину просить его немедленно приехать.

Едва только Шумский принялся за чай, как Марфуша явилась с докладом о том, что было на квартире за отсутствие барина. Все, что она докладывала, было так мало интересно, что Шумский почти не слушал, а глядел на девушку и думал то же, что всегда приходило ему на ум при виде Марфуши:

«Удивительное сходство!» – повторял он мысленно и, наконец, произнес это вслух.

Девушка, не получая никакого ответа на свой доклад, все-таки продолжала:

– А еще был у нас, Михаил Андреевич, улан...

– Какой улан?.. – оживился Шумский. – Когда?! Ах ты, глупая! Болтаешь всякие пустяки, а этого не сказываешь!

– Я по порядку, Михаил Андреевич! – смело отозвалась Марфуша. – По порядку как что было. А улан был дня тому два либо три.

– Какой улан? Каков собой?

Марфуша описала внешность улана, и Шумский ясно узнал по ее описанию приятеля фон Энзе Мартенса. Но на все вопросы Шумского Марфуша не могла отвечать ничего. Улан было спросил: «Дома ли господин Шумский?» – и, узнав, что он в Гру зине, тотчас уехал.

Шумский был озадачен. Появление Мартенса у него на квартире имело огромное значение. Важнее этой вести он не мог узнать в Петербурге! Важнее этого могло быть разве только одно: скоропостижная смерть фон Энзе.

– Фу, ты черт! – воскликнул Шумский нетерпеливо. – И подумать, что раньше завтрашнего утра я не узнаю, зачем он был!

И невольно смущаясь, сомневаясь, он снова закидывал Марфушу вопросами, на которые ей нечего было отвечать, и снова заставлял девушку описывать фигуру улана. И снова оказывалось, что заезжий улан был положительно никто иной, как Мартенс.

Весть, которая сначала заставила Шумского угрюмо задуматься, вскоре же затем вдруг

его развеселила:

– Это к добру, – решил он. – Есть что-нибудь новое и такое новое да такое доброе, что фон Энзе сам ко мне в руки лезет. Что, если барин уже успел за эти дни написать фон Энзе такое же послание, какое я получил...

И Шумский при этой мысли невольно рассмеялся.

– Да, есть что-то новое в Питере, а теперь в моем положении новое может быть только хорошее.

Через час явился Квашнин и, узнав от друга все подробности его пребывания в Грузии и последствие его объяснений с Аракчеевым, искренно, глубоко обрадовался. Он тоже повторил буквально слова Авдотьи Лукьяновны, как если бы слышал их.

– Слава Богу! Все по-старому и пойдет.

Разумеется, Шумский тотчас же передал Квашнину свое прежнее неуклонное намерение заставить фон Энзе драться во что бы то ни стало и рассказал про диковинный визит Мартенса.

Друзья проговорили до поздней ночи обо всем и условились. Квашнин обещался другу побывать у Мартенса, чтобы узнать, зачем он заезжал, но вместе с тем, если ничего серьезного не окажется, то со своей стороны в качестве уполномоченного снова предложить поединок.

Наутро Шумский, поднявшийся довольно рано, бодрый и веселый бродил по всем комнатам, заговаривая и шутя со всеми. Давно ли он был совершенно несчастный человек, сраженный одним словом, брошенным ему в лицо в ресторане. Теперь он привык к тому, что было для него ударом, раной самолюбия. Теперь он думал и глядел на все дело так же, как посмотрела на все Авдотья Лукьяновна, сама баронесса и даже Пашута.

Шумский удивлялся невольно, каким образом женщины, из коих одна простая крестьянка, с первой же минуты решили дело гораздо проще. Он презрительно и злобно отнесся к их точке зрения, а теперь сам убедился, что так и надо смотреть.

«Чем же приемыш или воспитанник хуже, нежели незаконный сын? – думалось Шумскому. – А что нет во мне крови графа Аракчеева или мещанки Настасьи Минкиной, так и слава Богу! Простая крестьянская кровь почище Минкинской и Аракчеевской! Среди предков Авдотьи Лукьяновны и отца были, вероятно, все добрые, усердные мужики, не гонители, а из рода в род гонимые. А среди предков графа Аракчеева, небось, не оберешься всякого зверья!»

Помимо примирения со своей долей Шумский чувствовал себя счастливым вследствие двух важных причин. Во-первых, в Петербурге, по уверению Квашнина, о свадьбе Евы с фон Энзе не слышно. Многие даже считают это выдумкой. Во-вторых, посещение Мартенса обещало что-то... Быть может, вызов.

Около полудня Шумский начал уже нетерпеливо приглядываться к часам. Квашнину пора было ехать. Наконец, он увидел друга, подъехавшего к крыльцу.

– Ну что?.. – встретил он его в передней. – Видел Мартенса?

Квашнин сбросил шинель, поздоровался с приятелем и тотчас же развел руками.

– Не томи! Видел?

– Видел...

– Ну?..

– Поединок...

– Ура!..

И Шумский подпрыгнул, как школьник.

– Да. Только погоди радоваться. Тут что-то дело нечисто.

– Как нечисто? От имени фон Энзе предложил он?

– А вот пойдем, расскажу.

Когда друзья были в спальне, Квашнин обстоятельно передал свой визит к Мартенсу, и действительно, и Шумскому показалось во всем что-то темное.

Оказалось, что когда Квашнин явился к улану справиться, зачем он заезжал к

Шумскому, Мартенс серьезно, важным и холодно официальным тоном объяснил Квашнину, что его друг фон Энзе считает поединок между ним и Шумским неизбежным. Но что все обстоятельства дела крайне запутаны, а все дело очень сложное и не поддается простому решению.

Удивленный Квашнин заявил улану свое предположение прежде всего, как самую естественную вещь, что вероятно оба они боятся иметь дело с названным сыном графа Аракчеева, опасаясь просто пострадать, попасть в крепость, а то и хуже – быть разжалованным в солдаты.

Мартенс отнесся к этому предположению высокомерно. Он отвечал, что как ни силен граф Аракчеев, но что они двое в качестве не русских, а остзейцев, имеют свою протекцию при дворе и у особы государя. Что, если граф Аракчеев станет мстить им за Шумского, то найдутся люди, которые возьмут их сторону.

И Мартенс объяснил, что затруднение заключается совершенно в ином. Когда-то фон Энзе имел неосторожность дать честное слово ни под каким предлогом не драться с Шумским, как с человеком непорядочным, имеющим постыдную репутацию блазня общественного. Теперь он сам хочет драться с Шумским, но является дилемма: и идти на поединок, и сдержать данное слово.

Единственное средство, которое они с фон Энзе придумали, заключается в том, чтобы найти такую форму поединка, которая бы не была обыкновенным поединком. Тогда фон Энзе может драться, не изменив своему честному слову.

В тот же вечер Мартене обещал приехать к Квашнину вместе с другим офицером, тоже остзейцем бароном Биллингом. Он просил Квашнина пригласить к себе то лицо, которое Шумский выберет вторым секундантом. Вместе им предстояло обсудить форму и детали поединка соперников.

На этом объяснение их и кончилось. И теперь Квашнин имел полное право сказать Шумскому, что все затеянное уланами – темное дело.

– Да, правда, – выговорил Шумский, подумавши. – Ни черта не поймешь! Хочет так драться, чтобы не драться! Такой поединок, который бы был не поединок! Черт их знает! Не знай я фон Энзе, подумал бы, что все балаганная комедия, а ведь он малый дельный и честный.

– А вот вечером увидим! – решил Квашнин.

– Да, остается только сказать противное тому, что говорил Иисус Навин. Луи солнце и валяй луна!

– Ты говори лучше, кого мне позвать к себе в качестве твоего второго секунданта? – сказал Квашнин.

– Понятное дело капитана, если он не побоится, – заявил Шумский.

– Побоится, но не сморгнет!

XX

Часа через два друзья расстались. Шумский отправился к капитану Ханенко. Визит этот напомнил ему его прежнее посещение. Капитан был точно так же в халате, с трубкой, точно так же подпоясан офицерским шарфом с истрепанными серебряными кистями и точно так же дымил, как фабричная домна.

Он точно так же радушно встретил Шумского, разговаривая, лукаво поглядывал и при всем нежелании играть роль секунданта все-таки согласился. Он обещал быть в тот же вечер у Квашнина.

На вопрос Шумского, какое мнение хитрого и дальновидного хохла насчет темных речей Мартенса, Ханенко развел руками.

– Немцы хитрее нас, – сказал он. – Да и вообще русский человек прост. Всякий европейский житель что-нибудь выдумал, а русский человек ничего еще не выдумал. Вон немец обезьяну выдумал! Это всем известно, кроме его самого. Англичанин – бифштекс,

гишпанец – гитару, итальянец – макароны, голландец – червонец, француз – много чего выдумал, не перечить! Только все пустяки, американец сплеховал, даже собственного языка не придумал, на чужом болтает. А вот русский человек, как есть, ничего не выдумал. Сказывают, будто самовар изобрел. Вещь хорошая, а все-таки чайник с кипятком сейчас бы его должность исправлять мог...

– Да бы не шутите, капитан, – перебил его Шумский, – а скажите, что вы думаете.

– А вот ввечеру узнаем.

– Да меня нетерпение берет.

– Что делать! Потерпите.

Шумский покинул капитана и с окраины Васильевского острова двинулся через весь Петербург к Литейной.

Посторонний человек, взглянув теперь на его довольное, улыбающееся лицо, никогда не поверил бы, что этот человек накануне серьезного поединка.

По мере того, что Шумский приближался к Литейной, лицо его становилось веселее. Ему предстояло нечто очень приятное.

Он поехал в магазин военных вещей к тому самому немцу, у которого когда-то оставил портрет Евы. Много раз вспоминал Шумский об этом портрете, но не брал его. Одно время он даже решил совсем не брать его. Пускай остается у немца и пропадает! Пускай будет ничьим!

Мысль, что Ева могла отдать нечто, над чем он с такой страстью работал, отдать его же сопернику, была ему оскорбительна и тяжела. Он не знал, как фон Энзе добыл этот портрет.

Разумеется, немец-магазинщик сберег переданное ему сокровище в целости.

Толстый лист бумаги, свернутый в трубочку, оказался на том же месте, в том же комодке, как был положен когда-то, и ключ от ящика все время тяготил карман и душу добросовестного германца. Теперь, увидя Шумского и узнав, что он избавит его от порученного сокровища, Аргус поневоле просиял.

– А что бы было, – шутя заметил Шумский, взяв портрет, но не разворачивая его, – что бы было, если бы я оставил это у вас навсегда?

– О, Herr ⁸ Шумский! Помилуй Бог! Это было бы schrecklich, ⁹ очень трудно берегайт чужая дороговизна!

– Как дороговизна? – воскликнул Шумский.

– Ну, чужая, дорогая предмет.

Шумский весело рассмеялся и, поблагодарив аккуратного и добросовестного немца, обещал сделать на днях большой заказ на столько из нужды, сколько из благодарности к одолжению и поехал к себе.

На Большой Морской он снова зашел в другой магазин и велел при себе вставить портрет в великолепную раму. Будучи свободным и не зная, что делать, он просидел в магазине до тех пор, покуда все не было готово.

Когда приказчик из другой горницы вынес портрет уже в рамке, выражение лица Шумского изменилось. На него глянул из-за стекла прелестный образ той, которую так удачно окрестила Авдотья Лукьяновна, назвав «серебряной царевной». Как много воспоминаний сладких, бурных, горьких колыхнулось в душе его! Теперь в первый раз Шумский, разглядывая портрет как бы посторонний человек, должен был мысленно согласиться, что работа была великолепная. Недаром он с такой страстью, с таким увлечением рисовал этот портрет!

И вдруг ему пришло на ум странное заключение: что было бы, если б он остался крестьянским мальчишкой и если бы пьяная Настасья не отняла его у матери. Если б

⁸ Господин (нем.).

⁹ ужасно (нем.).

обстоятельства сложились так, что он стал бы рисовать, учиться и сделал бы искусство целью своей жизни. Почем знать, быть может, теперь он был бы известным художником и был бы счастлив.

«Все вздор! – подумал, наконец, Шумский. – В каких бы я обстоятельствах ни находился, я бы никогда счастлив не был. Всегда бы презирал все, что возможно, что под рукой, и страстно желал бы того, чего невозможно или достижимо путем преступников и преступлений закона».

Вернувшись к себе, Шумский поставил портрет боком на подоконник, сел против него в нескольких шагах и, глядя на него, продолжал раздумывать. Наконец, вдруг внезапная мысль пришла ему. Он вышел в коридор и крикнул Марфушу. На его зов явился один из двух лакеев, и он велел послать к себе девушку, которая в доме его уже носила название экономки. Через несколько минут к нему в спальню явилась Марфуша, а за ней Шваньский.

– Это что такое? – весело вымолвил Шумский. – Ты зачем пожаловал? – обернулся он к Шваньскому.

– Я полагал-с... что вы нас обоих требуете, – с какой-то кислой физиономией выговорил Шваньский.

– Не полагай в другой раз, а то я рассержусь и положу...

Шумский запнулся, а затем сострил настолько грубо, что Марфуша вся вспыхнула, а Шваньский по обыкновению своему весь съежился.

– Ну, пошел вон! И в другой раз не рассуждай и не полагай!

И затем, когда Шваньский снова скрылся, Шумский ради шутки подошел к двери и запер ее на ключ.

– Зачем вы это делаете? – выговорила вдруг девушка.

– Ивана Андреевича твоего попугать! – тихо проговорил Шумский.

Он сел в то же кресло и вымолвил:

– Иди, становись вот тут у окошка. Стой вот так... смотри сюда...

И поставив девушку рядом с портретом, Шумский стал по очереди смотреть на оба лица: живое и нарисованное.

Марфуша, на секунду взглянув на стоящий портрет, тоже несколько удивилась. Ей самой показалось, что будто она взглянула не на живопись, а в зеркало. Ей показалось, что в раме отразилось ее собственное лицо.

– Чудно это, барин, – вымолвила она. – Картинка-то эта с такими же волосами, как у меня.

– Помолчи! – добродушно отозвался Шумский. – Дай мне поглядеть и добиться, в чем тут штука.

– Как тоись?

– Молчи! Не твое дело.

И Шумский стал переводить глаза с портрета на девушку и с нее на портрет. И действительно, между портретом, который был очень похож на баронессу, и Марфушей не было ничего общего в чертах лица. А вместе с тем было что-то бросающееся в глаза в смысле сходства.

Волосы Марфуши были темнее, глаза не так глубоки, не так красивы. В губах, во рту девушки не было и тени той неуловимой прелести, которая была в слегка раскрытых губах Евы. Наконец, у Марфуши не было в лице той кротости, изящной простоты, а, вместе с тем, в глазах какого-то сочетания детской наивности с детской строгостью.

– Ну, теперь смотри... – выговорил Шумский. – Красивая барышня?..

– Картинка. Таких и не бывает на свете, – отвечала Марфуша, разглядывая портрет. – Красавица! А я, дура, знаете ли чему удивилась! Покажись мне, как я вошла, что я себя увидела, что вы на окно зеркало поставили. Ан выходит, тут нарисовано. А волосы-то, все-таки, совсем как у меня, да и глаза...

– Да, – рассмеялся Шумский. – В темноте ты за нее пройдешь. Ну а днем по пословице: «Далеко кулику до Петрова дня».

Шумский вдруг задумался глубоко и забыл, что Марфуша, уже разглядев портрет, стоит перед ним в ожидании приказа выйти. Придя в себя, он удивился и чуть-чуть не спросил у девушки, что ей нужно.

– Ну, что же стоишь? Уходила бы.

– Я не смела. Да и дверь заперта.

– Отопри, да и уходи.

– Да ведь эта вы так сказываете, – заметила Марфуша, – а поди-ка иной раз сделай что без вашего приказанья, так вы убить можете.

– Вот как? – выговорил Шумский, несколько озадаченный. – Скажите, пожалуйста, какого ты куражу набралась! Смеешь этак разговаривать! Ты, стало быть, меня не боишься?

– Я-то? – усмехнулась Марфуша. – Что делать, по правде скажу...

И она смолкла.

– Ну говори?

– По правде скажу, только не сердитесь и не обижайтесь.

– Да ну, ну говори!

– Я, стало быть, вас, Михаил Андреевич, насчет того, чтобы бояться, ни капельки то есть не боюсь. Вы не обижайтесь.

Шумский весело расхохотался.

– И почему я так думаю, сама не знаю. Хотя вы со мной раз худое сделали, чуть было не утомили ради потехи, а все-таки я вас теперь не боюсь. Опаивать меня вы опять не будете, потому в этом нужды теперь нет. Драться со мной, знаю, не станете. Эка невидаль! Девушку исколотить, ей лицо испортить. Этого и мужик не сделает... А больше вы ничего со мной сделать не можете...

– Ну, не хвастись! Не ручайся, Марфуша! На грех мастера нет! Бывали такие-то, хвастались да обожглись.

– Не знаю-с, а по мне так. Не боюсь и шабаш. Позвольте выйти?

– Иди.

Но когда Марфуша была у двери, Шумский снова позвал ее.

– А когда же ваша свадьба со Шваньским?

– Не знаю. Это не мое дело.

– Как не твое дело?

– Вестимо. Это Иван Андреевич должны положить.

– Да ты-то рада за Ивана Андреевича замуж выходить?

– Они меня просят.

– Знаю. Но ты, может, за другого бы кого пошла помоложе да показистее. Ведь Иван-то Андреевич – мухомор!

– Как можно! Они добрые.

– Да ведь и мухомор добрый. Ты, может, против воли за него идешь, чтобы только пристроиться? Скажи по правде?

– Не знаю, – тихо произнесла Марфуша, потупляясь.

И Шумский вдруг встрепнулся. Те же слова, та же интонация голоса, тот же жест... Перед ним на мгновение появился другой образ: это стояла и говорила не Марфуша, а Ева.

– Фу ты, черт! – вырвалось у него невольно. – Наваждение какое-то! Ну уходи, а то, право...

Шумский не договорил, улыбнулся как-то странно и, отвернувшись от девушки, стал смотреть в окно.

– Ох, как вы меня испугали! – раздался голос Марфуши в коридоре.

Оказалось, что Шваньский был за дверями как бы на часах, карауля и подслушивая беседу патрона с невестой.

Марфуша, отперев дверь и выйдя в коридор, чуть не столкнулась с ним лоб в лоб.

Весь день Шумский с крайним нетерпением прождал своих приятелей-секундантов. Наконец, в десять часов Квашнин и Ханенко явились. Шумский вышел к ним навстречу и пытливо пригляделся к их лицам, стараясь по ним поскорее узнать результат совещания.

К его крайнему удивлению Квашнин выглядел весело и смешливо, а толстое лицо Ханенки расплылось в одну веселую усмешку, как если бы он приехал из театра, где прохохотал целый вечер.

– Что такое? – воскликнул Шумский, совершенно теряясь в догадках.

Квашнин пожал плечами и усмехнулся, а Ханенко захохотал на всю квартиру густым басом и промолвил:

– Черт в ступе! Вот что, Михаил Андреевич! Стоял свет и будет стоять, а ничего такого не приключится.

– Драться согласен? – выговорил Шумский, чтобы скорее узнать главное.

– Согласен! согласен! – заговорили оба.

– Слава Богу!

– Да вы не согласитесь, – прибавил Ханенко.

Когда все трое прошли в кабинет и уселись, Квашнин заговорил, рассказывая о свидании с Мартенсом и Биллингом, но начал тянуть, вдаваясь в загадочные подробности. Ханенко перебивал Квашнина, вставляя разные шуточки. Шумский понял по всему, что дело принимает какой-то забавно замысловатый оборот.

– Не томите меня! – выговорил он. – Скажите сразу, чего они хотят.

– Позвольте в двух словах скажу! – воскликнул Ханенко.

И капитан кратко и сжато изложил суть дела: так как с одной стороны, фон Энзе дал честное слово не драться с Шуйским и не может изменить данному слову, и так как с другой стороны, он находит необходимым и всей душой желает выйти на смертельный бой с соперником, то вопрос делается неразрешимым. И приходится ухитряться, чтобы выйти из затруднения. Поэтому секунданты предлагают особого рода поединок, при котором фон Энзе и Шумский драться, собственно говоря, не будут. Соперники и их секунданты соберутся в одно место, причем добудут какого-нибудь восьмилетнего ребенка и дадут ему серебряный рубль в руки. Каждый из соперников выберет орел или решетку. Ребенок три раза подбросит рубль, и только третий раз будет считаться. Тот кто проиграет, обязан в тот же вечер застрелиться сам.

Шумский, выслушав все, рассмеялся.

– Умно! Хитро! Вовсе не глупо! И действительно, действительно всякого иного поединка. По крайности один непременно на тот свет отправится. Только вот что... русскому человеку на эдакое идти мудрено.

– Вот и мы тоже сказали, – заметил Квашнин.

– А я даже сказал, Михаил Андреевич, – прибавил Ханенко, – что я три раза готов драться на всяком оружии, хоть на ружьях или на топорах, а на этакий поединок не пойду. Другой меня убьет, я тут, так сказать, не грешен, а самоубийцей быть грех.

– Грех грехом, – отозвался Квашнин, – и то, и другое равно грех. Я совсем с другой стороны смотрю. Обыкновенный поединок естественнее. Там я всячески стараюсь ненавистного мне человека похерить. Оно в некотором смысле даже удовольствие доставляет. Можно забыть, что сам в опасности. А тут извольте стараться для другого, для этого самого ненавистного человека. Извольте стараться его от себя избавить. Совсем как-то несообразно выходит. Чепуха!

– Нет, – задумчиво отозвался Шумский, – не чепуха! Оно умно! Я об этаких поединках слышал. Оно даже очень не глупо. Только по правде сказать я на это не могу идти. Мне даже кажется, что никакой русский человек на эдакое не пойдет.

– Ну вот, мы так и сказали, – воскликнул, оживляясь, Квашнин. – Мы сказали, что ты на это не согласишься.

– Чем же вы кончили?

– А вот пускай капитан рассказывает. Он тоже отличную штуку выдумал. И отказаться им нельзя.

– Что такое? – оживился Шумский.

– А вот извольте видеть, – заговорил Ханенко. – В чем вся сила? В чем затруднение? Так как вся сила в том, что господину улану нужна, чтобы «и овцы были целы и волки сыты», хочет он драться на поединке и в то же время хочет сдержать честное слово, данное в том, чтобы ни на что не драться. Я им и предложил передать г. фон Энзе, что если они что выдумали заморское, что есть и не есть поединок, дуэль, то у нас на Руси еще с Павловских времен, а то, почитай, и с Екатерининских, есть своего рода дуэль. В армейских полках на Украине то и дело, слышно, такие бывают. Кто это выдумал, не знаю. Может и русский человек, а может, тоже обычай из-за моря привезен. Слыхали вы, Михаил Андреевич, про кукушку?

– Кукушка! – выговорил Шумский. – Что-то такое знакомое, а что, право, не припомню.

– Кукушка, извольте видеть, – продолжал Ханенко, – не есть, собственно говоря, дуэль, а есть игра. Понятное дело такая игра, в которую не дети играют, а взрослые, всего больше офицеры. И в таких местах устраивают эту игру или зрелище, где нет никаких развлечений. Полагаю я, спяна да с тоски, когда полк стоит в какой-нибудь труппе, и выдумали гг. офицеры эту кукушку и себя, и товарищей потешать. Но так как г. фон Энзе честное слово мешает драться с вами по образу и подобию людей благовоспитанных и трезвых, то иного исхода нет. Надо согласиться на кукушку.

– Стойте! Вспомнил! – воскликнул Шумский, вставая. – Это в темной комнате «ку-ку» кричать?

– Точно так-с.

– Знаю, слышал. Ну что же? Отлично! Вот это по-русски! Это получше, чем их орел и решетка. На это я с удовольствием пойду. Это, пожалуй, много веселее и забавнее.

И Шумский стал среди комнаты и крикнул пронзительно:

– Ку-ку!

В ту же минуту Ханенко хлопнул в ладоши и крикнул:

– Трах!

И все трое рассмеялись, хотя Квашнин рассмеялся не вполне искренно. На лице его было написано смущение.

– Ну, что же они отвечали? – спросил Шумский, снова садясь.

– Очень были немчуры озадачены. Г. барон Биллинг заявил, что такой образ действий, конечно, нельзя считать поединком, а очень опасной нелепицей. А Мартенс сказал, что считает такого рода сражение только к лицу пьяным армейцам, а не гвардейским офицерам. На это мы ему заметили, что в Петербурге много раз бывала кукушка да, надо полагать, и вперед будет. Тут, по крайности, самоубийства нет и глупая индейка судьба никакого действия не имеет. А что такое – ребенок будет рубль серебром под потолок бросать. Глупость! А тут немалая смелость тоже нужна. Кто дрался, рассказывает, что когда приходится кричать «ку-ку», то совсем бывает язык прилип к гортани, а голос драже, как в лихорадке.

– Но все-таки, – заговорил Квашнин, – они оба порешили, что фон Энзе согласится на этот поединок, так как иного исхода нет. Мартенс заявил, что считает «кукушку» дикой выдумкой труппных армейских офицеров, которая, смотря по условиям, или бойня или балаган, и что его друг на балаганство не пойдет. Следовательно, надо обсудить и обдумать все подробности заранее.

– Конечно дело! – воскликнул Шумский. – Вы жару и наддайте. Небось, у нас из голубушки кукушки комедии не выйдет. Что они ни пожелают, я заранее на все согласен, а вам даю полномочие устроить так, чтобы один из двух остался на месте. Бой на смерть, а не на потеху столицы.

– Кукушка – вещь чудесная, – выговорил, как бы смакуя, Ханенко. – Благородная вещь! А не их дурацкая выдумка самого себя убивать. Да и условия простые: кричать и палить.

– Надо все-таки подумать и что-нибудь забористое надумать, – сказал Шумский угрюмо. – Я простой «кукушки» не хочу. Кончим ничем – беда. Да и срам.

– Какую же вы хотите? – спросил капитан.

– По-вашему крикнул раз да и выпалил раз! Нет, капитан. Я на это не пойду. Да и фон Энзе не пойдет. Это в самом деле балаган будет, комедия.

– Чего же вы еще желаете? – удивился Ханенко. – Ну пожалуй, повторить можно, хоть до трех раз садитесь.

– Нет, садиться один раз, а иметь с собой за раз три пистолета, по малой мере два. Вот я как желаю. И чтобы времени было дано с четверть часа, а то и больше. Вот что-с. И затем хочу я, что коли у нас будет у каждого по два выстрела, то «ку-ку» кричать по одному разу и сейчас двигаться с места на удачу!

– Это же зачем?!. – воскликнули оба приятеля.

– Ну, уж это мое дело!

– Скажите! Мы же знать должны, – заявил Ханенко. – У нас они спросят объяснения вашего требования.

– Извольте. Я хочу, чтобы после этих, так сказать, подаваний голоса, наступил благодушный покой и мир. «Тишь да гладь, да Божья благодать». А чтобы на эту тишь да гладь был у меня лишний выстрел в запасе. Понятно, и у него тоже! Когда я его в темноте разыщу, тогда и шаркну в упор. Хоть четверть часа прошарю! Поняли?

Квашнин не понял сразу, но хитрый хохол сообразил тотчас же в чем дело, промычал и почесал за ухом.

– Понимё!.. – протянул он. – Ловко, Михаил Андреевич! Это вам кто-нибудь рассказывал, или сами надумали?

– Сам! – рассмеялся Шумский.

– Ловко! Ей-Богу. Это стало быть, когда наступит тишь да гладь, то распространится в горнице сильнейший и противнейший запах.

– Какой? – удивился Шумский.

– Смертью запахнет!

– Это верно, капитан.

– Да. И даже очень сильно пахнуть будет матушкой смертью одному из двух, а то и обоим. Это уже, стало быть, ваше собственное сочинительство, так сказать, усовершенствование обыкновенной кукушки. Пожалуй, что они на это не пойдут!

– Увидите, не посмеют не пойти! – вскрикнул Шумский. – Они вам что толковали. Не хотят быть посмешищем на весь город. Поэтому и надо нам не срамить русского изобретения. Немцы говорят, что это балаган. Ну вот, благодаря моему усовершенствованию балагана и не будет. Или его, или меня за ноги вытащут, либо мертвым, либо чуть живым.

Объяснившись еще подробнее ради своих полномочий, секунденты обсудили всевозможные мелочи. Обсудили даже те возражения, которые могут представить Биллинг и Мартенс.

Поздно вечером приятели Шумского уже собрались уезжать, когда Ханенко вдруг треснул себя по лбу и воскликнул:

– Ай да гуси мы! Нечего сказать! Главное и позабыли!.. Да и немцы тоже забыли.

– Что такое? – удивился Шумский. – Пистолеты? Так надо новые. Одну пару пусть выберет и купит фон Энзе, а другую – я. Берите деньги. Поезжайте завтра утром и купите.

– Какие пистолеты! – отозвался Ханенко. – Об этом я думал. Их купить не долго!

И обернувшись к Квашнину, капитан выговорил:

– А где же будет кукушка-то? У вас что ли на квартире, Петр Сергеевич, или у меня в спальне?

И он рассмеялся.

– Верно! – отозвался Квашнин. – Главное забыли! Надо будет об этом подумать за ночь, а завтра им обоим передадим. Может, они найдут.

– Как бы из-за этого помехи не было, – задумчиво произнес Шумский. – Нужна

большая горница. Я тоже подумаю и если надумаю, то тебе, Квашнин, рано утром напишу.

И приятели стали прощаться.

Выходя уже в переднюю и накидывая шинели, Ханенко вдруг обратился к Шумскому.

– Михаил Андреевич! Еще один вопросик. Отвечайте мне, пожалуйста, да не сразу, а так подумавши маленько.

– Извольте. Что такое? – удивился Шумский.

– А вот что. Нельзя ли вам с уланом не драться...

– Как?.. Я не понимаю...

– Да так... Помириться, что ли, или так плюнуть и бросить.

– Христос с вами, капитан!

– И слава Богу, что Он со мной! Я вам дело говорю. Ведь раз уже совсем собрались драться, а дело уладилось. Ну и теперь можно уладить!

Шумский грубо и желчно рассмеялся.

– Хорошо оно тогда уладилось, нечего сказать! Уладилось тем, что негодяй нанес мне новое оскорбление, крикнув мне в трактире, что я не родной сын, а подкидыш Аракчеевский, да при этом же повторил свой отказ драться с подкидышем. Хорошо уладилось! Нет, вы, капитан, будьте капитаном и судите, как офицер, а не как барышня какая!

– Ну, ладно, ладно! Не сердитесь, – пробурчал Ханенко.

XXII

На другой же день около полудня на квартире Мартенса произошло совещание четырех секундантов. Продолжалось оно довольно долго и обсуждалась подробно всякая мелочь. Оба улана приняли предложение секундантов Шумского. Они не согласились только на три выстрела, мотивируя это совершенно логично тем, что нельзя человеку держать в руках три пистолета.

Было положено главным основанием, чтобы каждому из поединщиков кричать «ку-ку» один раз, причем выстрел противника должен последовать мгновенно. Но затем на второй выстрел время не определялось. А это условие имело громадное значение, делая поединок смертельным. Однако, по предложению Биллинга, второй выстрел должен был все-таки последовать не позже, как через четверть часа после первого.

– Ну-с, теперь почти главный вопрос, – выговорил Квашнин. – Где будет кукушка? Вам известно, что ни у кого из нас нет подходящей квартиры.

– Я об этом уже думал, – заявил Мартенс. – И если вы согласитесь, то помещение уже готово, обещано и в нашем распоряжении. Вместе с тем, так как нам необходим будет, так сказать, супер-арбитрум, то владелец помещения, любезно предложивший его фон Энзе и мне, может быть и выбран нами в должность главного судьи.

– Кто же такой? – спросил Квашнин. – Вы согласитесь, что это вопрос довольно важный: где будет дуэль и кто будет этот третейский судья.

– Это знакомый г. Шумского и ваш – гусар Бессонов.

– Отлично! – воскликнул Ханенко.

– Нельзя лучше, – добавил Квашнин. – Я знаю его квартиру. У него отличная зала. Что касается его самого, то это человек резкий и грубый в обиходе и в обращении, но человек, пользующийся примерной репутацией. По крайней мере, если случится какое несчастье, то не будут врать, не будет сплетен. Всякий, зная, что Бессонов был главным распорядителем и судьей, поневоле поверит, что все обошлось честно и порядливо.

– Ну вот и отлично, – сказал Мартене. – Так я дам знать Бессонову, что мы принимаем его услуги: помещение и третейство.

Секунданты расстались с тем, чтобы поговорив с поединщиками, снова и в случае их согласия встретиться вечером у Бессопова. Разумеется, через час после этого Мартенс и Биллинг толковали с фон Энзе, а Квашнин и Ханенко с Шуйским.

Поединщики согласились каждый с своей стороны, но Шумский прибавил, что он

много думал и решил в последнюю минуту предложить фон Энзе лично третий выстрел.

– Ему стыдно будет при всех отказаться. А ты, Петя, шепни Бессонову на ушко, чтобы он заготовил третью пару пистолетов. По собственному выбору парочку, так сказать, третьейскую.

– Что же вы третий-то пистолет в зубы, что ли, возьмете?

– Зачем в зубы? – рассмеялся Шумский. – Ведь мы будем не в костюме праотца Адама! Третий можно за пояс заткнуть.

– Верно! – отозвался Ханенко и прибавил: – Этак, пожалуй, вы его за пояс и заткнете. Не пистолет, а улана.

– Почему же вы так думаете? Выгоды одни. И у него будет за поясом третий выстрел.

– Так-то так, Михаил Андреевич! Да вы превосходите его дерзостью.

– Тут дерзостью ничего не поделаешь! Хладнокровием скорее победишь! А фон Энзе – немец, значит хладнокровный.

Уже вечером по пути в квартиру Бессонова, Ханенко после молчания вдруг обернулся к сидевшему рядом с ним на извозчике Квашнину и выговорил:

– Петр Сергеевич! А ведь этак, знаете, может выйти два покойника.

– У нас с вами, капитан, одни мысли. Я тоже, едуци, сейчас додумался до этого. Наш азартен, а тот малый тоже не дрянной. Немец серьезный! Парень хладнокровный! Оба они «себе на уме». И так подсилят друг дружку, что как раз оба вместе на тот свет отправятся!

Уже подъехав к квартире Бессонова, Ханенко, звоня у подъезда большого барского дома, выговорил:

– А что, Петр Сергеевич, да коли оба живы останутся и оба невредимы, что тогда будет?

– Тогда, капитан, совсем уж черт знает что будет. Этим двум парням нельзя вместе на свете оставаться. Тогда, знаете ли, какой есть единственный благополучный исход?

– А неужто есть?! – воскликнул Ханенко полушутя.

– Есть...

– Какой?

– Чтобы баронесса Нейдшильд померла.

– Верно, Петр Сергеевич! И даже прехитро придумано!

– Ну, а покуда она жива, то им двум, капитан, придется сызнова начинать, и нам с вами тоже.

– Так стало быть, Петр Сергеевич, пойдет пальба до второго пришествия?

– Зачем! Будет пальба до первого отшествия, – угрюмо пошутил Квашнин.

Секунданты, съехавшиеся в квартиру гусара Бессонова, нашли хозяина в таком расположении духа, что все четверо тайно или мысленно удивились. Ханенко не вытерпел и, дернув товарища за фалды, выговорил ему на ухо:

– Что, Бессонов-то, именинник, что ли?

Квашнин чуть-чуть не рассмеялся вслух.

Действительно, Бессонова узнать было нельзя. Казалось, что ему доставляет величайшее наслаждение тот неожиданный сюрприз, что у него на квартире произойдет кукушка, которой уже давно не бывало в Петербурге.

Все четыре секунданта были угрюмы, так как для той и другой стороны дело шло о близком человеке – приятеле. Насколько Квашнин и Ханенко любили Шумского, настолько же Мартенс и Биллинг любили товарища по полку фон Энзе. Один Бессонов сиял...

Вместе с тем все четверо понимали и чуяли, что поединок будет серьезный. Выражение Мартенса, что кукушка или бойня, или балаган – было совершенно верно.

Хотя не проходило году, чтобы где-нибудь в провинции не было дуэли «на ку-ку», но надо сказать, что большею частью эти кукушки кончались ничем. Отсюда многие считали этот поединок неизвестно кем и когда выдуманный на Руси, скорее опасной и глупой забавой, нежели серьезным поединком. С другой стороны, иногда кукушка обставлялась так, что становилась столь же серьезной, как и дуэль в двух шагах расстояния или через платок.

Условия и подробности, принятые теперь обеими сторонами по поводу поединка, были настолько строги и опасны, что секунданты имели право считать заранее одного из двух поединщиков обреченным на смерть, а может быть, и более того... обоих!

Бессонов был очень польщен, когда секунданты сторон объявили ему, что единогласно и с согласия поединщиков просят его взять на себя роль суперарбитра на случай каких-либо недоразумений или пререканий.

Когда Мартенс и Квашнин изложили Бессонову подробно все условия дуэли, то Бессонов на минуту переменялся. Лицо его стало несколько озабоченнее.

– Да, – выговорил он, – это, стало быть, всерьез! Ну что же, не наше дело! Да и по правде говоря, господа, взаимное положение гг. Шумского и фон Энзе таково, что другого исхода нет. Как же, помилуйте! Два человека в один и тот же день празднуют победу. И тот, и другой в один день объявляют имя невесты, и оказывается одно и то же имя. Этакое, я думаю, в Петербурге с основания его не бывало. Тут другого нет исхода. Приходится не два одинаковых церковных торжества устраивать, а два разных: погребение и венчание.

Обсудив все, решив, где и какие будут куплены пистолеты обеими сторонами, секунданты и хозяин перешли к вопросу не меньшей важности: к устройству квартиры.

Бессонов встал и повел всех в свою залу.

– Вот-с! – выговорил он, махнув рукой на обе стороны. – Лучше ничего не выдумать! Устройством я займусь с вечера же. Всю ночь проработаю, а завтра в полдень будет все готово. Надо спешить, потому что сегодня в Кавалергардском полку в офицерской компании уже был слух об новой кукушке в столице. Если мы протянем время, весь Петербург узнает и тогда ничего не будет. Дойдет до сведения графа Аракчеева и он вступится. Может запретить Шумскому драться. А я полагаю, это будет очень и очень ему неприятно!

– Кому? – выговорил холодно Мартенс.

– Шумскому.

– А фон Энзе?

– Ну, и фон Энзе! – отозвался Бессонов.

– Что значит это «ну, и?» – еще холоднее проговорил Мартенс.

– Ничего. Вы, я вижу, обиделись за своего друга. Напрасно! Я к обоим отношусь равно, но полагаю, что в случае запрещения Аракчеева, Шумскому будет неприятнее, нежели фон Энзе, так как запрещение это будет иметь вид заступничества за него против фон Энзе. Ведь согласитесь, вступившись в дело, военный министр не за фон Энзе будет стараться! Да еще в Питере не весть что могут выдумать. Приврут, что Шумский сам довел все до сведения Аракчеева, чтобы избавиться от кукушки! Мало ли на какую гадость пойдут злые языки! Вот я и говорю, что Шумскому будет неприятно и, конечно, неприятнее, чем фон Энзе. Довольны ли вы моим объяснением?

– Совершенно доволен! – отозвался Мартенс несколько мягче. И, протянув руку хозяину, он прибавил: – Извините меня!

Хозяин и гости обошли всю залу, в которой было сажень пять в длину, сажени четыре ширины и сажени три в высоту. Убранство комнаты было довольно простое. Стулья и скамьи, обитые штофом, по стенам и на окнах большие гардины, да люстра посередине. Но при этом в простенках были высокие зеркала, а на одной из стен – огромное зеркало, аршина в три ширины и аршин пять в высоту.

– Вот это все уберется! – выговорил Бессонов. – Ну, а этим, делать нечего, я жертвую, – показал он на большое зеркало. – Его снять нельзя! Это провозишься целые сутки! А помешать оно не может.

– А ставни есть разве у окон? – заметил Квашнин.

– Понятно есть, – отозвался хозяин. – Кабы не было ставень, так нешто бы я брался к завтрашнему полудню все приготовить! И доложу вам, что ставни такие, как если бы прямо готовили их в предведении, что в зале этой будет кукушка!

И Бессонов весело рассмеялся.

– Милости просим ко мне завтра пораньше утром осмотреть, все ли в порядке, и если

что окажется, берусь тотчас исправить.

Гости перешли снова в кабинет хозяина, уселись и, ради приличия, завели разговор о посторонних предметах, прежде чем расстаться. Но так как беседа эта не клеилась, ибо два улана с одной стороны, а Квашнин и Ханенко с другой, были все-таки настроены враждебно, то все, выпив по стакану чая, поднялись.

Уланы простились и вышли первые. Когда хозяин вернулся, то Квашнин передал ему просьбу Шумского иметь про запас одну лишнюю новую пару пистолетов.

– Нехорошо, Петр Сергеевич, что вы это мне теперь говорите! Надо было это сказать при них, – заметил добродушно Бессонов. – Надо все начистоту. Это все-таки, воля ваша, как бы маленький заговор с вашей стороны. А я, как вам известно, должен быть беспристрастен к обеим сторонам. Впрочем, дело это устроивается само собой. Умысла никакого с моей стороны не будет, так как пара великолепнейших пистолетов прямо из Праги у меня есть.

Через несколько мгновений секунданты Шумского тоже спускались с подъезда дома Бессонова и садились на извозчика.

– Да! – проговорил Ханенко глубокомысленно. – В этой самой зале полагательно никогда не бывало о сю пору таких танцев, какой отпляшут завтра Шумский с фон Энзе. Почтище всякого ригодона или контреданца.

И вдруг Ханенко прибавил другим тоном:

– Чудится мне, что не сдобровать нашему Михаилу Андреевичу, а немец треклятый останется невредим.

– Типун вам на язык! – досадливо отозвался Квашнин.

XXIII

Однако на другой день поединку не суждено было состояться. Квашнин и Ханенко, явившись в десять часов к Шумскому, чтобы ехать вместе с ним к гусару Бессонову, не нашли его дома.

Шваньский объяснил, что в Петербург приехал чуть свет граф Аракчеев и вызвал Шумского к себе.

Оба приятеля не усомнились на минуту, что слух о кукушке достиг, или вернее выразиться, доскакал до Гру зина и заставил Аракчеева явиться помешать дуэли сына или приемыша. Они тем более поверили этому, что Шваньский клялся, что тому назад дня три в Гру зине никто и не помышлял о поездке графа в Петербург.

Очевидно, что Аракчеев выехал вдруг, неожиданно, вследствие какой-нибудь особой причины. Шваньский был того же мнения, что нечто чрезвычайное побудило графа прискакать. Разумеется, Иван Андреевич радовался, что Аракчеев помешает поединку, о котором он знал от Шумского.

– Нет! Не помешает! – сказал Квашнин, тряхнув головой. – Не на такого напал! Теперь не состоится, позже будет!

Шумский, разбуженный в семь часов и вытребованный Аракчеевым, точно также отправился к нему убежденный, что слухи о кукушке дошли уже до Гру зина. Между тем, это предположение казалось почти невероятным по краткости времени. Аракчеев мог узнать все только в одном случае, если бы Шумский сам послал к нему верхового гонца тотчас по прибытии.

Теперь Шумский боялся, как бы эту клевету не взвели на него. Можно было заподозрить в доносе о кукушке не кого-либо другого, кроме участвующих. Шумский невольно подозревал Мартенса и Биллинга, не считая фон Энзе на это способным.

«Точно также, – думалось ему, – они могут заподозреть еще с большей вероятностью его самого, или Квашнина и Ханенко».

И, едуци к Аракчееву, Шумский заключил свои мысли всегдашним заключением:

– Черт бы тебя побрал, дуболома!

На этот раз Аракчеев остановился не во дворце, а в своем доме на Литейной. Этот

низенький, одноэтажный, сероватого цвета деревянный дом был также известен в Петербурге, как и Зимний дворец.

Присутствие в нем Аракчеева становилось тотчас же известным на всю столицу и имело свои разнообразнейшие последствия. Между прочим, присутствие на Литейной какого-либо офицера становилось редкостью. Ни один военный не отваживался идти или ехать без крайней нужды мимо окошек маленького дома. Всякий офицер считал более безопасным дать крюк и проехать другими улицами.

Затем присутствие Аракчеева ознаменовывалось, конечно, массой экипажей, которые с утра до сумерек подъезжали, отъезжали и сновали около подъезда.

На этот раз собравшихся начальственных лиц было очень много, и Шумский, явившись к девяти часам, сидел в ожидании явиться к графу, волнуясь и досадливо гадая о том, что побудило графа прискакать вдруг в столицу. Имеет ли, наконец, этот приезд отношение к его поединку?

Эта мысль смущала молодого человека и бесила. И ожидая каждую минуту быть вызванным, Шумский просидел так до трех часов.

«За каким чертом, – думал он, – нужно было меня вызывать чуть свет, чтобы принять в сумерки? Только ты, идол, можешь эдакую штуку выдумать!»

Наконец, около трех часов Шумский был позван в маленький кабинет графа. Совершенно машинально, не подумав, или озабоченный другими мыслями, Шумский, как бывало всегда во время оно, подошел прямо к графу и нагнулся поцеловать обшлаг рукава. Аракчеев, догадавшись, отстранил его и произнес:

– Не мудри; то так, то сям! Коли перестал относиться ко мне, как к родному отцу, то так пусть и будет!

И, помолчав, граф заговорил:

– Я приехал неожиданно вызванный государем. Пробуду дня два и опять уеду в *Гру* зино, поэтому я хочу, не теряя времени заняться твоей судьбой. Я так рассудил, что чем скорей ты женишься, тем скорей остепенишься. Не надо время терять, поэтому я послал сейчас сказать барону Нейдшильду, что прошу его быть у меня завтра утром ради объяснения. Я сам тебя сватать буду! Будь и ты завтра с девяти утра здесь.

Шумский озабоченно насупился и произнес глухо:

– Я опасаюсь, что барон примет все не так, по-своему... Он очень горд... Хотя ваше положение и много выше его, но ведь это дело частное. В качестве стороны жениха вам поневоле подобало бы отправиться к барону, а не его вызывать.

Аракчеев поднял глаза на молодого человека и улыбнулся.

– Это только ты такую ахинею можешь в голову забрать! Стало быть, если государь император будет женить кого-либо из своих на какой-нибудь германской принцессе, то поедет тоже толкаться по мелким герцогским дворам! Если бы я был такая же чумичка, как твой чухонский барон, то может быть, по светским приличиям поехал бы первый к нему. Но так как я граф Аракчеев, то для него великая честь, если я буду твоим сватом... Ступай и будь здесь завтра утром!

Шумский вышел и полетел домой, обрадованный одним и озабоченный другим. Он рад был, что граф не знает ни слова о его поединке, так как не заговорил с ним об этом. С другой стороны, он был озабочен тем способом, которым Аракчеев хотел объясняться с бароном. Гордый аристократ мог легко обидеться и таким образом помощь Аракчеева усугубит только положение.

Вернувшись домой, Шумский нашел приятелей, нетерпеливо ожидавших его. Объяснившись, они решили вместе, что надо выждать и тотчас же дать знать обо всем Бессонову и фон Энзе. Ханенко тотчас же вызвался ехать к Мартенсу с заявлением, что надо отложить поединок дня на два, а Квашнин отправился к Бессонову.

Гусар встретил его словами:

– Все пропало! Граф прискакал! Но как же он мог узнать, сидя в своей вотчине, то, что мы решили за последние сутки.

– Успокойтесь! – отозвался Квашнин. – Он приехал совсем по другому делу и ничего не знает, но поединок надо отложить.

– Ну все равно ничего не будет! – отозвался Бессонов. – Коли не знает, то он здесь в Питере узнает! Весь город уже болтает о том, что в моем доме будет кукушка.

Квашнин пожал плечами, как бы говоря, что ничего поделать нельзя.

– А как было я все хорошо приготовил! – жалостливо прибавил Бессонов. – Пожалуйста, сами поглядите!

И он повлек Квашнина, отворил дверь, ввел его в залу и затворил за собой дверь. Они очутились в полной тьме. Зала была очищена от всех предметов, ставни закрыты и в горнице не было видно ни зги.

– Все до былинки вынесено и вытащено, – произнес Бессонов самодовольно и стал хвастать своей распорядительностью.

Квашнин осмотрел залу еще раз при свечах и затем постарался отделаться от хозяина, чтобы ехать к другу.

Он нашел Шумского в нервно веселом расположении духа и шутовствующего со Шваньским.

– Вот, рассуди нас, Петр Сергеевич. Будь свидетелем, – сказал он. – Я хочу доказать Ивану Андреевичу, что он меня любит только на словах. Попрошу его справиться мне одно только дело и он, гляди, тотчас на попятный!

– Извольте приказать! Увидите! – повторял Шваньский серьезно, обиженным голосом.

– Верно тебе сказываю. Важнее для меня дело, а самое пустое. А попроси вот я тебя, откажешься!

– Прикажете! Увидите! – повторял тот.

– Сделал бы ты это мне, – горячо заговорил Шумский, – я бы тебе сейчас ровнехонько тысячу рублей в подарок отсчитал. А любить бы стал, вот как! Как бы родного! Да знаю, не сделаешь этого, потому что у тебя все одни слова, а привязанности ко мне ни на грош нет.

– Да ну? Говори... Что такое? – вступился Квашнин.

– Грех так рассуждать! – воскликнул Шваньский. – Говорю: прикажете и все для вас сделаю.

– Без исключения?

– Без исключения! Без всякого! На край света пойду! Ну просто вот скажу: на смерть пойду!

– Зачем на смерть? Жив останешься. Так говорить? А? Петя? Говорить ему, что ли? Об чем мы с тобой вчера решили, чтобы Ивана Андреевича мне просить.

– Вестимо: говори, – произнес Квашнин, недоумевая и не понимая подмигиванья Шумского.

– Убей ты фон Энзе, – выговорил Шумский, совершенно серьезно обращаясь к Шваньскому и даже сдвинув брови для пущего эффекта.

– Как тоись!?! – оторопел этот.

– Как хочешь! Ножом, обухом, но из пистолета, я думаю, будет много ловчее и проще.

– Шутите только, Михаил Андреевич...

– Что же?

– Я полагал, вы не ради шутки, а вы знай себе балуетесь.

– Нет, Иван Андреевич, – вступился Квашнин серьезно. – Мы об этом вчера рассуждали.

– А! Вот что? «Балуетесь!» То-то, голубчик! – воскликнул Шумский укоризненно. – Все вы так всегда. Ты вот на смерть собирался, а теперь и под суд боишься идти; а знаешь ведь, что и граф тебя в обиду не даст. Знаешь, что после такого дела более или менее невредим останешься, а не хочешь одолжить.

– Помилуйте, Михаил Андреевич! – с чувством выговорил Шваньский, поверив комедии. – Как же можно человека на этакое дело посылать?! Что другое, я готов. А этакое?! Помилуйте! Да я и не сумею.

- Нечего и уметь. Взял да и убил.
- Как можно-с. Это самое то-ис мудреное из всего. Да при том и грех великий.
- Ну так и не говори, что меня обожаешь!
- Бог с вами. Я думал, вы что подходящее желаете мне препоручить.
- Ну и убирайся. Нечего и толковать. Иуда ты!

Шваньский вышел, совершенно не зная в шутку или всерьез принимать весь разговор. Друзья, оставшись одни, рассмеялись.

– Да. Шутки шутками, – вымолвил Шумский вдруг изменившимся голосом и вздыхая, – а я рад бы найти или нанять эдакого Шваньского для убийства. Я, Петя, начинаю побаиваться. Душа в пятках.

– Что-о?! – изумился Квашнин, не веря ушам.

– Да, Петя, трусить начал! Тебе, другу, глаз на глаз говорю. Прежде не трусил, а теперь трушу. Сдается мне теперь, что я буду убит. А все от того, что канитель эта тянется. Я был совсем готов сегодня молодцом идти, а тут опять отсрочка. Чую теперь, что я буду драться не с тем же духом и спасую. Нет во мне того азарта, что прежде был. Даже еще вчера не то было... Верил...

И Шумский стал вдруг сумрачен и даже печален. Разговор не ладился, и Квашнин собрался домой, обещая заехать на другой день.

XXIV

На следующее утро с девяти часов Шумский был на Литейной и сидел в приемной графа, где набралось уже человек десять военных и штатских. Вскоре после его приезда в ту же горницу явился барон Нейдшильд в придворной форме.

Шумский, волнуясь и не зная, что произойдет, тихо подошел к барону и почтительно поклонился ему.

Барон смутился, покраснел, засеменил ногами на одном месте, как бы не зная что делать, но затем поклонился тоже.

– Вы меня напрасно считаете своим врагом, барон, – заговорил Шумский.

– Я? Нет... – пролепетал Нейдшильд. – Почему же... Я... – начал было он и запнулся.

– Мне кажется, – заговорил Шумский, – что мы могли бы встретиться иначе. Прошрое, все, что прежде осмелился сделать Андреев, вы простили. Затем вы приняли предложение Шумского. Затем вы взяли свое слово назад. Причины, побудившие вас к этому, я вполне понимаю с вашей точки зрения, но признаюсь вам я не понимаю, почему вы не считаете возможным отдать руку вашей дочери приемному сыну графа Аракчеева.

Едва только Шумский договорил эти слова, как Нейдшильд с кротким выражением на лице протянул ему руку. Шумский поспешил пожать ее.

– Правда, правда, – проговорил чуть слышно Нейдшильд. – Все это... Да... Оставимте... Увидим... Еще ничего не кончено... Я потерял голову... Не знаю, что делать?... Увидим...

Шумский совершенно пораженный словами барона, радостный и сияющий, решался уже прямо спросить, считает ли барон улана своим нареченным зятем, но в ату минуту дежурный офицер приблизился к Нейдшильду и попросил его в кабинет графа.

Нейдшильд с своей стороны собирался узнать у Шумского, зачем его вызвал военный министр и тоже не успел. Он думал, что дело идет об исполнении его просьбы насчет одного офицера, сына его приятеля.

Когда барон вошел в кабинет Аракчеева, граф поднялся, сделал шаг вперед и протянул руку. Барон низко поклонился. Аракчеев даже головой не двинул и молча показал на стул перед собой.

– Вы, вероятно, догадываетесь, г. барон, зачем я вас попросил пожаловать? – произнес Аракчеев каким-то вялым, сонным голосом.

– Предполагаю, ваше сиятельство, что вы желаете любезно устроить судьбу молодого

офицера, о котором я вас просил письменно.

Аракчеев сдвинул брови, поглядел на барона и выговорил:

– Не знаю, о чем вы говорите. Дело идет о молодом офицере действительно, но не об назначении на какую-либо должность. Я желал беседовать с вами о моем сыне.

Нейдшильд выпрямился, широко раскрыл глаза, хотел что-то сказать, но запнулся и ждал.

– Сын мой, как вам, вероятно, известно прельщен вашей дочерью, баронессой и просил меня явиться сватом. Вот я и исполняю его поручение, предлагаю вашей девице-дочери руку и сердце флигель-адъютанта Шумского.

– Я думал, граф, что вы меня вызвали по служебному делу или вследствие моей просьбы о сыне моего приятеля.

– Нет, барон. Я вас вызвал ради объяснения вам того обстоятельства, что сын мой Шумский влюблен в баронессу, вашу дочь, и что я ничего не имею против этого брака. Есть только один вопрос щекотливый: вероисповедание вашей дочери. Но об этом мы подумаем. Мы можем выискать умного пастыря, который вразумит ее и она сама пожелает переменить ложную религию на истинную.

Аракчеев замолчал, ожидая ответа и глядя в пол, но молчание не нарушалось и он, наконец, поднял глаза на барона.

Нейдшильд удивил его. Барон сидел, вытаращив глаза, как человек совершенно пораженный. И, действительно, он был поражен.

Ему случилось не более трех или четырех раз в жизни перемолвиться несколькими словами с графом Аракчеевым и всегда о пустяках. В первый раз теперь приходилось ему вести серьезную беседу с временщиком. Много и часто слышал барон, что такое Аракчеев, ко все-таки он не предполагал того, что увидел теперь.

– Что же. Вы молчите? – выговорил граф.

– Не нахожу слов отвечать, – заговорил Нейдшильд совершенно другим голосом, слегка дрогнувшим. – Почти не верю собственным своим ушам. Даже ничего не понимаю. Позвольте ответить вопросом. Вы в качестве отца г. Шумского взяли на себя должность свата, не так ли?

– Ну да.

– И вы желаете иметь честь назвать мою дочь своей невесткой?

– Да... но... однако... – начал было Аракчеев, но барон прервал его.

– На ваше предложение граф я отвечаю кратко: очень благодарен и отказываю.

– Что-о?... – протянул Аракчеев.

– Я не желаю и не могу выдать дочь за побочного сына или приемыша, чей бы он ни был! Даже самую форму сватовства я признаю невозможной, оскорбительной. Я не знаю, право, не знаю...

И барон вдруг замолчал. Голос его дрожал настолько, что он не мог говорить.

Аракчеев с изумлением глядел на него, но в его глазах и на лице уже проскальзывал гнев.

– Древний аристократический род баронов Нейдшильдов, – начал было барон, но граф прервал его резко.

– Чухонской аристократии не признаю...

– Это, граф, глупое слова Вам известно, что поляки русских зовут москалями, а мы финляндцы точно также имеем в языке прозвище для русских, которое я не решусь вам передать, хотя тут и нет дам. Все-таки согласитесь, граф, что у чухонцев заметнее более благовоспитанности и знания приличий, чем у русских. Я бы никогда не решился сделать или сказать то, что мне приходится иногда видеть и слышать от очень высокопоставленных русских. И в этих случаях я всегда стараюсь как можно скорей спастись бегством.

При этих словах барон поднялся и наклонился легким движением головы.

– Вот вы из каких! – рассмеялся Аракчеев. – Скажу вам, господин барон, пословицу: «Была бы честь предложена, а от убытку Бог избавил!» Всякая девица, которую я выберу

сыну, будет счастлива и...

– Отвечу вам, граф, финляндской пословицей, говорящей приблизительно так: «Тепло в хлеву от мороза укрыться, да измараешься!»

– Ну-с, нам с вами больше объясняться не о чем, – выговорил Аракчеев глухим голосом, не поднимаясь с места и развертывая перед собой толстую тетрадь. – Я вас не задерживаю.

Барон вспыхнул, хотел выйти молча, но не удержался и выговорил:

– Я буду только покорнейше просить вас, граф, более меня никогда не беспокоить для каких бы то ни было объяснений. Во всяком случае я не приду.

Аракчеев стукнул согнутым пальцем по тетради и, не поднимая головы, вымолвил нетерпеливо:

– Уходите!

Нейдшильд двинулся и вышел в дверь, почти ничего не видя. Разноцветные пятна и какие-то красные зигзаги прыгали вокруг него, заслоняя собой и лица, и предметы.

На пороге второй горницы кто-то остановил его каким-то вопросом, но барон отстранился и прошел мимо. И только выйдя на улицу, он вспомнил или догадался, что фигура подошедшая к нему, был Шумский.

Барон сел в карету и когда она двинулась, он развел руками и выговорил на своем языке вслух:

– Невероятно!.. Не верится! Кажется, что все это во сне случилось!.. Невероятно! Да ведь это просто... Просто дворник!

И всю дорогу к себе домой Нейдшильд изредка произносил вслух:

– Дворник! И не мужик, не крестьянин русский, а именно столичный дворник!

А граф в то же время объяснял стоящему перед ним Шумскому, взволнованному и взбешенному:

– Он дурак и невежа. Прямая чухна! Плюнь ты на его дочь. Мало ли красавиц в Питере. Туда же, гордец, мнит о себе! А что он такое? Красные штаны на голодном пузе! Вот он что, твоя чухна!

XXV

Шумский вернулся от графа Аракчеева домой в самом странном расположении духа. Он понимал ясно, что граф своим вмешательством в дело и сватовством окончательно испортил все.

Встреча с бароном убедила его в справедливости всего, что узнал он от Пашуты. Очевидно, что Ева любит его и повлияла на отца. Иначе барон не обошелся бы с ним настолько мягко.

Стало быть, дело ладилось. А после объяснения Аракчеева с Нейдшильдом финляндец вышел с негодующим видом, почти с искаженным лицом.

Какого рода объяснение произошло между ними Шумский знать не мог, но, зная графа, догадывался. Очевидно, что Аракчеев обошелся с гордым аристократом высокомерно, грубо и бестактно.

В первые минуты, в особенности после угрозы Аракчеева, что он найдет для воспитанника другую невесту, Шумский был взбешен и с трудом сдерживал себя. Он поспешил выйти из кабинета графа, боясь, что у него вырвутся просто ругательства. Слова: дуболом, ефрейтор, идол просились уже на язык.

Вернувшись к себе, сбросив мундир и принявшись за трубку, Шумский постепенно успокоился, но по обыкновению почувствовал вдруг какое-то крайнее физическое утомление, как если бы прошел верст сорок пешком.

Всякое сильное движение души, всякий бурный порыв в Шумском всегда имел последствием такое ощущение расслабленности. Но на этот раз оно сказалось еще сильнее. Кроме того, явилось какое-то новое ощущение потерянности. Он часто проводил рукой по

голове и выговаривал вслух:

– Сдается, что... головы нет на плечах... Разваливалась сколько раз да склеивалась... А теперь, кажется, совсем развалилась... Да и есть от чего разум потерять!

И Шумский начал ясно ощущать в себе два совершенно разнородных чувства. Одно, бушевавшее сейчас и теперь отчасти стихнувшее, было чувство злобы на Аракчеева и жажда мести. Он вышел от графа с твердой решимостью немедленно отомстить ему как бы то ни было и что бы от этого не произошло.

Но затем здесь, дома порыв злобы стих. Вместе с тем ясно ощущалось и другое чувство, смутно сказывавшееся за последние два дня: боязнь поединка. Да, боязнь или трусость! Гнетущее чувство трепетного ожидания, того рокового, чего он прежде всячески добивался, нетерпеливо желал и не боялся.

Давно ли он на все лады добивался драться с фон Энзе так или иначе, глубоко убежденный, что он выйдет невредимым. А затем, когда улан, наконец, согласился вдобавок на такой поединок, где главную роль должна была играть слепая судьба, случайность, фортуна, где все зависело от счастливой звезды, в которую Шумский верил, а не от хладнокровия или искусства соперника, он начал бояться поединка и даже более того: просто трусил и трусил.

Постепенно и незаметно в нем явилась и окрепла полная уверенность, что он будет убит. И тени чего-либо подобного не было прежде! Теперь же, очутившись у себя после посещения графа, Шумский через час сидел уже совсем, как потерянный.

Все происшедшее и происходящее показалось ему каким-то бредом, какой-то трагикомической нелепицей.

Он добивается руки любимой женщины, просит графа помочь. Тот помогает по-своему и все одним махом разрушает. У него самого является жажда мести, а вместе с тем он уверен, что через день или два он будет на том свете.

Из-за чего же хлопотать? Отказаться от поединка невозможно. Без Евы жить нельзя. Надо убить фон Энзе или быть убитым. И вот он будет убит... А отомстить графу надо успеть непременно. Нельзя умереть не отомстивши. А на месть остается день или два. Отложить поединок нельзя. Через неделю, во всяком случае, он будет уже где-нибудь на кладбище под землей. Зачем же месть? На что?... Нужно...

И Шумский вдруг порывисто поднялся с места и воскликнул:

– Фу-ты, канитель какая! Разбил бы я собственную голову об стену!

И с этими словами он взмахнул длинным чубуком и ударил им изо всей силы по столу. Трубка разлетелась вдребезги, чубук расщепило, превративши в какой-то кнут о двух концах. Но при этом небольшой осколок глиняной трубки, отлетев от сильного удара об стол, ударил его в лоб немного выше брови.

Шумский от этого щелчка, не причинившего ему никакой боли, побледнел, замер и понурился. В один миг, и Бог весть почему, ему почудилось в этой мелочи что-то особенное – намек, примета, предчувствие.

«Вот в это самое намеченное осколком место около брови попадет пуля фон Энзе».

Подобного рода случаи бывали. Многие рассказывают, что люди, убитые на поединке, заранее предчувствовали не только свою смерть, но как бы чуяли то место, куда они будут ранены.

Еще недавно был в Петербурге поединок между двумя офицерами, и один из них в продолжение двух суток со смехом повторял фразу: «И вот увидите, хватит он меня прямо в лоб!» И говоривший угадал верно! Пуля в лоб положила его на месте.

Шумский прошелся несколько раз по своей привычке из угла в угол, поглядел на расщепленный чубук, брошенный на полу, и пожал плечами, глядя на эту ребяческую выходку. Затем он снова сел и снова принялся размышлять о том, каким образом сошлись в нем теперь два разнородных чувства и что ему делать?

Через несколько минут он выговорил вслух:

– Убит буду непременно! Стало быть, всему конец! А отомстить этому дуболому

необходимо... Но как могу я отомстить ему в какие-нибудь сорок восемь часов? Дуэль отложена до отъезда его в Грузию, а выедет он не нынче, завтра... Отложить поединок по моему предложению – срам, позор!..

Вероятно, Шумский просидел бы весь день в борьбе не с самим собой и своими мыслями, а как бы в борьбе с полной нелепицей своих мыслей и ощущений, но на его счастье раздался звонок и явился Квашнин.

– Слава Богу! – выговорил Шумский сумрачно. – Садись, рассказывай что-нибудь... У меня ум за разум заходит...

Квашнин стал расспрашивать друга о том, что случилось, но Шумский только махнул рукой и прибавил:

– Нечего рассказывать... Чепуха!.. Черт знает что... Сам не знаю... Про одно не стоит говорить, а про другое – стыдно. Рассказывай ты что-нибудь... Что в городе врут? Ведь тут всегда врут, авось, и за нынешний день есть какое новое вранье.

Квашнин, видя, что друга надо рассеять, стал рассказывать всевозможные городские слухи. Но Шумский, сначала прислушивавшийся, вскоре перестал слушать. Он задумался и перебирал мысленно все то же.

«Умереть надо!.. Отомстить надо!.. Как отомстить? Когда? Отложить поединок нельзя! Отложить мщение тоже нельзя! А как отомстить? Ведь не идти же сейчас к временщику в дом и дать ему при всех пощечину. Да и как ее дать? За что? За то, что на его счет воспитывался, жил и живешь. Платье, чай, табак – все на его счет...»

– Какая же ты, гадина! – вдруг воскликнул Шумский, глядя на приятеля.

– Что? – изумился добродушный Квашнин и вытаращил глаза.

Шумский молчал.

– Господь с тобой, Михаил Андреевич! С тобой, ей Богу, и дружбу водить мудрено. Сорвется вдруг у тебя не весть что грубое, да и не заслуженное. Чем же я гадина? Что я сейчас сказал?

Шумский потянулся к офицеру, схватил его за обе руки и крепко сжал их.

– Не тебя, Петя!.. Что ты! Я и не знаю, про что ты говорил. Я себе крикнул... Я – гадина! Мысли у меня такие были, я себе и отвечал. А ты вот скажи... Ты сейчас говорил что-то на счет крашения домов, казарм что ли... Я что-то плохо понял. Что такое?

– Да это давно говорят, – отозвался Квашнин. – Только сегодня окончательно, сказывают, указ подписан.

И Квашнин передал подробно, что в Петербурге много толков и много смеху о том, что по приказанию военного министра состоится распоряжение об окраске по всей империи в три колера всяких казенных столбов, заборов, будок, мостов и даже присутственных мест.

– Через полгода вся матушка Россия явится вымазанная в три колера: белый, красный и черный, – объяснил Квашнин, улыбаясь. – Полагаю, что всего любопытнее будут разные правления, суды и палаты, когда предстанут в арлекинском платье!

– Да правда ли это? – воскликнул Шумский.

– Наверное. Решено окончательно. Будки да гауптвахты уже давно, еще со времен Екатерины Алексеевны подкрашивались. А теперь и здания все выкрасят, но уже в три колера.

– Что же говорят в столице?

– Да смеются. Глупо больно. Прямо сказывают, что твой родитель... – Квашнин: запнулся и поправился. – Твой граф... просто глупствует... Эдакого и дурак бы не надумал.

– И много теперь толку об этом? – спросил Шумский странным голосом.

– Еще бы! Куда ни приди. В полках, в офицерских собраниях, на балах, в трактирах, на улице – везде только и смеху, что про трехколерную матушку-Россию.

Шумский опустил голову, глубоко задумался, потом вдруг поднялся с места и стал быстро одеваться.

– Ты что..? Куда..? – удивился Квашнин не столько движению приятеля, сколько лихорадочной быстроте, с которой тот начал одеваться.

– Нужно! – отозвался Шумский. – Хочешь, подожди меня здесь. Через час вернусь. Не можешь – заезжай завтра.

– Нет, я поеду... Мне надо! – ответил Квашнин, несколько озадаченный видом друга.

Через минуту оба вышли на улицу. Шумский был молчалив и как бы поглощен какой-то мыслью. Когда они простились и уже расходились в разные стороны, Шумский быстро обернулся и окликнул Квашнина:

– Петя! Забыл... Помни одно: коли этот дуболом и уедет в Грузино сегодня, то все-таки завтра я драться не стану. Отложится до послезавтра. Спросят, так и скажи Бессонову или Мартенсу. Мне нужен один день для разных распоряжений, потому что...

Шумский запнулся и прибавил несколько упавшим голосом:

– Потому что я знаю, что мне несдобровать!

Квашнин хотел что-то отвечать, противоречить, сказать что-либо успокоительное, но ему не удалось этого. Слова с языка не шли. Он слишком сам был убежден в том, что сказал теперь Шумский. Он протянул руку другу и поскорей отвернулся от него, потому что почувствовал, что на глаза его навертываются слезы.

Но Шумский понял и рукопожатие и молчание друга. Двинувшись от него, он подумал:

«Да, и у Пети тоже на сердце! И он чувствует за меня! Ну что ж, Михаил Андреевич, утешайся тем, что через сто лет вот это все или все, кто бы ни был, все будут на разных кладбищах!»

И оглянувшись на Большую Морскую, где шло и ехало много народу, Шумский поднял руку, ткнул в толпу и воскликнул вслух:

– Да все! И старые, и молодые, и умные, и глупые... Но затем он тотчас же улыбнулся и выговорил:

– Вон как! Уж на улице стал разговаривать сам с собой! Еще немножко и совсем свихнешься!

XXVI

Взяв извозчика и велел гнать, Шумский через двадцать минут очутился у знакомого содержателя наемных экипажей. Хозяин-мещанин, высокий и плотный мужик с окладистой русой бородой, костромич родом, был его любимцем.

Шумский, сам того не подозревая, любил в каретнике его чрезвычайное спокойствие во всем, чрезвычайную уверенность, какую-то положительность. Казалось, что для костромича все на свете ясно, все давно решено, понято, усвоено и даже отчасти подчинено. Казалось, что если этому здоровяку-мужику предложить на разрешение самый мудреный всероссийский вопрос, предупредив, что вопрос неразрешим, то костромич непременно ухмыльнется, погладит громадной лапицей по большой бороде и, едва заметно тряхнув головой, скажет:

– Как можно-с? Дело простое. Это, стало быть, выходит, вот как надо!

И сейчас же вопрос будет решен и решен удовлетворительно.

Костромич относился к Шумскому совершенно иначе, чем все те, с которыми молодой флигель-адъютант имел дело в Петербурге. Каретник обращался с ним так же, как и со всеми: почтительно и гордо вместе.

Но гордость эта почему-то казалась Шумскому в мужике совершенно законной. Она была ему к лицу. Его нельзя было даже представить себе иначе, как спокойно гордым.

Шумский нашел хозяина извозничьего двора среди его дел и деятельности. Он увидел его рослую фигуру среди большого двора, где стояло пропасть экипажей: карет, колясок, пролеток, лошадей запряженных и отпряженных. Вокруг него толпились и сновали кучера-извозчики.

Шумский подошел к хозяину сзади, незамеченный им, и ударил его рукой по плечу. Костромич обернулся, не удивился, так как он никогда в жизни не удивлялся ничему и, приподняв шапку, выговорил холодно:

– Вашему здоровью!
– Здравствуй, Иван Яковлевич, – сумрачно выговорил Шумский. – Я к тебе в гости!
Дельце есть важное и спешное.

– Что прикажете? Готовы завсегда служить.
– Ведь меня к себе...
– В дом, стало быть?
– Вестимо, к себе в дом. Тут на дворе рассуждать об этом деле негоже... Веди меня к себе гостем, – несколько самодовольно выговорил Шумский.

– Милости просим! – покойно отозвался Иван Яковлевич и при этом как бы нисколько не удивился, что флигель-адъютант и сын графа Аракчеева окажется вдруг гостем в его доме.

Через несколько минут Шумский сидел в довольно просторной и чистой комнате, где был диван и кресла красного дерева, а посредине стол и на нем два бронзовых подсвечника. Во всей комнате, кроме этой мебели и двух подсвечников, не было ни одного хозяйственного предмета. Горница, очевидно, играла роль гостиной.

«Вон как у них пошло, – подумал про себя Шумский. – Мужик, а тоже гостиную завел!»

И ему вдруг представились те фигуры, которые тут бывают, те гости, которые сживают здесь по вечерам и о чем они говорят.

И ему стало смешно. Но затем по свойству своего мозга, по привычке противоречить себе, Шумский тотчас же прибавил мысленно:

«А чем они хуже, когда соберутся, великосветских барынь, генералов и тузов? Эти завсегда, поди, о деле толкуют, а те соберутся, только врут да клеветают. Этот же народ, что здесь по вечерам собирается, не зная, побожусь, что не клеветает ни на кого. Некогда».

– Ну, слушай, Иван Яковлевич, – начал Шумский, – дело у меня до тебя важнейшее. Есть у тебя рыдван какой в отделке, такой, чтобы кузов был новый с иголочки, как есть, в сыром виде, без всякой краски и политуры.

– Никак нету-с.
– А достать можешь?
– Да зачем вам? Я не ради любопытствия... А вы поясните, что вам нужно, а я уже сам мыслями пораскину.

Шумский стал подробно объяснять, что ему нужно и не позднее, как завтра утром.

– Вот так-то и говорили бы. Изволите видеть. Ход каретный, стало быть, четыре колеса, лесоры, дышло – это есть у нас. А кузов белый деревянный найдем и нынче же приладим на ход. Стекла в дверках не приладишь скоро, да вы говорите не надо. Тем лучше. Покрасить успеть можно, если сказываете, что только для виду. Вестимо, за ночь краске не высохнуть. Пачкать будет... Да вы сказываете – то не беда. Вам всего-то ее на один ведь разочек, карету-то эту... Ну, вот, стало быть, все сварганить и можно.

– К завтраму? И беспрерывно. Слово даешь.
– Завтра около полудня будет готова и к вам доставлена. Ведь это, я полагаю, вам ради соблазнения нужно! Колено отмочить офицерское? Соблазн в народ пустить!

– Вестимо, Иван Яковлевич.
– Что же, об заклад, что ли, бились: кто кого перепотешит, кто больше насрамит?
– Нет, не об заклад, а нужно так. Только ты ко мне карету не доставляй. Повезут по улице, народ увидит... Нехорошо будет.

– Да ведь вы тоже в ней поедете?
– Да я-то – это иное дело. Я от того-то и не хочу, чтобы ее в Питере раньше видели. А сам я выеду на Невский в самый развал, когда много народу будет. Утром я заеду освидетельствовать главным образом буквы, про которые я тебе сказывал... Чтобы буквы-то были побольше да повиднее. А затем я вторично приеду около полудня и с твоего двора и выеду в ней на Невский.

– Скажи на милость! – закачал головой Иван Яковлевич. – Ведь эта затея, знаете-ка,

даже пожалуй, и удивительная.

И Иван Яковлевич задумался о том, что вот и ему пришлось вдруг удивиться. Но тотчас же что-то подсказало ему:

«Что же тут удивительного! Так, стало быть, потребно... Насрамить! Тоже ведь и скучно им без дела-то...»

– И так верно будет, Иван Яковлевич? Коли ты не справишь мне это дело, ты меня зарежешь без ножа! – продолжал Шумский.

– У нас, Михаил Андреевич, одно слово. Кабы нельзя было, не взялся бы! Когда же я вас обманывал? Завтра в полдень милости просим, садитесь, только помните, краска мараться будет. Этого уж мы не можем. Будь летнее время, солнышко, и то бы за ночь не просохло, а как же в эдакое ненастье?..

Шумский вернулся домой сравнительно довольный и веселый, но к вечеру раздумье снова одолело его. Не имея возможности отвязаться от гнетущих мыслей и чувствуя снова утомление, он спозаранку лег спать. Но среди ночи в его спальне раздался крик настолько сильный, что долетел до горницы Шваньского.

Иван Андреевич тотчас вскочил горошком с кровати и прибежал в спальню патрона, не стесняясь своим ночным костюмом.

Шумский тоже в одной сорочке сидел на кровати и ерошил волосы на голове. Несмотря на тусклый свет лампадки, Шваньский заметил, что его патрон бледен и смущен.

– Что с вами, Михаил Андреевич? – взволнованно выговорил Шваньский, приближаясь к кровати.

– Воды дай... – отозвался Шумский сдавленным голосом.

Лепорелло быстро сбегал в буфет и принес стакан воды. Шумский залпом опорожнил его, отдал и вздохнул свободнее.

– Из офицеров за отличие в битвах житейских в бабы произведен, – вымолвил он. – И точно наяву! Фу, мерзость какая! Лезет же такая пакость во сне! Который час?

– Должно быть четвертый?

– Пора бы ему перестать гулять-то, – отозвался Шумский. – Ведь он только в полночь гуляет... Ин нет, что я! Он и до петухов бродит. Петухи-то, Иван Андреевич, еще не пели?

– Никак нет-с, – запинаясь, выговорил Шваньский.

– Стало быть, он еще ходит?

– Кто же это? Ох, что вы это! Тьфу! Прости, Господи!..

И Иван Андреевич перекрестился.

– Вестимо, черт... Домовой! Сейчас вот на мне верхом сидел.

– Что вы, Михаил Андреевич!?

– По-русски тебе говорят, что черт сейчас на мне верхом сидел. Жаль, что опоздал я проснуться, а то бы сгреб его, перекрестил да в рукомойнике и утопил. Ты вот что, Иван Андреевич, я спать буду, а ты сиди тут да карауль. Как он сядет опять на меня, ты его излови и попридержи, а я проснусь, сам справлюсь...

И Шумский глубоко, протяжно вздохнул и прибавил шепотом:

– Горбатого исправит могила. И мучаешься, и брешь. Сердце захватило, на части рвет, а язык всякое брешет. Ну, ступай спать. Буду опять кричать, не приходи. Все это баловство или лихорадка.

Шумский снова лег, выслал Шваньского, но, однако, и не думал собираться спать. Сон окончательно прошел. И глядя перед собой в полутемноту горницы, он стал в подробностях вспоминать все, что заставило его во сне вскрикнуть на весь дом.

Видел он во сне чепуху, но чепуха эта получила в его глазах огромное значение, потому что являлась за сутки до поединка. Будь это в другое время, сон этот не имел бы никакого смысла, но теперь он имел прямой и ясный смысл. Это прямо пророчество, предсказание, иначе и понять нельзя. Иначе понять заставляет только трусость. Объяснять все просто, значит обманывать себя из трусости.

Шумский видел во сне, что он стоит на том самом кладбище, где недавно был с

матерью, над могилой с едва заметной пожелтелой травой, с простым покосившимся на бок крестом. Это могила его отца, над которой он служил панихиду. Но теперь во сне ни матери, ни священника нет. Он стоит один. Около этой могилы свежо вырыты и сияют еще две.

Около одной из них сидит незнакомый ему мужик, которого он никогда не видал, но он знает, что это его отец.

И мужик-отец говорит ласково, тихо, с расстановкой, как бы толкует или разъясняет что:

– Это вот ничья могилка. Кто их знает, кого тут положили. А моя, вот она! Все хотят зарыть, да ленятся кладбищенские-то сторожа. Да вот заодно с тобой. Как тебя положат вот в эфту, так уж зараз и зароят обоих. А не придут, мы сами похлопочем. Обойдемся и без них. Да вот обида – лопаты нету.

И Шумский спокойно слушал старика, ему только было неприятно узнать, что этот мужик – его отец. Но что одна из двух могил приготовлена для него, это казалось вещью давно уже ему известною и делом весьма простым и обыкновенным.

Но вдруг мужик протянул руку, показал через Шумского и выговорил:

– Да вон уж идут! Ложись скорей!..

И тут только в один миг уродливое чувство страха, отчаяния и ужаса овладело Шумским. Он оглянулся и увидел идущих к нему священника, причетника и того самого кладбищенского сторожа, которого он знал. Он понял, что они идут зарывать его и закричал... И с криком проснулся.

И теперь, лежа в постели и озираясь в своей спальне, Шумский думал и изредка произносил вслух:

– Прямо пророчество! Так оно и будет! Такой сон за сутки до поединка не может даром пригрезиться. Ах, Ева, Ева! Только тебя и жаль! А эта собачья комедия на этом шарике, черт с ней! И тем паче, черт с ней, что и сам-то шарик не нынче, завтра треснет на миллион частиц. Кто тебя ни хорони, его все же похоронят... И это утешительно. Легче умирать, зная что все умрет... Люди говорят вместо умер «приказал долго жить». Врут черти! Какой это дурак, уходя, прикажет подольше тут оставаться всем остальным. Про меня пусть скажут лучше: «приказал вам собираться!»

XXVII

Благодаря тревожной ночи и действительно загадочному кошмару Шумский проснулся позже, чем предполагал, и, не пивши чаю, а только выкурив две трубки, выехал из дому.

Разумеется, он отправился прямо на извозчий костромича, чтобы узнать, как исполнен его заказ. Через час Шумский был уже дома довольный и несколько бодрее, хотя на лице его было странное выражение радости сквозь печаль, улыбки сквозь слезы. Он будто старался улыбаться и заставлял себя радоваться.

Усевшись за чай, он приказал послать к себе Шваньского, но оказалось, что того дома нет. Тогда он велел позвать к себе Марфушу.

Девушка тотчас же явилась, но вошла не так как бывало прежде, она уже не потуплялась и не робела. Отношения Марфуши к барину несколько изменились с его приезда. Казалось, что шутливый поцелуй, данный ей на крыльце, повлиял на нее и имел последствие, но ей одной известное.

Каждый раз, что барин вызывал девушку, справлявшую по-прежнему должность ключницы или экономки в доме, Марфуша тотчас же бросала какое-либо занятие и поспешно шла к нему. При этом лицо ее сразу оживлялось.

Болтая с девушкой, Шумский всегда мешал дело с бездельем, перемешивал разговоры о хозяйстве, о счетах, покупках, деньгах с шутками и прибаутками. Главной темой его шуток, острот, а иногда и довольно грубоватых выходок, был, конечно, предстоящий брак Марфуши со Шваньским. Иногда шутки эти переходили за пределы болтовни.

Понятно, что все это должно было иметь влияние на простоватую, скромную и

сердечную девушку. Понятно, что Шумский должен был ей нравиться, хотя вовсе не старался об этом, а просто шалил, почти не подозревая, что происходит на душе Марфуши.

Правда, иногда на мгновение он читал что-то особенное в ее красивых глазах, синих и задумчивых, так похожих... даже так странно похожих на глаза Евы. Но ни разу не пришла ему догадка, что это нечто новое и особенное отражает то чувство, которое возникло недавно у Марфуши.

– Женишка-то дома нет? – выговорил Шумский, улыбаясь, когда Марфуша стала недалеко от его чайного стола.

– Они сейчас вернутся.

– Много их?

– Как, то есть, много?

– Сколько их вернутся?

– Да вы про кого? Про Ивана Андреевича?

– Точно так-с... Вы изволите говорить: «они» вернутся. Я и изволю говорить: «сколько их»? А вот что, Марфуша, нестати сказать – ты сегодня хорошенькая!

– Все такая же-с, как всегда.

Шумский задумался на минуту и вдруг выговорил тише, медленнее:

– А что, Марфуша, если завтра в эту пору вот здесь, в столовой, будет среди комнаты стол стоять. А на столе простыня будет... А на простыне покойника положат со сложенными руками. Шандалы церковные кругом поставят... Дьячок или просвирня, что ли, псалтирь читать будет... Что ты тогда скажешь?

– Что это вы? Бог с вами... Кому же у нас помирать? И что у вас за мысли неподходящие.

– Нет, Марфуша, к несчастью у меня мысли самые подходящие. А скажи-ка, если завтра в эту пору я буду на столе мертвый лежать, поплачешь ты?

– Да что вы! Бог с вами! – испуганно махнула рукой Марфуша. – Зачем такое сказывать!..

– А ты отвечай... Поплачешь?

– Да не хочу я говорить про такое...

– Ну, слушай. Поди сюда. Садись вот да слушай в оба.

Марфуша хотела взять стул, но Шумский позвал ее, взял за руку и посадил около себя на диван. И он заговорил вдруг настолько серьезным и прочувствованным голосом, что девушка робко замерла и чутко прислушивалась.

– Завтра в эту пору... Нет, не в эту, а так в сумерки будет вот тут, в столовой покойник... И буду это я. Сказываю я тебе правду, а не брешу ради шутки. Я завтра утром драться должен и буду бесприменно убит. Чую я это... Так вот, побожись ты мне, что сделаешь ты две вещи, исполнишь два мои приказания. И исполнишь свято, слышишь ли!

Марфуша не отвечала, и в ее устремленных на Шумского глазах вдруг показались слезы.

– Раньше времени начинаешь! Ты завтра поплачь. Дело будет доброе. А то обо мне ни одна собака плакать не станет в Петербурге. Так ты поплачь хоть... Так слушай же. Вот видишь, левый ящик в столе... Он не заперт будет... Тут найдешь ты письмо да в бумаге деньги, рублей пятьсот, может, больше, может, меньше. Письмо ты тотчас же снесешь к баронессе Нейдшильд. Где она живет, Шваньский тебе укажет. И помни одно: делай, как знаешь, но проберись к баронессе и отдай ей письмо в собственные руки. Коли ты этого не сделаешь, я тебя с того света прокляну. А сделаешь – это тебе счастье принесет. А деньги возьми себе на приданое...

– Да что вы! Что вы! – начала Марфуша, но голос ее прервался, и слезы полились по лицу.

– Эка глупая. Раньше начинаешь. Иль ты хочешь мне образчик дать того, как плакать будешь. Ну, а скажи: почему ты плачешь? Ведь тебе, собственно говоря, плевать, жив я, нет ли... Какое тебе дело до меня!

– Грех так говорить, – отозвалась Марфуша.

– За какие такие мои благодеяния могла ты меня полюбить. За то, что я тебя все на смех поднимаю с женихом твоим. Как у вас слезы-то девичьи дешевы! Или, как сказывается, глаза поставлены на мокром месте. Это, стало быть, кто ни околеет на Большой Морской, ты выть примешься!

– Ах, Михаил Андреевич! – вдруг замотала головой Марфуша. – Как вы это сказываете! Какой вы диковинный! Человек умный, а разуму мало совсем...

– Вот так чудесно сказано. А главное – правда истинная! – воскликнул Шумский веселее. – Мне эдакого никто никогда не говорил, но сам я завсегда так думал...

– Вестимо, диковинный! Да вы скажите по правде: шутите вы, или взаправду беда какая завтра приключится с вами?!

– Должен я, Марфуша, завтра драться с уланом фон Энзе. И убьет он меня наповал.

– Почему вы это знаете?

– Да уж знаю. И знаю таким способом, который и тебе будет понятен... Сердце мое чувствует... Ты веришь, что сердце может чувствовать?

– Да. Коли сердце чувствует, сказывают, нехорошо. Только не будет этого. Пойду я вот сейчас в лавру, молебен отслужу да свечку поставлю. Образок принесу вам, а вы его наденьте, как пойдете стрелять.

– Надеть не мудрено... – выговорил Шумский. – Только это не поможет. Завтра в сумерки буду я на столе. И будет тут на квартире все тихо. Все будут на цыпочках ходить... И ты тоже... А в столовой только и будет слышно, что «быр, быр, быр». Будет брюзжать дьячок над псалтирем...

Шумский хотел продолжать, но Марфуша вдруг схватила себя за лицо руками и начала снова плакать.

– Что ты, Бог с тобой! Да ты скажи: неужто и в самом деле тебе бы жалко было?

– Ах, Михаил Андреевич...

– Да ты говори, глупая. Стой, погоди, что я надумал! – воскликнул вдруг Шумский весело. – Знаешь что... Ведь все от тебя зависит! Можно горю пособить. Коли ты захочешь, я буду жив и невредим.

– Как, тоись? – вдруг выпрямившись и как бы встрепенувшись, произнесла девушка.

– А очень просто. По нашему уговору с уланом, я могу вместо себя другого подставить. Ему все равно по ком палить. Так вот, если ты согласна, я пошлю обманным образом за место себя твоего Ивана Андреевича. Хочешь?

– Не пойдет он! – вырвалось у Марфуши голосом, в котором была наивная грусть о невозможности предполагаемого.

Шумский невольно улыбнулся.

– Да я ему не скажу, что по нем палить будут. Это такой особый поединок, который называется кукушкой. Я пошлю Ивана Андреевича якобы с поручением, а улан будет по нем палить. Ну, и ухлопает его на месте. Согласна?

Марфуша молчала.

– Вот то-то! Плачешь, якобы от того, что я завтра мертвый на столе буду, а предложил я тебе, как все дело сладить, так, небось, жалко стало своего мухоморного жениха.

– Ах, Михаил Андреевич! – замотала головой Марфуша и в этом движении наглядно сказалось, что за несколько минут она уже совершенно измучена и истерзана нравственно.

– Говори: посылать его завтра к улану? Или самому идти! Ну посылать, что ли?

– Ах да, вестимо же... – вырвалось вдруг у девушки будто против воли.

Но Марфуша тотчас же вскочила с дивана, отошла на несколько шагов и, став среди комнаты спиной к Шумскому, закрыла лицо руками.

– Вот как? – сухо выговорил он. – Стало быть, ты для меня жертвуешь женишком? Ведь его бесприменно убьет улан. Стало быть, выходит, ты меня больше любишь, чем Ивана Андреевича?

Марфуша стояла не двигаясь и молчала. Шумский встал, обнял девушку и, крепко

прижав к себе, прошептал ей на ухо:

– Коли так, чего же раньше не говорила? А теперь, вишь, поздно... Завтра в полдень драться буду, а ввечеру на столе буду... Пользы-то мне от тебя и никакой...

Марфуша крепче прижала руки к лицу, понурилась, и плач ее понемногу перешел в глухое, с трудом сдерживаемое рыдание.

В ту же минуту дверь отворилась, и на пороге появился бледный и встревоженный Шваньский. Он уже несколько мгновений стоял за дверью и если не слышал весь разговор патрона с своей невестой, то слышал его последние слова и ее рыдание.

– А!.. Иван Андреевич! – произнес Шумский простодушно. – Небось, подслушивал? Когда-нибудь тебе, родимый, так дверью лоб расшибут, что и последний умишко из головы выскочит. Коли ты что слышал да смекаешь, так помни, опасаться тебе нечего. Ты меня знаешь, я врать не стану. Да черта ли мне тебя обманывать. Было бы что, сказал бы прямо, без обиняков. А я хочу, чтобы ты зря не тревожился. Ведь поединок-то мой завтра поутру, а вечером ты уже будешь тут с попами распоряжаться.

– Помилуйте! Что вы?.. – заикнулся было Шваньский.

– Ладно. Ты слушай меня... Все что здесь есть в квартире, я оставляю тебе и об этом отпишу строжайше дуболому Алексею Андреевичу, чтобы он не смел перечить. Все себе и бери, дурья твоя голова! Обо мне на память лихую...

– Покорнейше благодарю, но Бог милостив... – начало было Шваньский с кислой улыбкой, но Шумский снова перебил его.

– А Марфуша вся расплаканная, потому что я ей говорил о том, о чем и тебе говорю не ради шутки. Завтра я буду мертвый человек. Знаю это наверное. Хочешь ли ты исполнить теперь мою последнюю просьбу?

– Помилуйте, Михаил Андреевич. Что прикажете. Что же тут спрашивать!

– Ну, вот слушай! Дело короткое и простое. А ты, Марфуша, выйди вон. При тебе нельзя говорить.

Когда девушка скрылась за дверью, Шумский объяснил своему Лепорелло, что он должен около полудня отправиться на извозничий двор известного ему Ивана Яковлевича и сесть в приготовленную карету, запряженную четверкой. И какая бы эта карета ни показалась ему странная или диковинная, все-таки садиться в нее и выезжать на Невский проспект. Затем тихой рысью проехав во всю его длину, объехать вокруг Зимнего дворца, выехать на Миллионную, а после того через площадь опять вернуться и проехать Невский и дать один конец по Литейной, да конец по Владимирской и тогда уже ехать обратно на извозничий двор.

Шваньский, знавший хорошо своего патрона, сразу понял, что в этом приказании заключается что-нибудь особенное и, конечно, опасное.

– Да что же, в меня палить будут, что ли? Так помилосердуйте, Михаил Андреевич! За что же мне умирать!

– Чует, разбойник, – рассмеялся Шумский, – что дело не в простом катанье. Ну слушай, Иван Андреевич. Убить тебя не убьют и никакой особой с тобой беды не будет. Помни одно, что завтра, ровно через 24 часа я буду убит наповал, и власти, ради этого, не станут тебя наказывать. Я же приказал тебе и я же помер. Ничего тебе за это и не будет. А просьба эта моя – последняя! Хочешь ты исполнить? Сказывай!

– Извольте, – выговорил Шваньский, как-то опускаясь и съеживаясь. – Не могу я вам перечить. Но только, Михаил Андреевич, если да вы...

Шваньский запнулся и потом прибавил:

– Если да вы вдруг живы останетесь...

Шумский рассмеялся неподдельно весело:

– Да, братец, если я такую штуку удеру, конечно, тебя, пожалуй, этим и подкузьмишь. Ну, да будь спокоен, я уже постараюсь – беспременно умру. Так собирайся! Только помни одно: какая бы тебе карета не показалась диковинная, садись и исполняй приказание. Не сделаешь, не смей сюда возвращаться! Это я говорю без шуток. Не сделаешь, на глаза ко мне

не кажись! – горячо и серьезно вымолвил Шумский. – Если не хочешь садиться в карету и кататься, так пришли тотчас мне сказать, что не хочешь. Я сам пойду и сяду. Но на глаза ко мне не кажись. А завтра, как будут меня тут устраивать в путешествие на тот свет, я велю тебя сюда не пускать. А исполнишь ты все это, то сказываю тебе, все, что тут есть в квартире твое будет!

Шваньский вышел задумчивый и озабоченный. Он всячески ломал себе голову, чтобы догадаться, какую затею надумал патрон и что придется ему творить часа через два на петербургских улицах, но, разумеется, отгадать было невозможно.

Главное, что сначала смущало Шваньского, не будут ли где в него по дороге стрелять. Но он вскоре убедил себя, что это предположение не имеет ровно никакого смысла и успокоился.

Прежде всего он стал искать по квартире свою невесту, чтобы расспросить, не знает ли она чего-нибудь о затее барина. Но Марфуши нигде не было.

Опросив людей, Шваньский узнал, что Марфуша ушла и приказала сказать, что идет в Невскую лавру, а вернется не ранее, как часа через три или четыре.

– Вон как! Богу молится, – пробурчал Шваньский. – Это за него... Ну что же, Бог с ней. И я бы помолился... А вот плакала-то она, уж того, чересчур горько? Что он ей?!

Если бы Иван Андреевич мог видеть в эту минуту Марфушу, то удивился бы еще более.

Девушка ехала на извозчике по Невскому с красным опухшим лицом, не переставая, плакала и утирала лицо платком. Даже извозчик, наконец, обернувшись к ней, вымолвил:

– Ишь, сердешная, барынька! О чем надрываешься? Приключилось что? На свежую могилу, что ль, в лавру-то едешь?

– Ах, что ты! Что ты! – испуганно вскрикнула Марфуша. – Ступай! Погоняй! Молчи! Как эдакие слова сказывать! Никакой нет могилки. И не будет! Не будет!..

XXVIII

Часа через два после объяснения Шумского со Шваньским Лепорелло выехал из дому, направляясь на извозчий двор. Он был совершенно смущен и как в воду опущенный.

«Что из всего этого выйдет?» – думал он и повторял вслух:

– Бросили мы было разные колена отмачивать, а теперь опять. Да еще к тому же я за него отдувайся!

Спустя час после Шваньского и сам Шумский вышел из дому и медленным шагом направился пешком на Невский. Он шел задумчивый и рассеянный, глядя себе под ноги и умышленно не кланяясь и не отзываясь на оклик знакомых, которых встречал.

«Вот черти! – думал он через несколько минут, озираясь на прохожих. – Вот жизнь! Живут, точно у ветряной мельницы крылья вертятся. Снаружи все вертится, а там внутри мука мелется то шибче, то тише, смотря какой ветер подует. Вертится, вертится, покуда не развалится. А тут у тебя жизнь какая-то дьявольская. За одну осень последнюю, что перегорело внутри... Где ни идешь, на каждом месте вспоминаешь что-нибудь скверное».

– Ну, вот и это место хорошее! – выговорил он вслух.

Глаза его случайно упали на подъезд того ресторана, где недавно встретился он с фон Энзе, едва не сделавшись убийцей и был сам без ножа зарезан.

И Шумскому показалось, что на подъезде, на вывеске, на окнах и там внутри, в горницах, повсюду было написано или виднелось одно слово: «подкидывш». Он вздохнул тяжело, снова опустил глаза в землю и продолжал тихо подвигаться вперед.

Через минуту чье-то восклицанье как бы разбудило его и привело в себя:

– Батюшки! Смотри! Смотри! Что такое? – раздался около него голос какого-то господина.

Шумский поднял глаза, и лицо его сразу оживилось, глаза блеснули и он улыбнулся радостно.

Среди улицы тихой рысью двигалась навстречу запряженная четверкой большая карета. И все, что было народу на Невском – пешеходов и проезжих – все глядело на эту карету так же, как и Шумский. Некоторые ворочались назад, иные даже бежали, следуя по направлению кареты.

Кузов довольно большого экипажа был ярко выкрашен вкось по диагонали в три цвета: белый, красный в черный, так же, как были уже вымазаны в городе две гауптвахты и несколько столбов, прилегающих к Дворцовой набережной. Козел не было. Кучер сидел очень низко, так, что голова его едва была видна за крупами лошадей. А над ним спереди, на кузове без окон, ярко сияли две огромные красные буквы: Д и У.

Кругом Шумского раздавались голоса:

– Что за притча! Что за дьявол! Вот так карета!! Что же эти буквы значат?..

Экипаж поравнялся с Шуйским, и он увидел в нем такую фигуру, что неудержимо и звонко расхохотался на всю улицу.

В карете сидело крошечное существо, казалось мальчик лет двенадцати, настолько от ужаса своего невероятного положения съежился весь Иван Андреевич.

Он сидел как раз посреди просторной кареты, понурившись, опустив голову на грудь, нахлобучив шапку по самые брови, и, вдобавок, неизвестно почему сложил руки на груди крестом, как складывают их у покойников.

Карета, привлекая общее внимание, сопровождаемая гулом голосов, ахов, восклицаний, шуток и острот, проехала мимо. И все, что оставалось теперь позади и смотрело вслед карете, начало хохотать, прочитывая продолженье...

Сзади на кузове теми же большими красными буквами стояла надпись: «РАК».

– Дурак! Дурак! – раздавалось кругом. – Вот так штука! Кто же дурак-то?.. Сам он, барин этот? Вестимо, дурак!

– Эх, господа! – раздался вдруг голос какого-то высокого, на вид очень важного господина. – Эта карета такого свойства, что всякому лучше придержать язык за зубами и не шутить на ее счет, а еще того лучше – не рассказывать, что видел.

Шумский двинулся далее, рассчитывая продолжать свою инспекцию и, прогулявшись немного, идти назад, чтобы видеть, поедет ли Шваньский обратно.

Через полчаса он вдали снова увидел карету, возвращающуюся по Невскому. На этот раз солнце блеснуло из-за облаков и ярко-красное «ДУ» на передней части кузова блестело весело и игриво, будто дразнило глаза.

Разумеется, всюду, где шел Шумский, было только и речи, что о путешествующей в столице расписной в три колера карете и о надписи «дурак».

– Он-то дурак – это точно, – шептал Шумский. – А вот умнику-то сойдет ли это даром? Впрочем, что же тревожиться об этом, коли умник-то завтра об эту пору будет уже в селении праведных.

В сумерки, когда заблаговестили к вечерням, костромич Иван Яковлевич, собравшийся было помолиться в храм Божий, очутился совсем в другом месте – в полиции.

XXIX

В отсутствие графа Аракчеева из Гру зина все население его нравственно отдыхало. Всякий человек знал по крайней мере, что спокойно доживет без беды до вечера. Этого было достаточно для всякого гру зинца, чтобы поглядывать веселее и быть счастливым. В усадьбе наступало большее оживление. Апартаменты графа бывали закрыты, и только на половине Минкиной сказывалась жизнь, но сказывалась своеобразно и дико...

Настасья Федоровна была такой же деспот и тиран, как и сам Аракчеев, но на свой женский образец. Граф наказывал постоянно за всякий пустяк, но делалось это как-то формально, холодно, административно. Он редко кричал на провинившегося, еще реже ругался и никогда не дрался собственноручно, считая это фамильярностью. Он позволял себе бить только своего камердинера, который имел на это своего рода права, ибо был его

ровесником, был когда-то другом детства и товарищем детских игр.

Но хотя граф не любил кричать и браниться, он одним взглядом или движением нагонял смертельный страх на крепостного человека. Глухим, спокойным голосом требовал он у провинившегося его «винную» книжку и так как во всех комнатах на отдельных столах были всегда чернильницы и очинённые гусиные перья, то граф мог всюду всегда без промедления вписать вину, сделав при этом загадочную пометку.

Если вина оказывалась третьей, или была важная вина, то Аракчеев своим гнусливо тихим голосом объявлял виновному жесточайшее наказание розгами, мочеными в рассоле, батогами, или прямо, не ухмыляясь, совершенно серьезно поздравлял своего раба слугою царя, т. е. солдатом, или приказывал собираться в путь на поселение в Сибирь.

Весь женский персонал в *Гру* зине граф никогда не трогал и, заметив какую-либо вину, заявлял о ней Настасье Федоровне. С своей стороны Минкина никогда ни единым словом не погрозила мужскому персоналу *гру* зинской дворни. Это было ей строго запрещено самим графом. Зато ей предоставлялась полная воля по отношению к женщинам и девушкам. И с ними барская барыня отводила душу, отличалась особенной жестокостью.

Слава об ее подвигах давно распространилась далеко за пределы губернии. В столице тоже всем было известно, как расправляется аракчеевская графиня с дворовыми женского пола. В Петербурге многие звали ее второй Салтычихой.

Часто рассказывались про Минкину ужасные поступки, но всеобщая ненависть к временщику спасала ее. Когда в столицу доходил какой-нибудь зверский поступок ее с кем-либо из дворовых девушек, то слуху не верили, отчасти благодаря его жестокости, отчасти думая, что петербуржцы из злобы к Аракчееву выдумывают и клеветают даже на его ключницу.

Разумеется, многие и многие знали, что аракчеевская графиня все-таки людоедка. Единственная личность, не знавшая даже и слухов, был государь. В бытность свою в *Гру* зине он ласково и приветливо обошелся с Минкиной, видя в ней человека более четверти столетия преданного его любимцу. Открыть глаза государю на зверские поступки и временщика, и его любовницы никто не дерзал.

Когда Аракчеев бывал в *Гру* зине, Настасья Федоровна несколько стеснялась: чинила суд и расправу осторожнее, не потому, чтобы ей это было запрещено, а потому что граф не любил, чтобы до него достигали крики и бабий вой. А барабанный бой при наказании женщины считался неуместным.

Зато, когда граф уезжал из *Гру* зина, Настасья Федоровна давала волю своим затеям и на ее половине от зари до зари слышен был как ее крик, так и вытье ее жертв. Вдобавок Минкина, имевшая слабость к спиртным напиткам, в отсутствие графа не могла провести двух, трех часов без водки.

Пообедав в час дня, она вставала из-за стола совершенно пьяная, и тогда начиналась расправа со всякой подвернувшейся под руку женщиной. Затем она засыпала, просыпалась в сумерки, пила чай или вернее ром с малым количеством жиденького чаю и к вечеру бывала снова пьяна, а хмель снова требовал жертв.

В деле мучительства дворовых женщин и девушек, даже девчонок, проявлялась у нее тоже какая-то животная страсть и тоже какой-то запой.

Случалось Минкиной целую неделю прожить смирно и пальцем не тронуть никого. Случалось наоборот за одну неделю перебрать чуть не весь наличный состав женского персонала. Тогда на ее половине, в сенях, на чердаке, на деловом дворе и на конюшне почти не прекращались наказания.

На этот раз по выезде графа случилось то же самое.

Аракчеев не успел доехать до Петербурга, как в *Гру* зине уже были нещадно наказаны восемь женщин. Но теперь главной намеченной жертвой у Минкиной была Пашута. С той минуты, что Настасья Федоровна увидела девушку сильно изменившейся в Петербурге к лучшему, беспричинная злоба шевельнулась в ней.

– Погоди барышня! Погоди прелестница! Белоручка!.. – ворчала она себе под нос.

С первого же дня она почувствовала особым чутьем во взгляде Пашуты то, чего не переносила никогда: грустную покорность судьбе, твердую волю перенести все и презрение к людоедке. При первом же свидании Минкина, как бы отвечая на взгляд Пашуты, выговорила:

– погоди! Я тебя проберу! Глазища-то выцветут!

Покуда Шумский был в усадьбе, Минкина не решилась, конечно, пальцем тронуть девушку, но едва только он выехал из усадьбы, как мытарства Пашуты начались.

Призвав девушку к себе, Настасья Федоровна объявила ей, что так как она сумела в Петербурге услужить какой-то баронессе, то будет состоять при ней в качестве главной горничной.

И с этого же дня пошло ежечасное мученье, начавшееся с пощечин. Так как Минкина постоянно дралась сама, то руки ее бывали почти всегда в синяках. Люди немало удивлялись этому и всем им казалось, что другой бы барыне никаких рук не хватило, ибо всякие кулаки истрепятся при таком занятии! Холопы не знали того простого объяснения, что кулаки Минкиной тоже обколотились и загрибели в силу привычки. Она бы могла теперь со всего маху бить кулаком даже по стене, не ощущая и половины той боли, которую почувствовала бы другая.

Пашута служила теперь в горницах Настасьи Федоровны, вызываемая и понукаемая ею по несколько раз в час. Девушка ходила бледная, опустив глаза и понурившись. Она отлично понимала, что как только уедет граф, не пройдет двух, трех дней, и она не избегнет того, чего боялась всю жизнь – наказания на конюшне.

И действительно, едва только Аракчеев выехал из Гру зина, как Минкина, страстно желавшая скорей истязать девушку, начала искать предлога.

И тут явилась диковинная черта быта. Нужно было соблюсти приличие, остаться строгой, но справедливой барыней! Несмотря на свое желание тотчас же подвергнуть Пашуту жесточайшему истязанию, Настасья Федоровна не могла этого сделать. Ее злобу останавливало чувство условного приличия или условной справедливости.

Ей нужно было оказаться якобы правой пред глазами дворни, чтобы Пашута действительно провинилась хоть бы в мелочах. А девушка, как на зло, безмолвно сносила пощечины, тумачи в голову, площадные ругательства и всякие издевательства. Уже раз десять Настасья Федоровна грозилась девушке немедленно отправить ее на расправу к конюхам, но не делала этого, останавливаемая стыдом перед дворней, ибо не было еще повода... Он не давался в руки...

Вместе с тем, зная, что граф скоро вернется опять и проживет, пожалуй, более недели в Гру зине, Минкина пользовалась временем, чтобы предаваться пьянству. Поэтому половину дня она дремала или просто валялась без чувств на диване в своей горнице, что однако не мешало ей крепко спать и всю ночь.

В остальное время она подвергала разным мытарствам и наказаниям разных женщин и с каким-то изуродованным чувством наслаждения людоеда думала и мечтала о наказании Пашуты. Иногда будучи вполпьяна она, ухмыляясь, говорила девушке:

– Постой! Барышня! Теперь не хочу. Ты у меня на закуску пойдешь!

Наконец, однажды в сумерки, пролежав с обеда почти в бесчувственном состоянии, Минкина пришла в себя и, вызвав двух горничных, заставила их потихоньку поливать себе голову холодной водой. Затем она села за чай и позвала Пашуту к себе.

Вскоре в соседних горницах услышали дикие крики барыни и громкое рыданье девушки. Так как это случилось в первый раз, а до тех пор Пашута молчаливо и безропотно сносила все с немим отчаянием, то все насторожились и прислушивались. В горнице Настасьи Федоровны раздался стук, произошло что-то, а затем Пашута выбежала оттуда, как безумная, с рассеченным лицом, по которому струилась кровь.

Минкина тоже появилась в дверях и сиплым от гнева голосом позвала к себе горничных. Прибежавшие на зов дворовые девушки нашли ее в совершенно диком состоянии остервенения. Она легла на диван, задыхаясь и охая, как от боли. Изредка только

вскрикивала она:

– Изведу! Изведу!

На платье ее и в сжатых судорожно кулаках виднелись волосы ее жертвы. Оказалось, что тут произошло то, что бывало отчасти редко: было собственноручное таскание за волосы.

Между тем, внизу, в маленькой горнице, близ кухни сидела на ларе Пашута, схватив голову руками. Перед ней сидел Копчик в белом фартуке и колпаке, так как он уже несколько дней был назначен в должность помощника к повару.

Пашута прибежала к брату совершенно бессознательно, без всякой цели. Она ждала каждую минуту, что за ней придут, чтобы вести ее на деловой двор или на конюшню для истязания. Брат и сестра сидели и молчали.

Наконец, Копчик внезапно поднялся, сбросил с себя колпак и фартук, надел тулуп и стал звать сестру. Пашута сидела, как помертвевшая, и ничего не слышала. Пришлось растолкать ее, как спящую, и привести в чувство.

– Где у тебя платье теплое? Говори скорей!.. Поняла что ли?.. Скорей...

Не сразу ответила девушка на вопрос. Васька бросился наверх и через несколько минут был снова в горнице и одевал сестру. Когда она была готова, он схватил ее и почти потащил за собой. Очнувшись на воздухе, девушка окончательно пришла в себя и вымолвила:

– Куда ты?

– Иди! Иди... Чего уж тут! Не мы первые, не мы последние... Хуже не будет! Спасибо деньги есть!..

Минут через двадцать брат и сестра были на краю усадьбы и двинулись в поле. В версте от Гру зина их нагнал проезжий мужиченко. Они сговорились, называя себя прохожими издавелека, сели к нему и двинулись рысцой.

Только через полчаса молчания Васька объяснил сестре, что они ни что иное, как беглые.

– Куда? Еще неведомо. Куда глаза глядят! А там видно будет.

Пашута вздохнула глубоко и не ответила ни слова.

XXX

Ночью беглецы были уже на Петербургской дороге. Пашута пришла в себя, несколько ободрилась и благодарила брата, что он надумал бежать из Гру зина. Девушке казалось, что если побег будет и неудачен, то все-таки она ничего не теряет. Ей, очевидно, предстояло жестокое наказание розгами, а она боялась этого пуще всего. Она предпочла бы не только ссылку в Сибирь, но, пожалуй даже, и каторжные работы.

Благодаря деньгам, которые нашлись у Копчика, они наняли подводу и подвигались к столице хотя и медленно, но без перерыва. Переночевав в какой-то деревушке, брат и сестра после долгих совещаний решили явиться прямо в дом барона Нейдшильда и просить временного убежища.

Пашута вспомнила, что когда шло дело о покупке ее у графа, то после отказа его баронесса предлагала ей просто бежать и укрыться в Финляндию.

«Авось и теперь добрая барышня не откажет в той же помощи», – думалось Пашуте.

На другой день около полудня беглецы были уже на Васильевском острове. Васька оставался в подводе на улице, а Пашута вошла в дом и велела доложить о себе баронессе.

Ева при имени любимицы страшно обрадовалась, вышла из своих комнат к ней навстречу и, схватив за руки, повела к себе. Молча и с изумлением вгляделась Ева в лицо своей прежней любимицы.

– Как ты переменялась? Что с тобой было? – участливо вымолвила она. – Садись, рассказывай! Верно беды всякие?

Пашута в двух словах объяснила, что она бежала из Гру зина от страха телесного наказания и рассчитывает на помощь баронессы. Прежде всего она попросила впустить в

дом брата, который ждал на улице. Ева распорядилась тотчас же. Затем, покуда Ваську кормили внизу в людской, баронесса велела подать чаю и начала поить и кормить Пашуту. Отдохнув немного, Пашута рассказала подробно все свои приключения и свою каторжную жизнь в Грузии.

Конечно, не раз приходилось девушке упоминать о Шумском. Собственно он был главным виновником всего, а между тем у Пашуты почти не было никакого озлобления на него.

– Диковинный он! – говорила Пашута. – Бог его знает, какой диковинный! Сам меня разыскал полицией, свез в Грузию на расправу, а там позвал, говорил со мной ласково, много говорил, жалел меня, и во мне к нему как-то никакого зла нету.

И затем Пашута, уже забыв говорить о себе и своей судьбе, передала Еве беседу свою с Шумским о ней – баронессе. Она созналась, что даже решилась сказать ему о том, как баронесса равнодушна к нему.

– Он этого не знал, барышня, и мои слова так его всего и перевернули! – прибавила Пашута.

Ева вспыхнула слегка, но смолчала на это заявление и задумалась. Затем после долгой паузы она выговорила:

– Что ж. Это правда! Пускай знает.

И баронесса в свой черед рассказала любимице о том, как граф Аракчеев вызвал ее отца как бы ради объяснения по делу, а сам в грубой форме стал сватать своего приемного сына.

Ева не была оскорблена поступком графа, смотрела на все дело иными глазами, но отец ее был тогда настолько оскорблен и раздражен, что к нему в первый раз в жизни и приступу нет. Ева надеялась, что только со временем, когда уляжется гнев доброго барона, можно будет приступить к нему с просьбой о согласии. А покуда баронесса созналась, что она находится в тревожном состоянии духа, так как уже второй день носится в Петербурге слух о предстоящем поединке Шумского с фон Энзе.

– Каждый день ожидаю я известия страшного и горестного, – сказала Ева.

– За кого же вы боитесь? – спросила Пашута. – За Михаила Андреевича?..

– За обоих, но только разное. Один хороший, честный, добрый. Кроме добра, я от него ничего не видела, и он уже давно любит меня. Я за него, конечно, боюсь. Но за другого, который много мне зла причинил, боюсь еще больше. В случае беды с одним мне будет очень горько, а случись беда с другим, я думаю, что тогда и моя жизнь прекратится. Я буду жить для отца, а не для себя.

Беседу баронессы с Пашутой прервал человек, доложивший, что барон просит барышню к себе тотчас же.

Ева, придя к отцу, нашла его несколько встревоженным. Он узнал о присутствии в доме людей графа Аракчеева и был серьезно озабочен неосторожным поступком дочери. Барон почему-то догадался, что люди графа ищут у него убежища, как беглецы. Ева подтвердила его подозрения.

Нейдшильд стал объяснять дочери то щекотливое положение, в которое они будут поставлены, если беглецов полиция отыщет у них Аракчеев, уже взбешенный недостаточной податливостью барона, мог придаться к этому случаю, чтобы иметь повод наделать ему всяких неприятностей.

Ева стала просить отца облегчить по крайней мере Пашуте с братом способ укрыться в Финляндии.

Барон объяснил, что это дело крайне мудреное, так как на границе великого княжества спрашивают паспорта. Летом, во время навигации можно было бы тайком помочь Пашуте и Ваське пробраться в Финляндию на каком-нибудь купеческом корабле и позволить им поселиться невдалеке от имения барона. Но зимой не было никакой возможности устроить побега. При этом барон стал убедительно уговаривать дочь не держать любимицы с братом у них в доме и тотчас же сбывать их с рук.

Ева вернулась к себе совершенно расстроенная и, объяснив все Пашуте, готова была

заплакать.

Пашута оказалась благоразумнее и стала оправдывать барона, находя, что он поступает совершенно правильно. Она только потому и решилась явиться к ним в дом, что думала будет возможность немедленно отправиться далее и бежать в Финляндию. Но оставаться у них было, конечно, невозможно. Полиция, извещенная из Гру зина об их бегстве, не преминула бы их тотчас найти в доме барона.

– Что же ты теперь будешь делать, моя бедная? – воскликнула Ева.

Пашута вздохнула, подняла глаза на свою дорожную барышню и выговорила странным голосом:

– Есть человек в Петербурге, который меня и брата укроет и всякое одолжение нам окажет или же тотчас же выдаст нас обоих с головой обратно в Гру зино.

– Кто же это такой?

– Догадайтесь, барышня! Немудрено догадаться. Это диковинный человек! Или он нас сейчас же с полицией отправит к графу, или устроит у себя и будет за нас горой стоять, потому что он не таков, как все люди, а так Бог его ведает, какой он уродился. Я так рассуждаю, барышня, что этого человека можно совсем легко и ненавидеть, и обожать. Есть за что презирать его и все это знают. А есть за что – и я это верно знаю – за что просто молиться на него. А эдакое он скрывает пуще преступления. Я о нем много чего знаю, что вам никогда не рассказывала. Зла была на него за его ухищренья против вас. Что он денег раздает неимущим. Страсть!.. Раз пьяного мужика спасая из Невы, чуть сам не утоп. А раз было, взяв с собою брата моего, пошел он по газетному объявлению покупать какую-то диковинно большущую собаку у одного совсем бедного чиновника. Заплатил он сто рублей и велел Васе брать собаку и вести к себе. А тут вдруг все дети этого чиновника прощаются с псом, целуются. Он поглядел да пса этого и подарил детям, а денег не взял обратно. И много, много эдакого за ним водится. А в ином в чем он душегуб. Одного дворового слугу убил ведь чем-то из собственных рук. Бутылкой что ли или канделябром. Да. От него всего жди. А больше хорошего, чем худого. На него закон не писан!

– Как? Неужели ты решишься пойти к нему! – воскликнула Ева, зная, конечно, о ком идет речь.

– Да. А почему же не идти?!

– К господину Шумскому?

– Да, барышня. И сдается мне по всему, что теперь он нас с братом не выдаст. Никто не знает, чего он сделает, чего нет! Да и сам он не знает, что завтра натворит хорошего ли, худого ли...

Пашута стала просить баронессу оставить ее брата у себя в доме хотя бы только до вечера, а сама тотчас же собралась к недавнему злейшему врагу своему, потому, что он действительно мало походил на всех других людей. Когда Пашута уже прощалась с баронессой, эта вдруг выговорила упавшим голосом:

– Как бы мне хотелось видеть его хоть на секунду.

– Михаила Андреевича?

– Я его не видала с тех пор, как он был у нас с своим предложением. Подумай, Пашута! Ведь сто лет прошло...

– Хотите, барышня, я это устрою? Я скажу вам, где, когда он будет, вы и повидаетесь...

Ева вспыхнула. Яркий, пламенный румянец разлился по ее снежно-белому лицу.

– Хорошо... Сделай... – едва внятно выговорила она, потупившись и, затем, крепко обняв Пашуту, пылко поцеловала ее несколько раз. Пашуте почудилось, что баронесса, целуя ее, не ей предназначает мысленно эти страстные поцелуи.

– Вот как бывает... – задумчиво заключила Пашута. – То мешала всячески ему, а теперь сама помогать свиданьям вызываюсь. Кто подумает из подлости, страха ради Минкиной и Гру зина... А ей-Богу нет... Ради вас обоих...

– Ну-с, ваше высокоблагородие, пожалуйста умирать! Да... Приглашение в некотором роде приятное. Пожалуйста! Милости просим! На тот свет! Или вернее выразиться: на тот нуль, где собственно ничего и никого нету.

Так рассуждал Шумский, тихо двигаясь взад и вперед по своей спальне с длинной трубкой в руках.

Он получил известие, что граф Аракчеев выехал в Грузино почти в то самое время, когда расписная в три колера карета с надписью «дурак» прогуливалась по главным столичным улицам. Знал ли военный министр об этой выходке какого-то общественного блазня или нет. Шумский не беспокоился. Ему было не до того...

Узнав об выезде графа, он тотчас послал за приятелями-секундантами для переговоров и окончательного определения времени поединка.

И в ожидании обоих офицеров он волновался. Были уже сумерки, на дворе темнело все более, а вместе с наступавшей темнотой усиливалась и смута на душе молодого человека. И в этой умственной и душевной смуте его, в этой сложной внутренней борьбе играло не последнюю роль простое удивление себе самому.

Почему же прежде он не смущался, не боялся, а теперь позорно трусит. Прежде не было никаких дурных примет и никакого тяжелого предчувствия, а теперь он знает и уверен, что отправится «на тот нуль». Ведь не мог же он за месяц времени измениться, из смелого человека сделаться трусом.

И рассуждая сам с собой, Шумский пришел к оригинальному умозаключению, которое показалось, бы всякому чепухой, а ему казалось логическим и разумным. «Все на свете, – рассуждал он, – зависит от слепой судьбы, от глупого случая, от мизерной мелочи, от пустяка, едва приметного разуму. Вся жизнь человеческая – цепь, непрерывно составляющаяся из случайных звеньев или колечек, которые прицепляются справа и слева, зря, без всякой причины, одни по воле человека, другие помимо его воли. Если же судить строго, то все... помимо воли, ибо человек хочет что-либо, потому что обстоятельства заставляют его хотеть»... Тому назад несколько дней все маленькие звенья этой цепи, т. е. его существования, казалось, сплетались так, что должен погибнуть его враг, а он должен остаться невредим. Теперь наоборот...

– Бывает же, – рассуждал Шумский, – что при игре в карты один вечер из двух игроков выигрывает все один. В другой раз наоборот. Как докажу я теперь себе и другим, что если бы Аракчеев не помешал своим приездом и если бы я дрался с фон-Энзе, как было назначено, то он был бы теперь убит. А между тем, я чувствую, что оно так бы и было... А теперь будет наоборот. Тогда я поэтому не боялся. А теперь боюсь... Ветер переменялся! Движение невидимо набегающих случайностей иное, не за, а против меня... Теперь, я чувствую, будет нечто мельчайшее, невидимое и неуловимое рассудком в пользу улана. Тогда все было в мою пользу.

И после этого Шумский спрашивал себя:

– Если такая полоса теперь роковая для меня, то не поступить ли, как игроки делают. Обождать!.. Прервать игру, чтобы потом опять начать.

И он отвечал:

– Нет, нельзя. Стыдно! Да и переменится ли... Видно такова судьба моя...

Часов в пять приехал первым капитан Ханенко. Он понял, зачем Шумский вызывает его и, поздоровавшись, тотчас же спросил:

– Так стало быть на завтра, Михаил Андреевич?

– Да, конечно. Энтот уехал... Идол-то мой.

– Нового, стало быть, ничего. Все по старому. Не передумали?

Шумский ничего не ответил.

Наступило молчание. Ханенко закурил трубку и начал, сопя и мрачно сдвигая брови, пускать дым кольцами. Он делал это чрезвычайно искусно. Белые, будто твердые, кольца, вершка в два величиной, вылетали у него изо рта и, быстро извиваясь, расширялись до

полуаршина, не теряя своей формы. Случалось, кольцо, расходясь среди горницы и поднимаясь, достигало под потолком двух аршин ширины и все-таки оставалось легким, едва видимым кружком.

– Удивительно! – вдруг выговорил капитан. – Кто это мог выдумать поединок? Это все просвещение наделало да изобретение чести. Прежде было, надо думать, проще. Вот хоть бы господин Каин Адамович с братишкой со своим поступил совсем не эдак. Зазвал просто в глухое место и уkontентовал его без всяких комплиментов и реверансов. А теперь изобрели честь... Что честно и что не честно. А прежде было понятие лишь о том, что выгодно и нужно. А хорошо ли, дурно ли... об том не думали. Все хорошо, что мне хорошо. А теперь черт знает что такое! Мне не хорошо, а мне говорят – хорошо мол. Мне очень бы хорошо – а мне говорят: ох, как, мол, это не хорошо... с точки зрения, то есть, чести... А что такое честь, милостивый государь? Покажите ее мне или изобразите, нарисуйте на бумажке, чтобы я мог вполне с ней ознакомиться. Нельзя, говорят, нарисовать... А вы верьте на слово, что она есть... Ведь и благополучие нельзя нарисовать и счастье нельзя нарисовать. Верно, а все же неправда. Благополучие свое да счастье свое я чувствую распрочувствительно всем телом... Руками могу ощутить и показать даже, где оно во мне засело и будто колыхнется... А вот где во мне и в людях честь пребывает, этого я не знаю. И чую я ее совсем иначе. Навязали мне ее якобы ранец какой на спину, да уверяют, что это не ранец, а частица моего тела... Тогда горб, что ли? Так черта в нем... Очень жаль. И совсем бы не нужно...

Капитан долго рассуждал все на эту тему. Шумский слушал, не перебивал и изредка только улыбался, как бы мысленно соглашаясь.

Наконец, появился Квашнин, хмурый, и предложил другу почти тот же вопрос.

– Стало быть, на завтрашнее утро?

– Да. Съездите, пожалуйста, оба, один к Бессонову, а другой к немцам.

– Эх, обида... Я все надеялся, граф проведает да запретит, – вдруг вымолвил Квашнин со вздохом.

– Не – тужи, голубчик, – отозвался Шумский. – Ну запретил бы... А я бы не послушался...

– Мало ли что... Немцы бы послушались, побоялись бы идти против его воли.

– На смерть идя, чего же властей бояться. Я вот ужасно люблю, – рассмеялся Шумский, – статью закона воспрещающую и наказующую самоубийство. Пречудесная статья! Глупее ничего не выдумаешь. Если преступление не удалось, то за него строго судят, а если удалось – совсем не судят. Некого! Пречудесно...

Перетолковав затем снова о некоторых подробностях поединка, приятели расстались с хозяином. Шумский проводил их до передней.

– Ну, авось, завтра не будет опять помехи. А то эта канитель все жилы у меня вытянула! – раздражительно произнес он. – Сто раз бы уж успели оба быть убитыми.

– Убить и убиться не долго, – мрачно отозвался Ханенко. – Вот воскреснуть опять. На это много времени потребуется. Тем паче, что светопредставление сколько разов назначалось и все отменяется.

Едва только Шумский остался один, как вошла к нему Марфуша и объявила барину, что к ним явилась девушка Прасковья и просит позволения видеть его.

– Пашута?! – воскликнул он. – Из Гру зина. Какими судьбами?

– Не знаю-с. Она что-то очень не по себе... Не с радостными вестями.

– Мне из Гру зина, Марфуша, нет радостных вестей. Разве придут сказать, что Настасья околела, а Аракчеева в солдаты царь разжаловал. Зови ее...

Через минуту в кабинет Шумского появилась Пашута взволнованная и, наклонившись, стала у порога.

– Здравствуй, Пашута. Каким образом?... Прямо из Гру зина?

– Да-с. Побывала только у баронессы на часок, а оттуда к вам.

– Что баронесса?..

– Ничего. Слава Богу...

– Целый век не видал я ее, – глухо выговорил Шумский.

И Пашута невольно подивилась, что эти два существа, вспомнив при ней друг о друге, выразились почти теми же словами.

– Кто тебя в Питер прислал и зачем?

– Я бежала.

– Что-о?!

– Бежала с Васей... Меня Настасья Федоровна стала нещадно по лицу кулаками бить, за волосы рвать и, наконец, не за что собралась наказать на конюшне. Я и убежала.

– Ну и что же будет теперь? Ведь еще хуже будет. Тебя полиция разыщет и водворит... И прямо в эдекуль...

– Помогите вы, Михаил Андреевич... – выговорила Пашута дрожащим голосом. – Я на вас всю надежду возлагаю. Диковинно вам это слушать, а я правду говорю...

Шумский задумался, потом развел руками. Пашута оробела сразу.

«Неужели я ошиблась?» – думалось ей.

– Как же это быть-то! Жаль мне тебя, а помочь не могу... Я завтра на том свете буду... Сегодня оставайся, а как меня приволокут сюда мертвого, так и спасайся, куда знаешь...

Пашута изумляясь поглядела на Шумского. Он объяснился и сказал про поединок с фон Энзе.

– Бог милостив! – вымолвила девушка.

– К обоим зараз нельзя... А к кому будет Он милостив? Фон Энзе почаще меня молился небось. Я только черкаюсь день деньской.

И вдруг Шумский вскрикнул:

– Стой! Стой! Надумал! Выгорело дело! Я напишу сейчас письмо графу. Последнее! Перед смертью! Я попрошу тебя пальцем не трогать и на волю тотчас отпустить в помин моей души. И знаю верно, он из суеверия это сделает. Вот так надумал! Диво ведь это, Пашута. Говори, диво ведь?..

Пашута не ответила и через мгновение вдруг громко заплакала.

– Ты что же это?.. Обо мне или об себе. Моли Бога, чтобы я убит был. Тогда ты вольная. А буду я жив – ты пропала...

И Шумский, усадив Пашуту, успокоил ее и начал расспрашивать про баронессу.

XXXII

Ночь он плохо спал однако... Не волнение от простой боязни завтрашнего дня мешало ему глаза сомкнуть, а совершенно иное чувство, странное для него самого. Он ощущал в себе лишь одно страшное озлобление. И озлобление беспредметное, потому что это была злоба или ярость на всех и на все, на жизнь, на небо, на самого себя, на свою судьбу, на завтрашний неминуемый конец. Он смутно сознавал однако, что этим озлоблением выражается в нем или замаскировалась та же простая трусость и боязнь смерти.

– Дрянь какая! Сволочь! – ворчал он. – Хамская кровь заговорила!.. Прыток был на словах. А кто приказывал заваривать кашу. Сам лез на рожон, сам себя и надул.

И затем, будто прислушиваясь к тому, что происходило на душе, он вдруг произносил:

– Да врешь... Врешь... Я тебя заставлю умирать глазом не моргнувши. Не позволю срамиться. Да и черта ли в тебе. Кому ты нужен... И себе-то не нужен. А Ева и ее любовь? Да ведь это Пашута уверяет, а не сама она...

И он начал думать о баронессе, о том, что Пашута снова рассказала ему о чувстве Евы к нему. И он мысленно лънул к ней пылко и страстно.

– Да, потеряешь ее теперь. А жил бы и действовал законно, честно, ничего бы такого не было... С чего началось и пошло... С той ночи, что вором и душегубом лез в дом барона красть у него все... Дочь и честь... Напоролся на чуткого человека, который ее защитил, а тебя ошельмовал... Ну вот и доигрались до кукушки. А теперь, хамово отродье, трусил. Блудливее ты кошки, и трусливее зайца... А все ж таки, говорю, врешь... Ты у меня пойдешь

на убой так, что и бровью не поведешь. И ништо, не стоишь ты жизни...

И через мгновение он думал:

– Не стою я этой жизни?.. Нет! Вздор!.. Жизнь эта не стоит меня... или того, чтобы я ею дорожил. И моя жизнь и всякая иная – пляс дурацкий. Всякий живущий на земле просто пудель ученый, что прыгает в обруч, якобы зная для чего.

Шумский заснул крепко только часов в семь, а в девять по его приказанию явился уже будить его Шваньский.

– Пора, Михаил Андреевич. Пора-с.

Шумский пришел в себя не сразу, но, наконец взглянул на Шваньского пристальнее и вымолвил:

– Чего?.. Что?..

– Вставать пора-с.

– Вставать. Да. Тоись умирать пора-с.

– Господь с вами. Зачем... Бог милостив...

– Слыхали мы это... – проворчал Шумский сам себе и, глубоко вздохнув, прибавил: – трубку...

Шваньский подал трубку, помог раскурить, держа зажженную бумажку и произнес, наконец, несколько тревожно и вопросительно.

– Меня в полицию требуют из-за кареты энтой. Сейчас сюда приходил квартальный...

– Ну, и ступай.

– Что ж мне сказывать прикажете?..

– Сказывай... что ты дурак.

– Помилуйте, Михаил Андреевич. Будьте милостивы, научите.

– Убирайся к черту! – вскрикнул Шумский. – Сказано тебе было сто раз, что меня убьют, а тебя простят. Дура!..

Через полчаса он, уже умывшись и одевшись, сидел за чайным столом, который накрыла Марфуша. Теперь, осмотрев все ли на месте, она стала поодаль от стола и впиалась глазами в сидящего барина. По лицу девушки видно было, что она не спала ночь. Глаза ее опухли и покраснели от слез, а все лицо, обыкновенно красивое, теперь было бледное, искаженное, будто помертвелое...

Шумский не замечал ничего, пил чай, глубоко задумавшись и усиленно пуская клубы дыма из трубки. И вдруг он смутно расслышал над собой:

– Михаил Андреевич... Ради Создателя! Что вам стоит... Ну, хоть для меня...

– Что? Что такое? – удивленно выговорил он, поднимая глаза на девушку.

Марфуша стояла около него, держа в руке маленький образок с шнурком.

– Это что еще?..

– Михаил Андреевич... Ну, хоть для меня... Ради Господа... Ведь не трудное что прошу.

– Да чего тебе... Говори.

– Наденьте вот, говорю, образок. Я его из лавры нарочно для вас взяла... – со слезами промолвила Марфуша. – Угодник Божий спасет вас от всякой напасти...

– Здравствуйте... Э-эх, Марфуша!.. Кабы я в это верил, так я бы себе ожерелье целое из них нацепил... А так... это ни к чему... Ты его побереги. Приволокут меня сюда мертвым часа через три, ну вот тогда и вздешь его на меня... А теперь...

– Ну, ради Господа, прошу вас... – заплакала Марфуша. – Ведь не мудреное... И кого вы удивить хотите...

– Удивить?! – воскликнул Шумский и, подумав, он вдруг улыбнулся грустно и прибавил вполголоса: – И то правда... Никого не удивишь... Давай сюда... Будь по-твоему...

Он надел шнурок через голову и, просунув образок за ворот рубашки, улыбнулся снова.

– Поцелуй ты меня на счастье. Это вернее будет! – Марфуша, несмотря на слезы, слегка вспыхнула и опустила глаза.

– Ну что ж? Не хочешь. Я послушался, а ты вот упрямишься. Тоже не мудреное прошу.

– Извольте...

– Ну...

– Извольте, – повторила Марфуша и придвинулась к нему еще ближе.

– Чего «извольте?» Обойми, да и поцелуй. Сама. Я пальцем не двину...

Марфуша слегка взволновалась и не шевелилась. Новость останавливала ее. Она уже привыкла к тому, что Шумский изредка обнимал ее и целовал, но сделать то же самой, казалось ей чем-то гораздо большим.

– Ну, что ж... долго ждать буду?

Марфуша вдруг порывом опустилась перед ним на колени, почти упала, и схватив его руки, начала целовать их, обливая слезами. Шумский долго смотрел на ее опущенную над его коленями серебристую голову и вдруг выговорил:

– А ведь ты последняя... После тебя, ввечеру, все уж ко мне прикладываться будут без разбора пола и звания...

– Полно вам... Полно вам... – прошептала Марфуша. – Верю я, что все слава Богу будет.

– А я не верю... А при безверии да маловерии все к черту и пойдет.

Марфуша хотела что-то сказать, но в это мгновение раздался звонок в передней. Девушка вскочила на ноги и быстро вышла вон.

Приехавший был Ханенко. Он поздоровался с хозяином, пытливо глянул ему в лицо и молча сел к столу.

– Когда ехать-то на балаганство? – спросил Шумский.

– К одиннадцати след бы ехать, – ответил капитан угрюмо. – Петр Сергеевич уже, поди, там распоряжается с Мартенсом.

– Ну, а похоронами моими кто распоряжаться будет? Вы или Квашнин?

Капитан сделал гримасу.

– Полно, Михаил Андреевич, – отозвался он сурово. – Ну, что тут хвастать да надуваться. Ни себя, ни другого кого не обманете...

– Как так... хвастать? Не пойму? – воскликнул Шумский, хотя в то же время отлично понял капитана.

– Умрите прежде... А хоронить найдется кому. Не ваше совсем то дело. Вовсе не любопытно мертвому, кто будет его хоронить... Так, хвастовство... фардыбаченье. Амбиция подпускная!..

И, помолчав мгновение, Ханенко прибавил:

– Дразниться не след! Смириться надо перед Богом да молиться. Ну хоть без слов, умственно, сердечно помолиться. Не сердитесь, правду говорю ведь...

Шумский не ответил и задумался... «Образок нацепил, а сам ломаешься, – думалось ему. – И правда... Кого я обманываю». И он вздохнул.

Наступило молчание. Капитан, наливший себе чаю, медленно и сопя пил с блюдца вприкуску и, щелкая сахар, таращил глаза на самовар.

– Мерзость! Мерзость! – вдруг выговорил Шумский отчаянно, и стукнул кулаком по столу.

Капитан поднял глаза и угрюмо взглянул на него.

– Мерзость... Пакостная эта жизнь, а умирать... умирать не то, чтобы просто не хотелось, или боялся... а досадно как-то...

– Обидно... – выговорил Ханенко не то серьезно, не то подсмеиваясь.

– Да, обидно, именно обидно. Хоть бы сам что ли покончил с собой... а то другой...

– Вона... А надясь говорили, что это не по-русски самому себя ухлопывать. На вас не угодишь, Михаил Андреевич.

– Полно вам... Вы меня бесите... А мне нужно спокойствие! – воскликнул Шумский раздражительно.

– Вы сами не знаете, что вам нужно! – отозвался Ханенко. – Нет, нет, да вдруг жить

соберетесь.

– Что вы... Даже и не понятно!.. – уже вспыхливо произнес Шумский.

– Вот что, Михаил Андреевич! – вдруг сурово и нравоучительно заговорил капитан. – Я хохол... Мы, хохлы, говорят, ленивы и упрямы во всем... Это не правда. Мы спокойны и тверды... Наше спокойствие прозвали ленью, а твердость – упрямством. Вот иной хохол теперь бы на вашем месте помалкивал и не швырялся, не любопытствовал бы узнавать, кто будет ему гроб заказывать, да на какое кладбище повезут. Никогда я жизнь земную не клял, видит Бог. Ну, а расставаться с ней, когда бывало, чудилось мне приходится... расставался по-хохлацки, якобы сонно, лениво, без всякого самотрепания. Якобы, Михаил Андреевич. Якобы!.. Вот и вы теперь сие «якобы» соблюдайте. А то не хорошо даже со стороны смотреть. Трусить не запрещается никому, а праздновать труса запрещается...

– Да вы видали когда-нибудь смерть на носу! Вот как я теперь! – воскликнул Шумский.

– Даже пять раз состоял в близких отношениях к ней. И мы с ней всегда сходились и расходились деликатно, без шума, без брани, благоприлично.

– У всякого свой нрав... Я не могу не волноваться... Все-таки смерть – мерзость... И из-за чего... Из-за юбки! Из-за бабы или девки, которая приглянулась обоим... Стоит ли она еще того, чтобы из-за нее был убитый...

– Вестимо не стоит! Да ведь и не из-за этого вы и идете теперь под пулю... А из-за того, что Аракчеевским сыном или саврасом без уздечки прыгали. Покатались, ну а теперь берите саночки и тащите... Да, кстати молвить, Михаил Андреевич... след бы нам пораньше и ехать к Бессонову. Ведь это не бал, куда всякий норовит не первым приехать...

Ханенко поднялся из-за стола и взялся за свой кивер и саблю. Он был, видимо, не в духе, раздражен происшедшим разговором и в то же время будто совестился и раскаивался в том, что у него сорвалось с языка.

Шумский вдруг подошел к нему, протянул руку и, пожав его толстую и здоровенную лапу, выговорил спокойно и грустно:

– Вы меня немного... Не знаю как сказать! Спасибо вам. Все это правда... Знаете, что я за человек уродился... Знаете вот, бывает... Дерево такое растет, молодое, а уж корявое... Не от старости, а от скверной земли под корнями: и мусор там, и камень, и червь, и слякоть... Ничего этого не видать, да сучья-то корявые, ветки да листья гнилые, горелые, рваные. И виноват не я, капитан, а идол Аракчеев, да вот этот Питер... И знаете, что я вам скажу, не ломаясь и без лганья, а по совести... Хорошо, коли я убит буду! Останусь я цел и невредим, выйдет из меня мерзавец! И самый ледащий дешевенький, алтынный мерзавец! Как ходули-то эти надоедят, да брошу я их, то и окажусь вдруг... тля, мразь... Хамово отродье в шелковой сорочке. Нет уж, пускай, лучше меня сегодня фон Энзе похерит, нежели быть тому, что мне мерещится впереди, в жизни этой... Нет, не надо! Не хочу!.. Пускай лучше сегодня... Едем, капитан.

И Шумский, двинувшись, быстрыми шагами прошел все комнаты до передней, накинул уже шинель и шагнул к выходу, но вдруг остановился.

– Марфуша! – крикнул он громко на весь дом.

Девушка, бледная, появилась прямо из-за двери коридора, за которой укрылась.

– Поцелуемся. Ты ведь одна на свете меня пожалеешь...

И он расцеловался с девушкой по-приятельски, три раза.

– Михаил Андреевич, позвольте уж... Тоже и я... – раздался за ним всхлипнувший голос Шваньского.

– Изволь. Только, это непорядок. После ужина горчица. После тебя я опять с твоей невестой тебя закусить должен.

И расцеловавшись на обе щеки со Шваньским, у которого слезы были на глазах, а лицо съежилось, он уже обнял Марфушу и с большим чувством поцеловал ее один раз и что-то шепнул ей на ухо... Девушка заплакала.

Капитан глянул и думал: «Чуден, ты, человек!»

Через несколько минут оба офицера уже катили по Морской и завернули на Невский. Шумский озирался по сторонам с каким-то удвоенным вниманием, и преимущественно мелочи бросались ему в глаза. Красный платок на прохожей бабе... Глупая улыбка какого-то господина, стоявшего на углу и собиравшегося переходить через улицу... Толстая нянька с двумя девочками, которые шли вдоль панели, она переваливаясь, подобно тарантасу по избитой колее, а дети, по-цыплячь, мелким легким шагом на тоненьких ножках... Десятка три ворон и галок, которые кружились около купола церкви и усаживались... Дыра в кафтане на спине проезжего извозчика, через которую виднелась пестрядиная рубаха... Мальчишка, шмыгнувший из-под лошадей, с калачом, прикрытым клочком газеты... Весь этот нелюбопытный вздор и всякая обыденная мелочь уличной жизни глубоко западали ему в душу, будто нечто крайне интересное и важное. Все это выделялось из общей неясно видимой и смутно сознаваемой картины окружающего. Все сливалось в какое-то сплошное и туманное пятно, а эти мелочи выделялись как предметы высшего порядка, что-то говорившие его разуму, его сердцу. Да и, действительно, они нечто сказывали ему.

– Мы сами по себе! – будто говорили они. – А ты сам по себе!.. Мы вот будем и к вечеру... А ты уж не будешь.

Поглядев на какой-нибудь дом, крыльцо, магазин или вывеску и, пропустив мимо глаз, Шумский иногда снова, как бы прртив воли, оглядывался, чтобы взглянуть вторично. Зачем? Он сам не знал.

– Тише! – вдруг крикнул он кучеру и через мгновенье прибавил: – шагом!

– Что вы это? – спросил Ханенко.

– Поспеем! – отозвался Шумский.

Капитан исподлобья присмотрелся к нему и заметил, что Шумский несколько бледнее обыкновенного. Капитан отвернулся и вздохнул.

«Глупство-то какое, – стал он философствовать про себя. – И так глупо достаточно на свете все устроено. А тут еще это выдумали: сударыню смерть дразнить. Мы и так с ней всю жизнь свою будто в игру играем, в пятнашки, где всякий норовит удрать половчее... А тут выдумали, вишь, самому ей под ноги лезть».

И, обернувшись снова к Шумскому, капитан пригляделся к его задумчиво тревожному лицу и ему вдруг стало страшно жаль его. Жаль, как родного, как брата.

«Он все же-таки добрый был!.. – подумал Ханенко и, спохватясь, прибавил: – Был!? Что ж я его заживо-то хороню. Может и ничего худого не будет».

И в то же мгновение капитану почудилось, что он предчувствует, наверно знает, и все знают и сам Шумский знает, что именно будет вскоре, через час, даже раньше...

«Само собой сдается!» – думал он. – «Недаром есть пословица: смертью пахнет».

– Так! Так! И это отлично, – воскликнул вдруг Шумский озлобленным голосом.

– Что такое? – удивился Ханенко.

– Ничего, капитан... Вот я церковь увидел, т. е. не увидел, а вспомнил, что она вот в этой, кажется, улице, в конце.

– Там только кирка какая-то...

– Ну, да... Да. Так. Эта самая! Кирка шведская. Я там в первый раз баронессу повстречал на похоронах. С фон Энзе туда отправился орган слушать. Так! Так! Все к одному так и подбирается... Ну что ж? И черт вас всех подери! Пляс собачий! А! Да что тут... – и Шумский крикнул кучеру:

– Пошел! Шибче!

Лошадь с места взяла ходкой рысью, а Шумский забормотал, уже не озираясь, а глядя в спину кучера:

– Отчего же я никогда... никогда не вспоминал об этом. А теперь вспомнил! Да. Я первый раз в жизни увидел Еву на похоронах. Она поразила меня своей красотой, когда между нами был гроб. Она шла за ним. Я спросил, кто она такая у того же фон Энзе, и

догадался, что он уже влюблен в нее. И вот теперь вспомнил это, даже не видя этой кирки. Да. Все одно к одному...

И Шумский стал вспоминать свою встречу с Евой в мельчайших подробностях, потом все, что было после этого...

Дрожжи вдруг остановились, подкатив к подъезду. Это был дом Бессонова. Шумский огляделся как бы озадаченный. Казалось, что он удивлен там, что они уже приехали. Он будто ожидал, что это случится еще очень не скоро.

— Ну, вот и приехали! — протяжно выговорил он, ухмыляясь гримасой и как бы подшучивая над кем-то.

XXXIV

Войдя в квартиру Бессонова, Шумский нашел в гостиной всех в сборе и ожидающими его. Два немца сидели близ стола с хозяином, Бессонов громким, довольным голосом что-то рассказывал про порядки и правила на английских скачках. Угрюмый Квашнин сидел поодаль от них около окна.

При появлении вновь прибывших все поднялись, и обе стороны издали сухо раскланялись, не подавая друг другу руки. Только Бессонов подошел к Шумскому и весело поздоровался.

Шумский искоса на несколько мгновений пригляделся к лицу фон Энзе и невольно удивился. Давно не видал он своего соперника и нашел в нем большую перемену. Фон Энзе похудел, побледнел, его лицо осунулось, а взгляд когда-то выразительных глаз стал тусклый, какой-то мутный... Наконец, в эти минуты, несмотря на суровую сдержанность, во всей его фигуре сквозила крайняя взволнованность.

Шумский не мог знать, теперь ли только или уже давно произошла эта перемена в улане. В эти ли минуты он от простой боязни поединка так сильно осунулся и прячется за напускную угрюмость или уже давно изменился под влиянием пережитых нравственных пыток.

— Ну-с... У меня все готово, — выговорил Бессонов, не обращаясь ни к кому в особенности и почему-то смущаясь, будто стыдясь своих слов.

— И мы тоже, — поспешил произнести Мартене поддельно равнодушным голосом, будто школьнически храбрясь.

— Ну, а я не готов, — улыбаясь произнес вдруг Шумский, и взгляд его сразу загорелся необычным огнем.

Все обернулись на него. Даже стоявший за ним Ханенко двинулся вперед, чтобы заглянуть ему в лицо. Все будто встрепенулись, ожидая чего-нибудь особенного, исключительного.

— Что вы хотите сказать? — удивился Бессонов.

— А вот присядемте... — ухмыльнулся Шумский, беря стул и садясь. — Хороший русский обычай посидеть перед путешествием...

Все уселись, не спуская глаз с говорящего.

— Да, это хороший обычай, — продолжал он. — А так как одному из нас придется сейчас отправляться в очень дальнюю дорогу, то и подобает посидеть... А кроме того и главным образом... я хочу объясниться. Я слышал и читал, что при поединках все подробности обсуждаются секундантами без участия самих поединщиков. Это пошло в ход потому, вероятно, что сами они не способны поговорить холодно и спокойно без взаимных оскорблений и чего-либо подобного... Я со своей стороны считаю совершенно возможным переговорить с г. фон Энзе спокойно и прилично... Я бы желал сделать ему теперь при всех вас предложение, на которое он, надеюсь, согласится... Вот в чем дело...

— Позвольте, — вступился Мартенс, — мне кажется эта беседа совершенно лишнею.

— И мне кажется, что... — начал было Биллинг.

— Перекреститесь оба и перестанет казаться... — вымолвил Шумский небрежно и

продолжал, обращаясь к фон Энзе. – Я думаю, что причины, заставляющие нас идти на поединок настолько серьезны, что не только между нами невозможно примирение, но даже невозможен простой поединок с простым безобидным концом – удовлетворения чести. Мы должны драться насмерть. Один из нас должен остаться здесь, на месте мертвым для того, чтобы другой мог быть доволен и счастлив. Правда ли?

Так как последние слова Шумский произнес, наклоняясь прямо к фон Энзе, то улан отозвался сухо:

– Совершенно верно.

– Поэтому мы должны всячески облегчить себе эту возможность убить друг друга. Я предлагаю следующее. Мы возьмем каждый не по два, а по три пистолета. Мы будем подавать голос, то есть кричать «ку-ку» по два раза. Время продолжительности нашего поединка определено не будет. Хоть час оставаться в темноте.

– Это не поединок! – воскликнул Мартенс. – Условия...

– А что же? – холодно отозвался Шумский.

– Условия были уже обсуждены и решены секундантами и менять теперь...

– Отвечайте, пожалуйста, на вопрос! – резко и даже дерзко перебил его Шумский. – Вы сказали: это не поединок. Что вы хотели сказать?

– При таких условиях будет наповал убит самый нетерпеливый, неосторожный...

– Я согласен на предложение, – выговорил вдруг фон Энзе, холодно взглянув на Мартенса, как бы прося его прекратить возражения.

– Ну так... с Богом! Пожалуйте, – вымолвил Шумский, обращаясь к хозяину и вставая с места.

Все поднялись снова. И все были взволнованы. Один Шумский был не только спокоен, но как будто даже особенно доволен, что его предложение принято противником. Его неподдельное спокойствие и бодрое расположение духа, казалось, неотразимо сразу подействовали не только на самого фон Энзе, но и на его секундантов. Лицо и вся внешность Шумского были таковыми, что могли смутить. Он был загадочно весел и доволен.

«Он уверен глубоко, что не он будет убит!» – подумалось фон Энзе.

«Он что-нибудь придумал! Подлость, обман, фортель!» – подумал Мартенс.

«Чему радуется мой Михаил Андреевич», – грустно думал Квашнин.

А Ханенко, глядя теперь на Шумского, терялся в догадках. Несколько минут назад по пути сюда он видел его смущенным, потерянным, будто уже осужденным на смерть, а теперь тот же Шумский улыбался радостно, чуть не сиял, будто достигнув давно желанной, заветной цели. И Ханенко подумал:

«Точно будто ему кто шепнул сейчас: не робей! Останешься цел и невредим. Плохая эта примета...»

И отведя Квашнина в угол горницы, капитан приблизился к нему вплотную и прошептал чуть слышно:

– Надумал бойню первый сорт и ликует!..

– И будет убит! – грустно отозвался Квашнин.

В то же время три немца говорили тихо между собой и, наконец, фон Энзе выговорил громче по-немецки:

– Полноте... Зачем же подозревать. Это не хорошо. Ну, спросите Бессонова. Он честный человек.

Шумский догадался, тотчас ухмыльнулся презрительно и, сев в угол, взял со стола какую-то книжку.

В эту самую минуту хозяин, выходявший из горницы, вернулся и оглядел всех, собираясь что-то сказать. Мартенс подошел к нему, отвел его в сторону и заговорил шепотом...

– Вы, как главный судья-посредник и как человек знающий этот нелепый род дуэли, эту глупую кукушку... скажите мне... не замышляет ли что-нибудь г. Шумский, которого я не уважаю и которому имею основание не доверяться... Что он надумал? Может ли он иметь

ввиду какую-либо хитрость, нечестный поступок, предательское действие... по отношению к моему другу...

– Извольте видеть... – холодно отозвался Бессонов, – на это отвечать мне нечего... Хотя вы и не видели кукушек и в них не участвовали, но ваш собственный разум должен вам подсказать ответ. Это не простая дуэль, где берет верх тот, кто лучше стреляет. Здесь допускается и применяется всякая хитрость. Подсигиванье! Кто будет хладнокровнее, терпеливее и хитрее... Кто перехитрит, тот и победит.

– Что вы хотите сказать? – взволновался Мартенс. – Я вас не понимаю... А я желаю понимать, знать... В чем же хитрость?..

– Темнота, г. Мартенс, будет одинаковая для обоих, – сказал Бессонов. – Вы это понимаете. Оружие одинаковое тоже. А спокойствие разума и руки, а главное... осторожность всего тела будут разные... Если Шумский надумал какой-либо фортель, какую-либо хитрую штучку... то правила кукушки допускают фортель и подвох.

– Тогда шансы противников не равны. А этакий бой – нечестный бой!..

– Придумайте тоже сами с своей стороны, – окрылся Бессонов, – какую-либо хитрость или хоть целую дюжину фортелей, и тогда все шансы будут на вашей стороне... А г. Шумский, уверяю вас, не придет у меня спрашивать: надумали вы или нет что-нибудь опасное для него.

– Сожалею, что я и мой друг согласились на такой глупый поединок! – выговорил Мартенс довольно громко.

Шумский, сидевший хотя и в другом углу горницы, услышал восклицание и рассмеялся.

– Вы сами не пожелали обыкновенной дуэли! – вымолвил он. – Кукушка была придумана, чтобы только как ни на есть да заставить вас согласиться на поединок.

– Я ничего темного не жалею, господин Шумский, – выговорил Мартенс сухо. – Ни темных дел, ни темных людей или темных происхождений, ни темных дуэлей. И я бы, признаюсь, не согласился с вами драться в темноте...

– А при свете? – вымолвил Шумский.

– Я не понимаю.

– При свете... На улице... На обыкновенный поединок разве согласились бы вы?..

– Это другое дело...

– Согласились бы?

– Конечно... Там бы я знал, что...

– Так завтра в полдень я приглашаю вас с вашим секундантом на Елагин остров около новой будки.

– Позвольте! – воскликнул Бессонов. – Я не могу допустить теперь подобных разговоров.

– Это не разговор, а формальный вызов мой г. Мартенсу.

– Позвольте... Я не допускаю... Сегодня здесь ни о чем ином речи не может быть... Пожалуйте, господа. Двое пожалуйста со мной заряжать pistols, а двое других останутся каждый при своем друге при разде-аньи. Комнаты вам известны.

– Не забудьте, г. Мартенс, завтра в полдень, – произнес Шумский, вставая.

– Я принимаю это как странную выходку, – отозвался Мартенс, – так как через полчаса вы можете быть уж сами...

– Полноте! Прошу вас! – воскликнул Бессонов. – Требую, наконец! В качестве хозяина и посредника. Пожалуйте! Пожалуйте!..

Все двинулись. Ханенко и Мартенс последовали за хозяином в его кабинет; фон Энзе с Биллингом вышли в другие двери. Шумский и Квашнин последовали за ними, но повернули по коридору. Каждому из противников была приготовлена отдельная горница, чтобы раздеваться.

Хозяин дома и два секунданта молча и сумрачно занялись заряджьем шести пистолетов. Бессонов стал вдруг особенно угрюм при виде целой батареи оружия...

– Да, надумали... Шесть выстрелов! – выговорил он, наконец. – В кукушке обыкновенно палят по одному разу...

– Зато ничем всегда и кончается, – отозвался Мартенс задумчиво. – А вот зачем дали право сидеть им сколько угодно...

– Зато и мы посидим в крепости за это ихнее сиденье, – пошутил Ханенко.

– Ну, это уж дело второстепенное, капитан, – заметил Бессонов. – Что думать о себе, когда тут через полчаса может быть человек опасно, а то и смертельно раненый. Да... Вот еще забыл... Надо, господа, кинуть жребий – кому начинать первому кричать.

– Палить? – спросил Мартене.

– Нет. Кричать... Пальба дело пустое. Тут от крика зависит многое...

– Я полагаю это все равно, – нерешительно произнес Мартенс.

– Нет, далеко не все равно, – заметил Ханенко. – Я так смекаю, что третий крик...

– Вот, вот... – воскликнул Бессонов. – К этому я и вел. Не важно кто крикнет первый, кто второй... Важно, что первому придется кричать в третий раз. Третье подавание голоса – самое бедовое.

– Почему же... – спросил Мартене. – Объясните. Я не понимаю. Можно крикнуть, будучи рядом с противником?

– Разумеется, – отозвался Бессонов. – Крикнет на подачу руки, а ему пулю в лоб. Это надо будет решить жеребьем.

– А предоставить в третий раз кричать тому из двух, кто пожелает.

Ханенко так громко рассмеялся на предложение немца, что тот даже окрысился.

– Что вам смешно, г. капитан?

– Да так-с... Уж очень чудно. Предоставлять право человеку добровольно получить пулю в лоб.

– Да, – ухмыльнулся и хозяин, – этак пожалуй оба долго просидят после первых двух выстрелов. Нет, нужен черед по жеребью. Обязательство крикнуть третьему.

Между тем фон Энзе с Биллингом в одной горнице, а Шумский с Квашниным в другой занялись простым делом. Поединщики раздевались, то есть снимали с себя все, кроме нижнего белья, и, разумеется, оба разулись. Не только их сапоги со шпорами, но и простая обувь могла в кукушке вести к опасным последствиям.

Фон Энзе, медленно и молча сняв с себя все, что следовало, сел на кресло и закрыл лицо руками. Биллинг, смущенный, стал перед товарищем и молчал.

– Ты думаешь, я боюсь смерти, – заговорил, наконец, фон Энзе по-немецки. – Нет, друг. Что жизнь... Рано ли, поздно ли... А у меня есть на свете некто... другое существо, которое будет поражено в самое сердце, если со мной что-нибудь случится сегодня... Мне вдруг стало как-то грустно с утра... Я не суверен и не баба, не трус. Я даже думаю, что вероятно, со мной ничего не будет особенно худого... А все-таки грустно... Ужасно грустно. Сам не знаю отчего... Мое душевное состояние – не боязнь за себя, а тоска о чем-то... О чем – не знаю. Женщина и дурак сказали бы, что это предчувствие худого. Я себя слишком уважаю, чтобы допустить такое объяснение.

В то же время в другой комнате Шумский снимал платье, с комическими жестами раскладывал его по дивану и прищепывал рукой. В выражении его лица и в движениях было что-то школьнически шаловливое. Он не притворялся. В нем просто сказывалась потребность баловаться, чудить, паясничать... Крайнее напряжение мозга и сердца и всех его ощущений за это утро разрешилось теперь странным нравственным состоянием. Боязни не было и следа... Он не думал о том, что он сейчас будет делать, что его ждет в зале. Он отгонял от себя мысль о поединке и будто заставлял себя думать о всяком вздоре. Это давалось ему легко, но одновременно он чувствовал, что в нем, где-то очень глубоко будто ныло что-то, трепетало и замирало, и грозило захватить его всего... Но он не давался. Он отшучивался, шая и лицом, и руками, и мыслями...

– Чисто в баню собираюсь... – вымолвил он, оглядевшись. – Эка обида, забыл предложить немцам условие, чтобы совсем нагишем стреляться. Еще бы любопытнее было...

– Удивляюсь я тебе, – заметил Квашнин. – Трудно тебя распознать, Михаил Андреевич. Чуден ты. Теперь балуешься, будто и впрямь в баню мыться идешь... А вчера ты... боялся смерти, трусил...

– Молчи! – вскрикнул Шумский, затыкая уши. И лицо его вдруг изменилось. – Ах, какой... глупый человек. Именно глупый. Не понимаешь...

И Шумский просидел несколько мгновений с заткнутыми ушами, с суровым тревожным лицом, как бы вдруг испуганный нежданно. Затем он отнял пальцы от ушей, вздохнул, взглянул Квашнину в глаза и добродушно улыбнулся.

– Ни-ни... Пустяки... Ничего не будет. Вот как вошел, увидел фон Энзе... Увидел его лицо. Так и сказал себе... Пустяки. Я боюсь и он боится... Обоим бояться нельзя. Один из двух непременно будет цел. Кто же будет цел? Михаил Андреевич будет жив... Верно... Гляди-ко, что у меня здесь. Видишь. Образок из лавры. Марфуша дала. Скажи мне теперь, сними, мол, брось. Ни за какие ковриги! Вот что! Глупо? Да, братец, глупо страсть... Да, есть глупости на свете хорошие, приятные, вкусные, что ли сказать... А ты вот гадкие слова тут стал говорить... Идет баба по лесу, лешего не поминает, и без того страшно!

– Правда твоя! Это я зря... Все слава Богу будет, – отозвался Квашнин.

Шумский весело рассмеялся, потом, ухмыляясь, задумался и сидел недвижно, будто соображая что-то забавное. Посидев с минуту, он вдруг спрыгнул с дивана на пол и пополз через комнату на четвереньках, потом лег на грудь и тихо перевернулся с осторожностью на спину.

– Что ты творишь? – изумился Квашнин, но тотчас же догадался. – Маневрируешь!..

– Репетицию произвожу... Хочу я, братец, немца, перехитрить, – шепотом произнес Шумский, лежа на спине. – Буду драться не сидючи, а эдак, врасстяжку. А он будет палить через меня по воздухам... Чтобы попасть эдак, то надо уж целить в пол, а в кукушке и без того всегда все валяют выше, чем следует. Обман темноты, говорят... Одно вот не знаю... Хорошо ли это? – странно прибавил Шумский. – Хорошо ли? А?

– Что собственно?.. – не понял Квашнин.

– Надувать, хитрить... Ведь тут дело о жизни человеческой идет. Я свинья известная... Да ведь не всегда... И не в эдаких делах. Греха не боюсь... А вот... Черт его знает, чего боюсь. Совести своей, что ли. Может быть, она у меня и есть? Кто его знает?

Через четверть часа Бессонов из коридора громко позвал всех.

– Фертих! Фертих! ¹⁰ – весело отозвался Шумский выходя, и прибавил, оглядывая себя. – Еще три предмета с себя снять, так хоть и в воду полезай.

Фон Энзе появился тоже. Его полураздетая фигура странно не согласовалась с серьезностью лица и поэтому была комична. Кроме того, казалось, что для немца-улана смешная сторона оригинального поединка была неприятна. Он косо взглянул на шаловливо шагавшего Шумского, который в одних носках ступал по полу на пятках, разумеется, ради баловства. Улан отвернулся не то презрительно, не то с другим каким-то чувством, которое он сам себе объяснить бы не мог.

Все прошли в темную залу... Лакей впереди всех внес канделябр и, поставив его на пол, вышел вон. Картина представилась странная. В большой и высокой горнице совершенно пустой, без единого предмета, освещенной канделябром, стоящим посередине на полу, столпились семь человек, из которых двое были в одном нижнем белье, а в руках одетых были все разнокалиберные пистолеты. Только у Бессонова была в руках длинная трость...

– Ну-с, вот... – выговорил он тихо. – Кажется, все обстоит...

И Бессонов не договорил. Слово «благополучно» показалось ему неуместным, даже иронией.

¹⁰ Готовы! (нем.).

– Теперь извольте, – продолжал он, – хватаясь за эту палку кинуть жребий, кому кричать первому и, стало быть, третьему. Кто первый возьмется? Я думаю это все равно... Она длинная и предвидеть сколько кулаков на ней поместится мудрено...

– Я вижу сколько... Пятнадцать... – сказал Мартенс. – Кто начнет, того и верхушка...

– Фу, Господи, какой вы... аккуратный! – буркнул Бессонов, мысленно сказав другой эпитет. – Ну как же быть тогда?

– Бросайте рубль! – произнес Ханенко. – Орел и решетка самая соломоновская выдумка.

– Г. Мартенс скажет тогда, что я монету держу в пальцах неправильно. Или заспорит о том, кому первому назначать...

– Кидайте монету, – вымолвил фон Энзе. – И пускай г. Шумский назначает, что желает.

– Нет. Вы говорите, – сказал Шумский. – А мне пускай – что останется. Тем паче, что я вперед знаю, что вы назовете.

Фон Энзе глянул на соперника странными глазами.

– Вы ведь не суеверны. Мудрить не станете. Назовите первое...

– Да... все равно...

– Ну, а я россиянин... Валяйте, Бессонов. Да повыше. В потолок.

XXXVI

Бессонов достал монету из кошелька, положил на ладонь и, став среди горницы, высоко пустил ее вверх.

– Орел! – выговорил фон Энзе глухо и серьезно.

– Матушка решеточка, – сказал Шумский, как бы нечто лишнее, уже известное.

Монета упала на паркет около канделябра, звеня, подпрыгнула два раза, сверкая в лучах огня, и покатилась на ребре в угол. Все двинулись за ней и, обступив, нагнулись.

– Решетка, – вымолвил Бессонов и поднял монету.

– В данном случае, *qui perd – gagne*,¹¹ – сказал Шумский. – Мне, видно, на роду написано проигрывать и в карты, и в пари, и во всяких судьбищах. Всегда *malheureux au jeu*, – кто *heureux en amour*!¹²

– Послушайте... – вскрикнул будто невольно фон Энзе сдавленным голосом и сразу смолк...

Он почувствовал, что выдал себя и попадает в глупое положение, приписывая словам соперника тот намек, которого могло и не быть в них.

Никто не обратил вниманья на слова Шумского и отклик фон Энзе, так как все четыре секунданта были в стороне от них, обступив Бессонова вплотную. Между ними будто возник вдруг какой неожиданный серьезный вопрос.

Оно так и было...

Когда Бессонов еще только поднимал монету, то Мартенс шепнул ему что-то на ухо с легкой тревогой в голосе.

– Не может быть! – испуганно отозвался хозяин, тотчас же сделал несколько шагов к канделябру и остановился.

– Ваша правда, – выговорил он, оборачиваясь. – Тогда надо молчать или сказать обоим.

– Решимте это все между собой, – отозвался Мартенс и, обратясь к остальным секундантам, он попросил их в сторону на два слова.

– Извольте видеть, – вымолвил тихо Бессонов, когда все, удивляясь, обступили его. – Я

¹¹ кто проигрывает – выигрывает (фр.).

¹² несчастливый в игре, – ...счастливый в любви (фр.).

сплоховал. Виноват. Но теперь горю пособить поздно. Г. Мартенс заметил, что вот в этом месте пол скрипит... Вы понимаете, что это равносильно подаванию голоса... Как же быть?..

– Чего же тут?! – вымолвил Ханенко. – Объяснить обоим, чтобы сюда не ползали. А вот если паркет по всей зале будет трещать и скрипеть... Тогда...

– Надо ее всю освидетельствовать, – заметил Квашнин.

– Тогда и драться нельзя в ней, – решительно заявили в один голос оба немца.

Новость была тотчас заявлена противникам. Бессонов между тем внимательно и мерно зашагал по всем направлениям. Фон Энзе глядел и не понимал, а Шумский рассмеялся и шлепнул себя рукой по ляжке.

– Полноте мудрить, господа... – воскликнул он. – Вот уж, действительно, попали мы оба к семи нянькам и будем оба кривые... Наверное, г. фон Энзе отнесется к этому так же, как и я... Ну, скрипит, так и черт с ним! Скрипи!

– Пожалуйста! Поскорее! Это невыносимо! – будто чужим голосом отозвался фон Энзе. – Это не дуэль, а чертовщина. Сил не хватает терпеть...

Все заметили странный оттенок голоса улана.

– Пожалуйста! – громко произнес хозяин с середины горницы. – Пол скрипит только там. Ну туда и избегайте ходить.

Обоим противникам передали оружие. Всякий из них взял по пистолету в каждую руку, а третий был заткнут за пояс.

Шумский тотчас приблизился к Квашнину и шепнул ему на ухо:

– Петя, пойдет немец на скрипучее место или будет обходить его? Скажи?..

Квашнин, не сообразив значения вопроса, вытаращил глаза...

– Не понял? Ах ты, простофиля!..

Шумский объяснился шепотом подробнее.

– Понятно, не пойдет, – сказал Квашнин.

– Да ведь он немец.

– Так что ж?..

– Он обезьяну выдумал.

Квашнин опять не понял.

Шумский подозвал капитана и шепнул ему тот же вопрос.

– Вы, хохлы, хитрые... Рассудите сие головоломное предложение. А мне это важно.

– Не знаю... Ей Богу... – пробурчал Ханенко. – Обоюдоостро идти. От пуль-то дальше, вернее, не встретишь. Да пол-то, Иуда, предаст. Немцы риску не любят. Это только у россиян авось да небось – самые священные заповеди...

– Так я пойду, капитан. Но если и он пойдет, то мы ведь так сойдемся, что просто лбами треснемся... И тогда уж...

– Тогда – тютю! – отозвался, вздохнув, Ханенко. – Как знаете. Впрочем, вся голубушка кукушка на авось стоит. Ну, дайте руку. Моя легкая, счастливая. Для других... Храни вас Бог и помилуй.

Хохол сильно, с чувством пожал руку Шумского, и этот почувствовал себя вдруг еще бодрее и как-то лучше настроенным.

Шумский и фон Энзе сели на полу к стене в двух противоположных концах залы.

Бессонов и секунданты поглядели на обоих молча и сурово озабоченно. Всем им чудилось, что через несколько мгновений тут произойдет нечто роковое с одним из двух, а быть может, и с обоими.

– Ну-с. Давай вам Бог кончить ничем и затем примириться, – глухим голосом вымолвил Бессонов и двинулся.

Секунданты тихо последовали за ним... Дверь затворилась, и они молча стали за ней. В зале наступила полная тьма...

«Не надо думать! Не надо думать!» – мысленно повторял Шумский и заметил, смущаясь, что он дышит тяжело и, стало быть, громко.

Поединщикам предоставлялось право тотчас по наступлении темноты переменить

место и затем уже кричать...

Шумский передвинулся несколько правее вдоль стены и подумал:

«Теперь-то ничего... А вот какво будет в третий раз кричать. Гаркнешь, сидя перед ним в двух шагах... Фу, какая гадость. Смерть?!.. Да смерть!.. Гадость какая...»

И совершенно как бы против воли он вдруг крикнул с азартом.

– Куку!

Последовал выстрел с того места, где сел фон Энзе. Пуля ударилась в стену над головой Шумского...

«Теперь переползем...» – подумал он и поднял руку с пистолетом наготове.

Прошло около полуминуты тишины.

– Куку! – раздался нетвердый голос фон Энзе, но уже с середины залы.

Шумский смутился от близости и выпалил зря... Он почувствовал, что хватил не целя, и по направлению его пистолета пуля должна была пролететь за сажень от соперника. Его смутил маневр соперника, который сразу сократил расстояние на половину и теперь, когда опять его черед кричать в третий раз, фон Энзе, наверно, уже подползет еще ближе и сядет на подачу руки.

«Что делать? Рисковать или уходить?..»

Шумский чувствовал, что он не в состоянии рассуждать и соображать. В голове его будто гудело. Он даже не мог отвечать за себя, что двинется от улана тихо и осторожно. А если его движения будут слышны сопернику, тот совершенно безопасно последует за ним вплотную. Шумский не двигался, собирался крикнуть, чуял улана около себя, и голос не слушался...

«Сейчас и готово! Сейчас! Сейчас!» – говорило ему что-то на ухо или звучало в нем самом.

И вдруг мысль озарила его... Он вспомнил... Медленно, затаив дыхание, двинулся он ползком немного в сторону и еще медленнее, даже продолжительно, среди полной тишины, улегся и растянулся по полу на спине. Спустя мгновение он крикнул изо всей мочи.

– Куку!!

Выстрел соперника прогремел шагах в четырех, почти с того места, с которого сошел Шумский.

«Миновала!» – вздохнул он. И тотчас же невольно и порывисто, уже не соблюдая никакой осторожности, он встал и пошел к тому же месту... Затем он остановился и прислушался, поняв, что улан в это мгновение, наверно, спасается дальше от него.

«Потерял! – подумалось ему. – Черт знает, откуда теперь ждать. Но ведь у меня два выстрела. Один на „куку“, а другой – когда вздумается... Чего же? Хвачу тотчас же третий...»

И он обменял пистолет на другой из-за пояса.

Прошло несколько мгновений. За его спиной, почти вплотную, раздался крик:

– Куку!

Он обернулся и выпалил. Фон Энзе легко вскрикнул, но тотчас же и его выстрел, уже третий, оглушил Шумского, и одновременно что-то сильно рвануло ему рукав сорочки. Он взбесился от минувшей опасности. Улан чуть не убил его, надумав то же, что и он хотел сделать. И тотчас, в одно мгновение, произошло нечто ужасное, неожиданное, сразу непонятное.

Шумский, еще не решив, выпускать ли в ответ и свой последний выстрел, все-таки поднял руку и вытянул ее вперед...

Пистолет ткнулся во что-то... И в тот же миг с дрожью за спиной от гадкого чувства Шумский все-таки дернул пальцем за шнеллер.

Раздался глухой выстрел, а за ним дикий вопль. Оружие загремело на полу, потом грузно шлепнулось что-то...

«Конечно он!» – будто сказал кто-то Шумскому.

Двери с громом растворились, секунданты ворвались и бросились на середину залы...

При свете задуваемых движением свечей глазам предстал на полу фон Энзе, опрокинутым навзничь. Он поджимал ноги, дергал ими и бил по полу. Протяжный, слабый и нескончаемый стон его хрипливо оглашал залу...

Шумский стоял не двигаясь, как окаменелый и бессмысленно смотрел на лежащую фигуру и на всех нагнувшихся над ней. Наконец, он зажмурился, чтобы не видеть этих дергающихся ног. Он слышал слова, вопросы, говор, крики, но ничего не мог сообразить.

– В лицо! В глаз! – слышалось наконец ему, и он содрогнулся.

Но он давно знал и был даже уверен глубоко, не глядя и не справляясь, в том, что убил соперника... Но ведь это уже не соперник. Такого нет и будто не было. Это человек! Человек, страшно, жалобно и беспомощно стонущий. Он будто прощенья просит, пощады просит... И нельзя не простить, не помочь... Скорее! Всячески! Но нельзя и помочь. Это уж не в его власти... И ни в чьей.

Фон Энзе подняли и понесли из залы... Шумский все-таки не двигался, стоял понурившись, сопел и шептал что-то бессвязное.

– На смерть! В голову! Иди! – говорил кто-то около него.

XXXVII

В квартире Шумского, в столовой у окна сидели на двух стульях Марфуша и Шваньский. Уже около двух часов сидели они тут молча друг против дружки. Шваньский отложил на время свой визит в полицию.

Иван Андреевич, понурившись и опустив глаза в пол, шибко сопел, изредка взглядывал на девушку и каждый раз, будто съезжившись еще более, задумывался вновь.

Марфуша сидела недвижно, истуканом, с лицом не бледным, а помертвелым, безжизненным. Она, в противоположность Шваньскому, закинула голову назад и почти все время, не отрываясь, глядела в окошко на крышу соседнего дома, где торчала труба. Она так разглядывала ее, как если бы предполагала увидеть тут что-нибудь чрезвычайное, чего она ждет неминуемо, отчего замирает и будто беспомощно отбивается ее сердце.

За эти два часа молчаливого сидения у окошка, которые показались и Шваньскому и его невесте длиннее целого дня, оба равно много передумали, перечувствовали и выстрадали.

Все помыслы, вся душа девушки была там, где-то в неведомой ей квартире, где происходит смертоубийство, где жизнь одного человека висит на волоске. Быть может, даже он уже мертвец... Этот человек был еще недавно для нее только «барин», злой и бессердечный, которого она отчасти боялась, отчасти начинала ненавидеть. А теперь он был для нее... чем – она сама не знала.

Она не могла сознаться сама себе, что любит его, что полюбила так же, как если бы он был ей ровней, полюбила неизвестно за что, неизвестно когда. Она даже не знала, любовь ли то чувство, которое кипит в ней. Она думала, что это простое сердечное уважение к барину за его ласку. Но почему же ей хочется этого уважаемого барина обхватить сейчас руками и зацеловать? Даже более... Она готова его прикрыть собою от смерти? Пускай ее убьют, лишь бы он был невредим.

Когда-то, еще недавно, девушке представлялось, что ее чувство к доброму Ивану Андреевичу, который уже давно покровительствует ей, доставая швейную работу, ничто иное, как любовь. А чувство, возникшее к барину-офицеру, казалось ей лишь каким-то непонятным душевным смущением. Теперь же приходится сознаться, что к этому доброму Ивану Андреевичу у нее, неблагодарной, ничего не было и нет. Всю же свою душу она отдала другому. Всю душу неведомо когда и как взял себе, будто вынул из нее и присвоил этот барин-шутник, насмешник и злой.

Да, злой! Его все боятся... Он одного лакея убил. Хоть и нечаянно, а все-таки убил. И все-таки она хоть сейчас отдаст за него жизнь. А он теперь пошел на смерть, в него будут стрелять... Уж стреляли, может быть, уж убили.

Что ж тогда будет? Ей тогда что делать? Выходить замуж за Ивана Андреевича, который получит в подарок все, что тут есть в квартире. А ей брат из того письменного стола деньги, которые он приказал взять... Затем венчание в церкви, семейная жизнь и всякое счастье и благополучие. Да! Горько... Тяжко...

И несколько раз ворочаясь мысленно к этому выводу: смерти Шумского и замужеству, Марфуша каждый раз тихо поднимала руки, брала себя за щеки или за виски, и глубокий вздох ее едва не переходил в стон. И каждый раз Иван Андреевич, встрепенувшись, выпрямлялся на стуле и произносил беспокойно:

– Что ты?

Но Марфуша не слыхала вопроса, не отвечала ни слова и, даже не взглянув на него, снова опустила руки на колени, снова смотрела в мутное небо.

Наконец, раздался гул подъезжающего экипажа. К крыльцу квартиры подкатила коляска и из нее вышел Шумский.

Оба вскочили, как от толчка.

Иван Андреевич бросился на подъезд, а Марфуша вытянулась и стояла истуканом мертво бледная и с полузакрытыми глазами. Она старалась всячески видеть, слышать, понимать, но чувствовала, что все темнеет кругом нее, что она будто уходит куда-то или улетает далеко и высоко.

Через несколько мгновений Шумский вошел в переднюю.

Иван Андреевич не то радостно, не то жалостливо заглядывал ему в лицо, стараясь поскорей отгадать, было ли что или еще ничего не было, и снова все начнется.

– Что же-с?.. Что же-с?.. – два раза решился он тихонько вымолвить, но Шумский несколько бледный, со сверкающими глазами не только не слыхал вопроса, но даже не замечал Шваньского.

Он сбросил плащ, швырнул на стол кивер, отстегнул и тоже швырнул с громом оружие и шагнул из передней в столовую. Но тут он остановился и будто теперь только вдруг очнулся и понял, что находится в своей квартире.

Перед ним на полу шагах в двух от окошка лежала распростертая на спине Марфуша.

– Что такое? – произнес он, недоумевая.

В ту же минуту за ним раздался отчаянный вопль, как бы такой визгливый вой, и Иван Андреевич бросился к девушке.

– Что такое?.. Что же ты молчишь, что тут у вас случилось? – спросил Шумский.

– Не знаю-с... Не знаю-с... Марфушинька... Голубушка... Да, что ж это?.. Господи!

Шваньский стал было поднимать помертвелую девушку, брал ее за плечи, тянул за руки, за спину, но при своей тщедушности и слабосилии не мог ничего сделать.

Шумский нагнулся, отстранил его и крикнул:

– Воды давай!

Шваньский бросился в переднюю, зовя людей и побежал по коридору, а Шумский, обхватив Марфушу поперек тела, поднял ее с полу и понес через горницу. Шагая с ней на руках, он поглядел на ее бледное безжизненное лицо, и странное выражение скользнуло в его взгляде.

Он положил девушку на то же место, где когда-то лежала она, опоенная дурманом и наклонился близко над ней.

Марфуша вдруг пришла в себя, широко открыла глаза и в одно мгновение, будто невольно и безотчетно, обхватила руками голову, склоненную над ней.

– Живы!.. Живы!.. – прошептала она.

– Ну верю, что любишь. Ладно... Знать будем. А там что – видно будет. А что будет видно, Бог весть!.. – грустно проговорил Шумский.

В ту же минуту раздалась в соседней горнице поспешные шаги. Шумский, освободив голову одним движением из-под рук Марфуши, обернулся к вбежавшему Шваньскому и проговорил сухо:

– Ну, отпаивай невесту! С чего это она? Что у вас приключилось?

– От радости знать, Михаил Андреевич. От радости, – завопил Шваньский.

Марфуша приподнялась и стала пить воду.

Лицо ее быстро оживало, глаза уже засияли и даже восторженно блестели, румянец радости и смущения заиграл на щеках. Она улыбалась и в то же время по радостному лицу текли слезы.

– Как мы увидели вас, то вдруг вскочили... Я бросился отпирать... А с ней, стало быть, приключился обморок... Выходит – с радости... А вот вы все говорите, что мы вас не любим...

– Стало быть, выходит, Марфуша, – усмехнулся Шумский, – что ты и за себя, и за Ивана Андреевича чувств лишилась? По крайности, он сам это за свой счет тоже принимает... Ну, что? Очухалась? Ишь, ведь ты какая!.. Ну, спасибо, что любишь!

Шумский приблизился, положил руку на голову Марфуши, погладил ее, как гладят детей, потом взял под подбородок, глянул в глаза и выговорил:

– Чудно! Не знаешь, где найдешь, где потеряешь...

И Шумский перейдя в соседнюю комнату, сел на подоконник спиной к окну. Все, что он до сих пор здесь говорил и делал, казалось сделанным и сказанным как бы через силу. Сам он был полон чем-то другим. Он был еще под властью того чувства или тех мыслей, с которыми ехал домой. И теперь он сел на ближайшее окно так, как если бы недавно, несколько минут тому назад, там, где он был, совершилось что-то роковое для его личной жизни.

Он просидел около четверти часа молча, упершись глазами в спинку дивана, который был перед ним, с тупым взглядом и бессмысленно раскрытым ртом. Наконец, он провел руками по лицу, по голове, вздохнул тяжело и привстал со словами:

– Фу, Господи! Какое бывает! И через мгновение он прибавил:

– Ага! И Господа поминать стал!

Шумский медленно, усталой походкой перешел в свою спальню, сбросил с себя сюртук и, взяв правой рукой левый рукав сорочки, стал разглядывать его.

На рукаве висел клоч.

– Да, сорочку убили на мне! – выговорил он серьезным голосом.

В ту же минуту вошла в комнату Марфуша со скатертью, чтобы накрывать стол.

– Смотри, Марфуша! Видишь это? – произнес Шумский серьезно.

И Марфуша, которой, казалось, совершенно нельзя было бы догадаться, чем и как мог быть изорван этот рукав, сразу однако все поняла. Ей все сказала, все объяснило любящее сердце.

– Господи помилуй! Неужели это отстрелили? – произнесла она.

– Да, угадала! Это пулей. А возьми она вершка на три правой, то прямо бы вот сюда... А тут знаешь, что помещается? Тут самая квартира сердца человеческого. Хвати она сюда, то теперь приволокли бы меня домой другие. А вы бы теперь с Иваном Андреевичем бегали да всякое такое для покойника готовили бы.

Девушка, ни слова не ответив, начала креститься, а затем прошептала:

– Вот что значит Господь-то! Господь милостив...

– Вздор все это, Марфуша! – резко выговорил Шумский. – Неправда! Кабы милостив был Господь, так иным людям и жить бы на свете нельзя было. Совсем бы не то творилось. Улан был ни в чем не повинен. Я был во всем виноват. Вся канитель из-за меня пошла, из-за моих мерзостей. И кто же теперь поплатился за все? Он же, я не я! Останься он жив, он только добро бы одно делал, а остался жить я для того, чтобы много еще зла натворить. И с завтрашнего же дня я начну свои гадости. Нет, Марфуша, жизнь человеческая такая мерзкая и свинская комедия, какую твоей головушке никогда и не понять. Да и мне не понять!

Иван Андреевич, услыша голос Шумского и поняв, что патрон в духе, тотчас же явился в горницу.

– Михаил Андреевич, не томите! Скажите, как дело было.

– А что ж, тебе любопытно?

– Как же можно-с. Эдакое дело, до вас касающееся, да не знать...

– Да ведь ты видишь – жив, так чего ж тебе еще знать. А вот тебя я подкузмил. Теперь тебя за карету расписную непомилюют. Аракчеев и тебя, и меня сожрет.

– Бог милостив. Как-нибудь отвертимся. Вы надумаете, изловчитесь и все сойдет с рук. Главное, живу быть. А вот вы, слава Богу-с! Вот нам и не терпится узнать, как дело было...

– Было дело просто... ужасно просто...

И Шумский, взяв себя рукой за голову, произнес глухо:

– Да, ужасно просто! Именно ужасно! Не видал я, что ли, никогда смерти так близко или иное что... Может быть, совесть... Грех. Настоящий! Не выдуманный людьми, а истинный. Смертоубийство! Век буду помнить этот крик... эти ноги... Да, Иван Андреевич! Не дай Бог тебе убивать кого.

– Тьфу! Тьфу! Избави Господи! – пугливо перекрестился Иван Андреевич. И Шваньского как-то даже метнуло в сторону.

– А он что же? – вымолвила вдруг Марфуша. – Улан этот?! Вы его... Разве он помер?..

Шумский молча кивнул головой, потом хотел произнести что-то, но запнулся и махнул рукой.

XXXVIII

Через четверть часа Марфуша уже подала самовар и, осматривая стол, соображала, не забыла ли чего. Затем она вымолвила, взглянув на Шумского ясным взором:

– Прикажите заварить?

Шумский, задумавшийся в углу спальни, поднял глаза, молча пригляделся к девушке и, вероятно, на лице ее было что-нибудь ярко и ясно написано, потому что он улыбнулся кроткой и доброй улыбкой.

– Поди сюда! – вымолвил он тихо.

Марфуша подошла. Он взял ее за руки около локтей, притянул к себе и стал смотреть в ее лицо, сиявшее восторженным счастьем.

– Марфуша. Что ж? В самом деле оно так?.. Что ж ты, и в самом деле любишь господина Шумского? Говори!

– Не понимаю, – пробормотала девушка.

– Не лги! Понимаешь... Нешто лакеи или горничные падают в обморок от радости, что барин после поединка остался жив. Этого, Марфуша, никогда не бывало с начала века. Стало быть, ты сердчишко-то свое обманным образом у жениха стащила да мне отдала? Стыдно! Ей-Богу, стыдно!

– Не я – сами взяли, – прошептала Марфуша едва слышно и потупляясь.

– Я не брал! – шутя вымолвил Шумский и потянул ее ближе к себе.

– Взяли... Что ж? На то воля Божья! На все воля Божья! Чему быть – тому не миновать!

– Скажи: ты думала, что я убит буду?

– Нет, не думала. Вы все сказывали, а я вам верила. А самой мне все думалось совсем не то... Мне все представлялось, что моя судьба впереди меня, вот как на ладони. Все представлялось, что я с вами буду...

Но Марфуша запнулась и, вспыхнув, отвернула от него лицо.

– Ну, сказывай, что?

– Нет, не скажу, – мотнула девушка головой и прибавила, – пустите... Вон Иван Андреевич идет. Пустите!

– Ах, как страшно! – рассмеялся Шумский, но выпустил ее из рук и, двинувшись, сел к чайному столу.

– Михаил Андреевич, – заговорил Шваньский, входя и подозрительно озираясь. – Мне надо в полицию идти.

– Ну и иди... Что ж спрашиваешься. У тебя своя воля. Хочешь в полицию – ступай. Хочешь в Неву – тоже ступай.

– А можно не ходить-с?

– Можно... Подожди день, два... Тогда на веревочке сведут.

– Как тоись...

– Как! Нешто никогда не видел на улицах, как полиция с вами в лошадки играет. Идет будочник или хожалый с книгой и держит веревочку, а на ней привязанный за руку повыше локотка паренёк или господин благородный... вроде тебя.

– Вы все шутите, Михаил Андреевич, – сердясь произнес Шваньский. – Вы мне обещались, что ничего не будет за езду в полосатой карете. Обещались заступиться, а теперь...

– Не ври. Никогда не обещался! – отрезал Шумский.

– Помилуйте!.. Я на Марфушу вот сошлюсь...

– Не ври. Я только обещался тебе умереть, то есть быть убитым. Это верно. Ну, и прости – надул, жив остался... Теперь тебе другого спасения нет, как самому распорядиться. Пойми, коли я буду мертв, тебя тогда за карету Аракчеев не тронет. Вот и распорядись.

Шваньский, внимательно слушавший, развел руками и вымолвил.

– И даже, можно сказать... Ни бельмеса не понимаю, Михаил Андреевич.

– Прирежь меня бритвой сонного в постели и свали на самоубийство. Все поверят... Ей-Богу... А я сплю не запершись...

Шваньский с отчаянной досадой, даже со злобой махнул рукой и пошел к дверям. Но, уже взявшись за ручку двери, он обернулся.

– Позвольте хоть мне, по крайней мере, сказывать в полиции, что я сам захочу.

– Позволяю.

– Позвольте врать... Я виделся с хозяином двора... Он там говорил: знать не знаю, ведать не ведаю... Стало быть, дело еще не испорчено. Я надумал спасенье и себе и вам. Только позвольте врать.

– Ври, коли сумеешь.

– Страсть, как совру... Только, чур, не сердиться потом.

– Где тебе. Не хвастай... Кикимора!..

– Позволяете?.. – решительно спросил Шваньский.

– Говори, что хочешь. Отвяжись. Хоть сказывай и под присягу иди, что ты – девица. На седьмом месяце беременности...

Шваньский вышел, ухмыляясь загадочно. Он сразу стал весел, получив разрешение врать.

Шумский по уходе Лепорелло, болтовня с которым его развеселила, спросил Марфушу, дома ли Пашута, которую он в этот день еще не видал.

– Да-с. Сейчас вернулась, – ответила девушка. – С раннего утра была в отсутствии, кажется, у баронессы.

– Зови скорее.

Через несколько мгновений вошла Пашута, уже одетая иначе, в красивое платье, и принявшая вид прежней девушки-барышни. Лицо ее было оживленное, радостное.

– Ну, Пашута. Рада, что я цел...

– Мы там с ума сошли. Прыгали от радости. Я сейчас оттуда, – произнесла Пашута взволнованно.

– Как же вы узнали так скоро?

– Закупили мы лакея Бессоновского. Брат караулил у них на дворе, и как ему лакей передал, что фон Энзе убит, а вы живы, он и полетел, к нам во весь дух на извозчике. Чуть барыню какую-то дорогой не раздавил.

– Ну, ну... Что ж баронесса?!.

– Говорю... Чуть не прыгала... И плакала, и бегала по горнице. Прыгать не в ее нраве, так она все суежилась, вздыхала и плакала. Совсем без ума, без памяти была...

– Жалеет фон Энзе...

– Да... Говорит, на ее совести грех, который будет замаливать всю жизнь. Но говорила,

что если бы вы были убиты, то она в монастырь пошла бы... Или бы умерла с горя.

– Так любит она меня? Любит?! – выговорил Шумский, порывисто вставая из-за стола.

– Вестимо...

– Ну, так слушай, Пашута... Теперь все в твоих руках. И мое, и твое собственное счастье. Теперь некому мешать. Хочешь ли ты мне услужить...

– Понятно, готова всячески... но только...

Пашута запнулась... Она посмотрела в лицо Шумского и вдруг смутилась, даже оробела. «Неужели сызнова начнет он свои злодеяния, примется за старые ухищрения?...» – подумалось ей.

Шумский хотел заговорить, но в доме раздался звонок.

– Ну, хорошо, ступай теперь... Вечеру переговорим... – весело, но загадочно улыбнулся Шумский.

«Неужели опять за злодеяние примется?» – думала смущенная Пашута.

XXXIX

Квашнин и Ханенко с шумом и громким говором вошли к Шумскому. Капитан, переваливаясь, как утка, почти рысью явился в спальню. За ним, бодрой походкой и улыбаясь, появился Квашнин. Обе фигуры приятелей довольные, почти веселые, неприятно подействовали на Шумского.

– Негоже! Свинство! – произнес он странным голосом. – Зачем радоваться? Вот я себя считаю злым человеком, а не могу вспомнить. Не могу! А вы вот будто не с убийства, а с пиршества какого веселого приехали.

– Скажи на милость! Вот так блин! – произнес капитан, изумляясь. И расставив ноги на полу, растопырив руки, он уперся глазами в Шумского.

– Сами же застрелили, – выговорил он, – да сами же в неудовольствии. Чего же вы желали? Обоим целыми остаться? Так ведь знаете, что это невозможно. Сами сказывали, что коли оба будете невредимы, то эту комедию сызнова начинать придется. Ведь мы с Петром Сергеевичем так было вопрос этот по-соломоновски разрешили: чтобы вам обоим быть целыми и невредимыми, необходимо самой баронессе отправиться на тот свет.

– Тьфу! Типун вам на язык! Вот глупость выдумали!

– Радоваться, мы не радуемся, – заговорил Квашнин, садясь к столу, – а печалиться тоже не приходится. Ты жив и невредим, ну и слава Богу. А коли он, бедный, убит, так что ж делать? Такова его судьба, стало быть, которой не минуешь.

– Ну, вот! Судьба?! Вторая Марфуша только в Преображенском мундире, – выговорил Шумский. – Она сейчас тоже сказывала. Нет, други мои, это не судьба, а лотерея. Это ужасное дело! Ужасное! Желаю вам от всей души никогда никого не убивать! – с чувством прибавил он.

– Я и не собираюсь! – отозвался Ханенко. – Не пробовавши, знаю, что приятного мало. И так-то всякая гадость на душе есть, да еще убийство бери! Уж больно накладно будет, грузновато! А при моей толщине совсем из сил выбьешься с эдакой ношей.

– Да, ужасно! – снова заговорил Шумский как бы себе самому. – Не знал я этого! А теперь драться ни с кем, ни за что, никогда! Уж не знаю что хуже: убить ли, быть ли убитым?

– Вона! – воскликнул Квашнин. – Не знай я тебя близко, ей-Богу бы подумал, что ты ломаешься, а зная тебя, только дивиться можно!

– Нет, Петя, право не знаю. Так нехорошо, как вспомню его стон по всему дому, да вот еще ноги... Ужасно!.. Из ума они не выходят!

– А что ноги?.. Почему ноги?.. При чем они тут? – воскликнул Ханенко, ухмыляясь.

Но Шумский, взглянув на капитана, быстро отвернулся, махнул рукой и выговорил:

– Нет, бросимте! Я вижу – вы одно, а я другое. Или, быть может, это потому, что убил-то я, а не вы. Да и, наверное, так... А вот поглядел бы я, если бы это из вас кто... Ну да бросим!

Наступило молчание. Все трое пили чай.

Капитан вдруг надумал что-то, ухмыльнулся, хотел было заговорить, но, поглядев на Шумского, перевел глаза на Квашнина и снова уперся глазами на корзинку с хлебом, стоявшую перед ним.

– Ну теперь, Михаил Андреевич, – заговорил Квашнин, – надо подумать кое о чем важном. Первое дело нас, по всей вероятности, нынче ввечеру или завтра попросят на казенную квартиру всех троих. Да это не беда, а совсем другое беда. Знаешь ли ты, что именно?

– Нет, – задумчиво отозвался Шумский.

– Беда-т, братец мой, что весь Питер толкует о расписной карете. А знаешь ли ты, что теперь значит эта карета? И какие из-за нее будут последствия?

– Знаю. Дуболом мой обозлится и ни меня, ни вас за кукушку под свою защиту не возьмет.

– Ну, да, вернее смерти, – вымолвил Ханенко. – Уж именно теперь можно сказать – вернее смерти. Она-то по отношению к вам спасовала, а граф Алексей Андреевич не спасует. Так вас шаркнет, что просто мое всенижайшее. И нужно вам было такой живописью заниматься.

– Да ведь он наверняка рассчитывал, что будет убит! – рассмеялся Квашнин.

Смех его был настолько добродушен и звонок, что подействовал и на Шумского. Этот улынулся веселее и выговорил, шутя:

– Да, правда. Ошибся в расчете. Сплоховал, оставшись в живых. И Шваньского надул мошеннически и себя подкузмил лихо. Теперь в качестве живого и возжайся с моим поддельным родителем. Надо, други мои, надумать, как его надуть. Разве к Настасье съездить в Грузино, посоветоваться. Она мастер надуть его.

Приятели стали серьезно обсуждать вопрос, как выбраться из беды, и, разумеется, ни к какому решению не пришли.

Уже темнело на дворе, когда в квартире раздался громкий звонок.

– Должно быть, плац-адъютант за нами, а то просто полиция, – сказал Ханенко.

– На новую квартиру перевозить? – пошутил Шумский.

Оказалось, однако, что приехал Шваньский, обыкновенно возвращавшийся домой через двор с заднего крыльца. Войдя в спальню, где сидели офицеры, Иван Андреевич важно раскланялся и самодовольно обвел всех глазами.

– Это с каких пор твоя особа выдумала трезвон поднимать в моем доме? – добродушно спросил Шумский.

– С тех пор-с, что стал важные дела вершить! – шутовски строго отозвался Шваньский. – Позвольте у вас спросить, вы что думаете насчет колерного полосатого экипажа, про который в Петербурге стон стоит?.. Полагаете вы, что никому неизвестно, на чей счет сия колесница прокатилась. Ведь она одного фасона с «обвахтами» и караулками.

– Америку открыл! – воскликнул Шумский.

– Да-с, открыл теперь. А открой я это раньше, ни в жисть не стал бы в этой Америке кататься по Невскому. Как вы мне ни обещайся умереть, не сел бы я в эту радужную карету с «ду» спереди, да с «фраком» сзади.

– Ну, выбалтывай скорее, что у тебя там в пустой башке. Вижу, что завелась там дрянь какая-то...

– Нет-с, извините, не дрянь... Позвольте у вас спросить, что теперь будет вам от его сиятельства за то, что мы его в шуты рядим?!

– Плохо будет, Иван Андреевич. Граф тебе эту карету не простит.

– Мне?.. А вам? – удивился несколько Шваньский.

– Мое дело сторона... Я тебе даже советывал так не баловаться, а ты все-таки поехал.

– Полно вам, Михаил Андреевич, шутки шутить... Не до шуток, ей-Богу-с. Полиция вся и та в чужом пиру похмелья себе ждет, перепугалась, трясется... За недосмотр боится в ответ идти. А кто карету выдумал, тому, говорят, прямо ссылка... Вот вы и послушайте, что

я надумал. Меня сейчас во время допроса вдруг осенило свыше... Господь вразумил...

– Это в полиции-то осенило... Нашли вы место для эдакого! – пошутил Ханенко.

– Выслушайте, не перебивайте...

– Ну, говори, говори...

– При допросе нашего костромича любезного он отвечал: знать не знаю, кто карету заказал. Был какой-то офицер и приказал для военного министерства, якобы, образец представить. Мы и представили. Больше ничего не знаю... Денег еще с министерства не получал.

– Министерский заказ!.. Казенный! – воскликнул Шумский и все рассмеялись.

– Когда, стало быть, я явился, мне тот же вопрос. Кто заказывал и почему я в полосатой карете катался?.. Я говорю, виноват, по глупости. За деньги ездил. Сто рублей получил. А что за карета и теперь не понимаю. Полагал казенная, коли государственных колеров... А слово «дурак» мне было невдомек. Я прочел наоборот «ракду». А кто, говорят, вас нанял? Я говорю: кто бесчинно все соорудил и нанял меня – тот в ответе быть не может. Покойник!

– Как покойник? Кто? Что? – в один голос воскликнули все трое.

– Кто? Вестимо кто. Господин фон Энзе.

Наступило молчание... Все трое были удивлены. Наконец, Шумский, насупившись, выговорил сурово:

– Ну, это ты врешь. Я не стану на мертвых валить свои пакости, а на бедного немца и подавно... С его памятью я шутить не могу.

Шваньский не ответил, усмехнулся кисло и развел руками, как бы говоря: как угодно. Тогда понимаете, что будет с вами.

Водворилась тишина. Шумский оглядел друзей и понял по их лицам, что они согласны со Шваньским.

– Да разве это возможно? Что вы, Бог с вами! – воскликнул он. – Это гадость, подлость...

– Нет, Михаил Андреевич... – ответил Ханенко. – Это не подлость, а шутка... Это для обмана графа... Покойному от этого ни тепло, ни холодно... А дело это – не бесчестный поступок. Только одно прибавлю... Не выгорит! Никто не поверит, что смирный и порядливый немец эдакую затею выдумал. Да и друзья его под присягу пойдут, что не он заказывал карету.

– Да. И я тоже скажу, Михаил Андреевич, – прибавил Квашнин. – Свалить на фон Энзе ради спасения себя нехорошо. Да что делать... А только никто в обман не дастся, и граф не поверит. Стало быть, нечего тебе и волноваться.

– Меж собой говорите, – вставил Шваньский, – всякое предполагаете и решаете, а ничего не знаете и меня не спрашиваете... А у меня уши вянут, слушаючи, так как я все знаю. Знаю, что всему конец и благополучный.

– Что? Благополучный? Конец?

– Да-с. И вместо благодарности, Михаил Андреевич, я только от вас...

– А ну-те к черту... – слегка рассердился Шумский. – Случись потоп, уцелей опять какой Ной да Шваньский с ним, то непременно мой Иван Андреевич скажет Ною: благодарите меня, я ведь не Шваньский, а самый Арарат. Ну за что тебя теперь благодарить, за глупое и ненужное вранье? Позовут Мартенса и меня, и мы оба скажем, что ты налгал на покойного.

– Никого не позовут-с. Дело кончено. После моего вопроса ездил какой-то жандарм к графу и при мне вернулся и строжайше приказал дело затушить, замять скорее и никого не допрашивать про карету. Не смей даже никому вспоминать об ней, не то что говорить. А мне объявить прощение за неумышленное по легкомыслию и глупости природной поступление... Ну-с?..

– Да разве граф опять здесь?!

– Здесь. Либо не ездил, либо приехал... – сухо произнес Шваньский. – Что же, Михаил Андреевич... Ну-с? Я не Арарат?

Шумский встал, молча потрепал своего Лепорелло по плечу и выговорил:
– Спасибо. Чудно все это... Нежданно. Только совестно мне... Там мертвый лежит на столе, панихиды поют... А мы на него лжем и глупости выдумываем.
В эту минуту вошла Марфуша и выговорила смущенно:
– Офицер. Граф вас требует к себе немедленно... Известие встревожило всех.
– Се не па жоли!¹³ – пропел Шумский и присвистнул.

XL

Квашнин и Ханенко собрались и уехали тотчас, а Шумский, оставшись один, вторично заставил Ивана Андреевича подробно рассказать себе все, что было в полиции. Дело оказывалось в странном положении.

– Неужели он так глуп, – сказал Шумский. – Так! До такой степени. Ведь, как чурка, глуп, если поверил, что фон Энзе будет, как наш брат блазень, шутковничать. Совсем ведь дурак.

– Это кто же-с? Граф? Нет, поумнее нас с вами... – отозвался Шваньский. – А тут чтой-то особое... Я не хотел говорить при г. Ханенке... Чтой-то особое. Графу интерес велик замять дело скорее. Я смекаю, что он не верит моему разъяснению. Ведь ездил я, вам близкий человек. Как же мог я наняться к вашему врагу-немцу. Все это бессмыслие. А ему нужна прикинуться верующим. Он рад радехонек, что я наврал. А вот теперь он у вас спросит, кто карету заказал. Вы, пожалуй, и себя зарежете и его самого. Хватите правду. Скажите, Михаил Андреевич, неужели вы хватите?..

Шумский помолчал и вымолвил задумчиво:

– Черт его знает! Скажу? Не скажу? Сам не знаю. Зависит от Пашуты.

– От Пашуты? – изумился Шваньский.

– Да. Все у Пашуты в руках. Коли она захочет, я, якобы, солгу графу, свалю на фон Энзе и сделаю этим и ему угодное. Как Пашута.

– Удивительно... – вздохнул Шваньский. – Чудны дела твои, Господи!.. А ваше дело еще чуднее, Михаил Андреевич. – И Шваньский, ухмыляясь, замигал глазами.

– Зови Пашуту, Иван Андреевич. Сейчас с ней и решим, что мне сказывать графу...

– Полноте, Бог с вами... И чудодейству предел бывает... Вас граф ждет.

– Ах, ты... Расхрабрился. Благо в полиции его не высекли. Зови, зови...

Шваньский вышел, недоумевая и найдя Пашуту, которая сидела задумавшись в гардеробной, позвал ее. Девушка пришла в себя и грустно поглядела на него. Шваньский объяснил ей коротко все дело и спросил:

– Почему же тебе решать эдакое? Не знаешь?!..

– Знаю. Если я возьмусь в одном деле за него хлопотать, то Михаил Андреевич себя убережет. Если я не соглашусь действовать, он себя не пожалует. Что же тут? Понятно, надо помочь. У меня, Иван Андреевич, все в душе и в голове перевертелось. Я его любить стала, а прежде ненавидела, теперь очень люблю.

– Эвось. Хватила. Я этого изувера, голубушка, обожаю. Вот как. Черт, видишь ли, сказывают, из породы ангелов, а наш-то... ангел из породы чертей.

Когда Пашута вошла к Шумскому, то нашла его среди комнаты сумрачного с необычайно блестящими глазами.

– Пашута, – заговорил он глухо, – давай толковать, решать. Я смерти избежал, а от Аракчеева не уйду. Он меня не пожалует. Я его страшно озлил. Говори, как мне быть. Подставлять голову или обмануть его и спастись...

– Я-то при чем же тут? – солгала Пашута.

– Садись. Слушай... Все от тебя зависит.

¹³ Это некрасиво! (фр.).

Шумский усадил девушку пред собой и, помолчав, спросил:

- Ты любишь баронессу?..
- Пуще всего на свете!
- Ты знаешь, что она меня любит. Знаешь, что я сватался, все уладилось, а потом ты же все расстроила. Ты меня зарезала, рассказав фон Энзе, что я подкидыш. Ты мне страшную рану в сердце нанесла, великое зло сделала. Ты у меня в долгу теперь.
- Я готова всячески искупить свой грех перед вами, – грустно отозвалась Пашута.
- Ты знаешь, что барон и после этого был почти согласен на мой брак с Евой. Но этот дуболом вмешался и опять все к черту полетело. Теперь одно спасенье. Надо, чтобы Ева была моя. Так ли, сяк ли. Тогда барон поневоле согласится на брак. Уговорить Еву на подобное деяние невозможно. Она ни за что не пойдет на это. Стало быть, нужен обман. Нужен для счастья обоих. Хочешь помочь нам?
- Хочу, но боюсь, Михаил Андреевич.
- Чего?
- Боюсь... Я за себя меньше боялась, когда в Гру зине была. А за баронессу боюсь всей душой. Я ее больше себя самой люблю. Она святая, а не человек. Я ее боготворю.
- Чего же ты боишься?
- Вас.
- Я не понимаю, Пашута. Ведь я женюсь на ней. Лишь бы барон согласился.
- Женитесь ли?
- Бог с тобой. Да ты совсем... Ты думаешь, я так же к ней отношусь, как прежде.
- Боюсь, Михаил Андреевич... Да и неужели же опять опаивать собираетесь... Ведь это богомерзко, это злодейство.
- И не думаю... Нет. Нужно только, чтобы Ева приняла меня вечером у себя тайно от барона и от всех. Я поговорю с ней и... быть может она сама... Ее воля будет. Не захочет – прогонит. Это не обман будет, а насилие...
- Принять вас я ее уговорю, – решительно произнесла Пашута.
- Больше ничего мне и не нужно! – воскликнул Шумский.
- Вы ее опоите все-таки, одурманите вашими речами. Стало быть, вы должны побожиться мне, что вы потом женитесь, а не бросите ее.
- И говорить про это не хочу. Это дичь, вздор сущий. Я ее люблю, как сумасшедший. Разве такой вздор возможен. Ну... Так, стало быть, ехать к Аракчееву и лгать, спасать себя. Если ты не обещаешься мне помочь уладить наше свидание, то я прямо сознаюсь моему осиновому идолу, что я карету пустил по Петербургу. И он меня раздавит. Сошлет. И ты тогда пропадешь тоже от Настасьи. Согласна на все?!
- Согласна. Но помните... Не губите баронессу.

Шумский отчаянно махнул рукой.

- Через неделю, две она будет моей женой, а ты нашей сожительницей, даже не горничной, а как хочешь называй. Ну, я еду к Аракчееву, а ты ступай к баронессе и ладь дело. Она тебя послушается.

Через полчаса Шумский был уже на Литейной в маленьком доме графа. Во всех горницах было темно и тихо, посторонних не было никого, и дежурный адъютант пошел, тотчас докладывать о Шумском.

Граф тотчас же принял его. Когда Шумский вошел, он не двинулся, сидя за столом и тихо строча скрипучим пером. Перед ним горела одна сальная свеча.

- Ну, теперь на сей раз давай говорить по душе, – тихо вымолвил Аракчеев. – Ты убил фон Энзе? В куку?
- Да-с.
- Честно?
- Да-с.
- Мошенничества не было? Сам-то был в опасности быть убитым?
- Да-с.

– Ну что ж. Это похвально. Пустил про нас, мерзавец, по столице слух паскудный. Ну вот, ты всем и показал, как тебя подкидышем величать. За это хвалю. Так и государю доложу про все дело. Попрошу не наказывать ни тебя, ни секундентов.

– Покорнейше благодарю, – сухо вымолвил Шумский, внимательно приглядываясь к лицу графа.

По опущенным вороньим векам глаз и по едва уловимой жесткой улыбке на поджатых губах Шумский догадался, что все сказанное есть одно предисловие к предстоящей беседе.

«Цветочки! А ягодки впереди!» – подумалось ему.

– Денег у тебя довольно?.. – раздался вопрос.

– Да-с, еще есть.

– Может, нужно... Ведь на простую жизнь немного надо, а на затейную много идет. Да потом надо сказать. Этакие денежки и тратятся легко. Трудовой грош лежит крепко, а эдакий, как твой, катится, прыгает... На твои разные затеи тысяч не хватит. Я не смотрю, нажил сына, плати за него из тех денег, что у царя получишь за труды и честную, без лести верность. Ну и деньги царские я трачу так, что вреда моему государю от них нет. А вот за тебя, бывает, я мои деньги выплачиваю удивительным способом. Сколько я за карету заплатил? – равнодушно и как бы вскользь выговорил вдруг граф.

Водворилась тишина.

Шумский боялся, что не так понял и медлил ответом.

– Сколько, говорю, моему карману карета обошлась?

– Какая карета? – тихо произнес Шумский.

– Не юли...

Снова наступило молчание.

– Ну-с. По третьему разу. Во что обошлась карета? – настойчиво, с упрямой интонацией произнес Аракчеев.

Шумский взбесился вдруг не от самого вопроса, а от манеры, с которой он был поставлен.

– Я не понимаю, про какую карету вы изволите говорить. У меня дрожки и коляска. А вам я никогда карет не заказывал и не покупал.

– Одну заказал третьего дня.

– Нет-с. Вы изволите ошибаться.

Аракчеев поднял свои стеклянные глаза на молодого человека и пристально поглядел ему в лицо.

– Прежде ты не лгал! – выговорил он.

Шумский вспыхнул и едва не выговорил два слова: «Да. Я». Но вдруг мысль об Еве пришла ему на ум, и он мысленно произнес:

«Лгать до последней крайности».

– Извините. Но я окончательно ничего не понимаю. Про какую карету вы спрашиваете?!

– Я не про карету спрашиваю, – уже глухо от нетерпенья вымолвил граф. – А я спрашиваю, во что обошлась мне известная твоя карета, так как у тебя своих денег нет и ты платишь за все моими.

«Нет врешь, козел. Меня не переупрямишь. Спрашивай иначе, коли хочешь ответ получить», – подумал Шумский, снова озлобляясь, и не ответил ни слова.

Пауза вышла длинная. Аракчеев снял нагар со свечи, взял перо и начал писать, скрипя по бумаге. Шумский водил глазами за его пальцами и за набегавшими крючками и строчками.

Прошло минут пять. Граф крикнул и продолжал писать... Шумский стоял в ожидании.

Прошло четверть часа и более... Время это показалось Шумскому целым часом. Если бы не стенные часы с гулким маятником, стоявшие близ дверей, то он был бы убежден, что стоит тут уже час.

Аракчеев остановился, заложил перо за ухо, как подъячий, и полез за носовым платком.

Достав розоватый фуляр с желтой каймой, он высморкался неспешно, основательно и даже сановито.

Затем он спрятал платок, взял перо из-за уха и, перевернув большой лист бумаги, снова начал писать.

Прошло еще. пять минут, десять, двадцать и, наконец, после боя стрелка задвигалась дальше.

«Ах ты, инквизитор! – подумал Шумский. – Тебе бы при Екатерине у Шешковского служить».

И вдруг ему стало смешно при мысли, что Аракчеев способен продержат его у стола своего, как бы школьника, до полуночи.

«Вот колено-то отмочит... Давай попробуем. Это новое. Надо попробовать. У меня свободного времени, Алексей Андреевич, много. Ноги не больны... Посмотрим. По крайности потешимся...»

Аракчеев все писал... Шумский стоял... Перо скрипело. Маятник тукал... Стрелка бежала... Часы звонили часы и половины... А время шло и шло... Прошло час и двадцать минут... А всего с начала борьбы, с последнего вопроса графа около двух часов.

Покуда длилось молчание, Шумский невольно успел передумать о многом: о Еве, о кукушке и бедном фон Энзе... Даже о Гру зине вспомнил он и о матери. Наконец, он пришел в себя от движенья графа, Аракчеев вдруг бросил перо, откинулся на спинку кресла и глянул на Шумского с искаженным от гнева лицом. Его переупрямили...

– На чей счет ты живешь? – выговорил он хрипливо.

– На ваш...

– Много ли зла я тебе сделал за твою жизнь?..

Шумский вспыхнул, затем опустил глаза и промолвил взволнованно:

– Вы мне зла не делали, но... Все то же... Зачем вы меня взяли из моего состояния, у матери?!.. Крестьянином я был бы счастливее.

– Привередничанье. Бабы причитанья. Прибаутки с жиру. Ты сын Настасьи Федоровны и мой – нам на горе! Да не в том суть... А скажи мне, за что ты ненавистничаешь, издеваешься над матерью и над отцом? Какой в тебе бес сидит? Скажи мне. Рассуди. Что бы сказал мне государь, если б я на средства, которые имею от его милостей и щедрот, стал бы ему вредить и всякое на его счет худое выдумывать ради насмешки и издевательства. Что бы государь тогда со мной учинил? Скажи?

– Вы правы! Я виноват! – выговорил Шумский глухо. – Я... Я сам не знаю... Я сам ничего не понимаю... Карету я выдумал! Зачем? Не знаю. Досадить... За отказ барона из-за вас на мой брак... Я думал, буду убит уланом в кукушке и хотел, умирая, отомстить вам. Вот сушая правда! Карета, сделанная на ваши же деньги, подлость. Иного имени нет этой затее... Подлость. Низость. Я сам себе гадок... Да и не в первый раз. Во мне воистинну сидит бес. И рад бы я изгнать его, да не знаю как. Да и не хочу! Судите меня, как хотите, и наказывайте. Вот вся правда. Я хотел отпереться, налгать, свалить все на фон Энзе. Но не могу... Я могу, видно, лгать только тем, кого уважаю и люблю. Вот все. Больше не надо говорить. Больно много есть, что сказать... Накажите меня строго, жестоко, без жалости. И мне будет легче. Мы будем квиты. Милости ваши – мне нож... Поймите...

Шумский смолк, отвернулся и тяжело дышал...

Граф побледнел, протяжно просопел и, встав из-за стола, прошелся по горнице. Затем он остановился и выговорил, задыхаясь от гнева:

– Ладно... Накажу... И здорово. Здоровее, чем ты думаешь. Теперь вон... Две недели я тебе даю еще погулять флигель-адъютантом и сынком. Через две недели я тебе скажу, что я надумал с тобой подлецом учинить. Я сотру тебя с лица земли, которой от тебя тяжело приходится. А покуда... Вот, блудный сын, тебе задаток моего долга за карету...

Граф подошел к Шумскому шага на два и плюнул ему в лицо...

Аракчеевский «подкидыш» вернулся к себе бледный, но спокойный. Он точно не был вовсе оскорблен поступком графа и даже, казалось, забыл об этом. Он был раздражен тем, что этот «дуболом» прав, этот «идол» правду сказал. Поведение его, Шумского подло и низко, а поступок графа сравнительно маленькая гадость, заслуженная вполне...

Разумеется! Ведь средства к жизни, получавшиеся от этого человека, которого он прежде считал отцом, были большие. Прежде он и не помышлял, конечно, о том, что благодаря графу, сравнительно богат. Узнав, что он «подкидыш», а не родной его сын, он задумался было на счет получения этих средств, но ненадолго. Хотя ему и стало вдруг тяжело брать эти деньги, но тратить было также легко, как и прежде.

Мысль при заказе кареты, что он платит за издевательство над графом его же деньгами, не пришла ему просто на ум. Да и было не до того... Он собирался быть убитым.

Однако, у Шумского стало так скверно на душе, как никогда не бывало. Его тяготило что-то, давило... Вероятно, мысль, что этот ненавистный ему человек прав кругом, как он сам кругом виноват. И он стал себе невыразимо гадок.

– Ну, пускай отомстит! Квиты будем, легче будет! – решил Шумский озлобленно. – Да ведь и теперь почти квиты после эдакого... Ну... Это пустяки...

И мысли его перешли тотчас на баронессу, но не сами по себе, а насилием его над собой. Шумский тотчас справился о Пашуте и узнал от Марфуши, что та отправилась на Васильевский остров и еще не возвращалась.

– Грустная пошла туда наша Пашута, – сказала Марфуша. – Плакала.

– Плакала?

– Да-с. Я спросила о чем. Сказала мне: чую я, что предательствовать иду. Вот эдак же Иуда Христа предал. Он за деньги, а я-то зачем...

– Все вздор! – раздражительно вымолвил Шумский и, отпустив Марфушу, принялся курить и ходить из угла в угол по комнате.

– Диковинная жизнь! – забормотал он вслух. – От одного переплета избавился, в другой попал. Фон Энзе убил и жалею... Собираюсь жениться на Еве, а Аракчеев собирается со мной такое учинить, что пожалуй, не до свадьбы будет. Чудно. Когда же конец мытарствам. Две недели дал сроку. Зачем? Черт его знает... А это... Это?! Да ведь это вздор. Он особа, военный министр, а я офицерик...

И Шумский снова начал стараться думать о другом, о том, что за эти две недели надо во что бы то ни стало, хотя бы обманом, взять Еву, заставить этим барона согласиться на их брак... А браком обезоружить графа.

– Стыдно будет ему мстить! Да и жена, Ева заступится за меня. С красавицей-невесткой не сговорит.

Шумский сел и стал подробно и обстоятельно обдумывать план действий относительно Евы. Он доказывал себе мысленно, что женитьба на баронессе теперь двояко желательна, необходима, даже полезна...

«Если я ее возьму, – рассуждал про себя молодой человек, – барон поневоле согласится на наш брак. Если я обвенчаюсь, Аракчеев меня простит. Да я и сам повинюсь. Я виноват перед ним как ни верти. А от того, что я виноват, он мне менее ненавистен. Нет, он мне то менее, то еще более ненавистен. А „этого“ вот я еще не соображу... Как будто „оно“ тяжело... Сам не знаю... Какой я сумбурный, однако, человек. Создатель мой, какой я разношерстный... Умный, глупый, злой, добрый, шалый, безжалостный, мягкосердный, нахальный, совестливый... И черный, и белый... Зачем меня улан не убил?! Был бы теперь на столе и всей этой дурацкой канители жизни был бы шабаш! Моя жизнь – алтын. А его жизнь была порядливая, честная... Ему бы жить и жить. И это называется, вишь, судьбой... Так, видишь ли, Богу угодно... Вздор. Если Господь все видит и знает, не может Ему быть эдакое угодно... Это мы делаем, а не Он нас направляет... Справедливо ли, чтобы такой мерзавец, безродный подкидыш, как я, убивал честных людей, а сам оставался на свете... чтобы быть оплеванным! Правду говорит граф, что земле тяжело от меня приходится... Ох,

да и мне тяжело на ней... Вот теперь Ева... Люблю ли я ее? Да! Так же как месяц назад? Нет! Теперь меньше. Почему? Дьявол знает. Но взять ее надо. Жениться надо... Так пошло все с лета, пускай так и идет до конца. А до какого конца? Чем я кончу? Никто этого не знает. Кто бы угадал, что сегодня в один день будет кукушка и... это... Эх, кабы меня улан убил... Теперь бы как хорошо было. Просто, спокойно, понятно... Мертвое тело. Недаром говорится про мертвеца – покойник. Про живого надо бы говорить – тревожник». Шумский встал, вздохнул и вымолвил вслух:

– Ах, как мне нехорошо... И отчего?.. Застрелиться что ли?

Он стал посреди комнаты и прерывистое дыхание его стало учащаться, становилось все быстрее, неровнее, тяжелее...

– Отчего мне так гадко. Ах, как гадко. Никогда эдак не было. Душно... либо в горнице, либо на свете. Душно – смерть. А что, если сейчас... Кому потеря? А себе выигрыш. Ева пожалеет. Марфуша и того пуще. Пашута пожалеет. Квашнин и Ханенко пожалеют. Дай попробую. Пример примерю. Стрелять не стану, а примерю. Репетицию сделаю...

Шумский постоял и вдруг двинулся.

– Давай, Михаил Андреевич, побалуемся.

Шумский полез было в стол, но вспомнил, что ящик с пистолетами, привезенный от Бессонова друзьями, был еще в передней. Он быстро направился туда, взял ящик и, вернувшись к себе, достал порох и пули из стола.

Быстро, с оживленным нервно лицом, с блестящими глазами начал он заряжать пистолет, и скоро все было готово... Он даже ввинтил свежий кремль и насыпал мелкого пороха на полку. Затем с пистолетом в руке он подошел к зеркалу и приставил себе дуло к правому виску... И стал смотреть на себя. Лицо его вдруг стало бледно. И он сам удивился...

– Нет, лучше в сердце... Башку пакостить не годится. Башка – лучшая часть тела. Благородная часть. Разум – самый дорогой дар Божий.

Шумский перевел пистолет и приставил к груди. Рука его дрожала...

– Вот диковинно... – прошептал он. – Только пальцем потяни чуточку... И будет смерть. И всему конец! Только палец двинь. Двинуть. А?! Двинуть? Михаил Андреевич! Слушай, – громче выговорил он, глядя на себя в зеркало. – Двинуть?.. А? Обиды большой нет... Он особа... Он воспитан... Да зачем тебе жить? Ведь совсем не нужно... Пакостить и мерзости делать. Жить крестьянским подкидышем в дворянских хоромаш... С глупой метой на лбу ходить. Жить на деньги плюющего тебе в лицо изувера... Валяй. Ей-Богу... Может быть, и цел останешься, только ранишь себя. А коли судьба, то совсем готов будешь. А может быть только так... Ну?.. Что же? Страшно? Э-эх... Животное!..

Шумский опустил руку, вздохнул и задумался.

– И наверное даже не буду убит, а только ранен... – зашептал он через минуту. – Не уйду верно на тот свет... А вот попробую уходить... И как это хорошо пробовать!.. Веселее, легче на душе, чуя, что висишь на волоске от смерти по собственной воле... Это не то, что сегодня в темноте... Там страшно было... Ну, что же? Одна комедия? А? Оплеванный?

Шумский снова приставил пистолет к груди и снова стал смотреть на себя в зеркало. Лицо бледнело все более...

– Будьте вы все прокляты! Не хочу я с вами жить! – закричал он вдруг вне себя. – Фон Энзе! Слушай... Я туда, где ты...

Прошло несколько мгновений полной тишины и затем в квартире страшно прогремел гулкий выстрел. Марфуша, сидевшая в гардеробной, вздрогнула и побледнела. Она вскочила со стула и прислушалась... Все снова было тихо... Она перекрестилась несколько раз и дрожа побежала к спальне.

XLII

Между тем в маленькой квартире уланского офицера, убитого в этот день, была необычная суетня.

Тело фон Энзе, привезенное в карете его секундантами, было положено на кровать.

Часа через два в полку уже стало известно о происшедшем диком поединке и его смертельном исходе для товарища. Все офицеры тотчас же отправились на квартиру покойного.

Весть о новом случае кукушки быстро распространилась по столице. Говору не было конца, и все толки сводились к вопросу, что сделают с аракчеевским подкидышем. Неужели временщик и теперь отстоит его, и он останется не наказанным, не будет посажен в крепость.

Большинство было уверено, что если всякого рода прошлые безобразия «блазня» оставались всегда безнаказанными, то поединок, хотя и дикий, сойдет тоже, конечно, даром с рук.

В сумерки, к дому, где был покойник, подъехала карета и из нее вышел барон Нейдшильд с красавицей дочерью.

Они медленно и молча поднялись по лестнице и вошли в квартиру... Мартенс, распорядившийся всем, принял их... Барон был сурово печален, а его дочь стыдливо смущена и немного бледнее обыкновенного.

Ни друг покойного, ни прибывшие не обменялись ни словом, только поздоровались. Затем родственники убитого прошли в спальню, где лежал на кровати поверх одеяла покойник в парадном мундире с иголки.

И никто не знал, что этот мундир был еще недавно заказан порядчивым немцем загодя, ради иного назначения... Надеясь на согласие баронессы, фон Энзе запасся этим платьем для своей свадьбы.

Пробыв несколько мгновений на коленях в молитве около тела, и барон и Ева вернулись в маленькую гостиную и сели на диван в ожидании прибытия пастора.

Мартенс отсутствовал, ибо хлопотал и совещался с какой-то фигурой, ожидавшей в передней, которая казалась всем прибывшим фатальной, так как всякий догадывался, что это был гробовщик.

Биллинг подсел к барону и, несмотря на свое грустное смущение, невольно приглядывался к Еве и любовался ею.

Барон стал расспрашивать офицера о подробностях поединка и о смерти фон Энзе. Биллинг рассказал все...

Барон дивился, охал и пожимал плечами, узнавая из рассказа офицера, что за безумно дикая выдумка эта кукушка.

– Стало быть, никто не видал и не знает, как фон Энзе был убит?! – воскликнул, наконец, барон.

– Никто. Мы вошли, когда раздался последний выстрел и его стон.

– Не может быть, тут было... – Барон запнулся и поглядел искоса на дочь. – Может быть, не все было правильно...

– Объясните батюшке, – вдруг, как от толчка, обратилась Ева к офицеру тихим, но взволнованным голосом. – Объясните, что в этого рода поединках правил нет, или они другие совсем. Я знаю... Мне все рассказывали. А батюшка не знает.

Биллинг стал объяснять барону какие правила кукушки, и, когда он кончил, молодая девушка выговорила:

– Стало быть, опасность была одинакова для обоих. Г. Шумский, быть может, перехитрил покойного... Но подобное допускается в этой дуэли.

– Точно так, баронесса. В темноте всякий делает, что может, чтобы избежать выстрела противника и выстрелить вернее в удобную минуту.

– Стало быть, заподозрить кого-либо в нечестном поступке нельзя, не следует?! – сказала Ева твердым голосом.

– Я и не обвиняю Шумского, моя милая, – грустно заметил барон. – Если поединок такой азиатский, то, конечно, он был прав, если перехитрил противника и подвел его в какую-нибудь ловкую западню. Я удивляюсь, что фон Энзе согласился на такую нелепую дуэль... Да, все это... Вообще, все это очень грустно, – вздохнул барон.

– Грустно. Да... – едва слышно отозвалась молодая девушка. – И все-таки все честно. Нет бесчестья победившему. Я жалею покойного от всей души, но думаю, что и г. Шумский не должен быть осуждаем за то, что остался жив. Не убит, а убил...

– Конечно, – вздохнул Биллинг, но в голосе его слышалось вполне, что он не согласен с мнением баронессы.

Ева вдруг слегка выпрямилась, ее красивые бирюзовые глаза широко раскрылись и устремились на офицера пытливо, тревожно, но, вместе с тем, и строго...

Она молчала, но глаза ее спрашивали офицера и требовали объяснения интонации его голоса.

– Кукушку мы не знаем... – заговорил вдруг Биллинг не твердо, робко, как бы извиняясь. – Никто из нас никогда так не дрался... Мы расспросили, что могли у Бессонова... Нам объяснили... Но может быть в этом поединке есть... Есть... Как бы сказать...

– Что?! – строго произнесла Ева, и голос ее ясно говорил: ты хочешь сказать вздор или прямо солгать.

– Есть тонкости... Сноровка... Фортель, как говорят про разные тонкости. Не только в дуэлях на шпагах и саблях, но даже на пистолетах, есть, баронесса, тонкости, которые можно знать и не знать. Кто знает, тот скорее останется победителем. Вот и в кукушке, может быть, есть что-нибудь... По всей вероятности.

– Может быть? Что-нибудь? По всей вероятности? – отчеканивая слова, повторила Ева. – Но скажите, г. Биллинг, пользование тонкостями в обыкновенных дуэлях считается бесчестным?

– Нет, баронесса... Но там все происходит при свете, на глазах секундантов, а тут в темноте и наедине...

– Стали бы вы также судить этот род дуэли, если бы был теперь убит г. Шумский?

– Да, баронесса... Но...

Биллинг запнулся.

– Говорите. Ваше «но» любопытно.

– Но я знал фон Энзе за честнейшего человека. Я не могу того же сказать про г. Шумского.

– Позвольте мне, знавшей близко обоих, поручиться и за г. Шумского! – холодно выговорила Ева, и яркая краска впервые показалась на ее бледных щеках.

Биллинг почтительно наклонился и замолчал...

Барон поглядел украдкой на дочь и, вздохнув, потупился грустно и даже беспомощно...

Между тем в соседней горнице, где сидело человек шесть офицеров, шла шепотом беседа буквально о том же. И все беседующие были согласны между собой, что смерть фон Энзе есть возмутительное, предательское убийство... И так оставить дела нельзя. Честь полка замешана. Товарищи покойного должны вступить. Надо что-нибудь решить и предпринять немедленно.

Один из офицеров предложил бросить жребий, чтобы один из присутствующих назвал Шумского убийцей и вызвал на обыкновенный поединок.

Предложение было отвергнуто.

Другой предложил подать жалобу государю... Но и это было найдено нелепым. Докладывать дело императору пришлось бы тому же военному министру.

После целого часа совещаний товарищи покойного не пришли ни к какому результату, но единогласно решили:

– Так дело все-таки оставить нельзя. Надо собраться завтра всему полку. Надо, чтобы аракчеевский подкидыш был наказан. Если закон его достать не может за спиной военного министра, то надо тогда наказать его частным образом.

Появление Мартенса прекратило совещание. Он заявил, что прибыл пастор.

Все поднялись и двинулись...

Во время заупокойного обряда, совершаемого пастором, все товарищи убитого были

заняты не столько мыслями о покойном товарище и молитвой, сколько присутствием красавицы-баронессы. Большинство офицеров видело ее близко в первый раз. И Ева поразила их своей красотой.

Когда через полчаса барон Нейдшильд с дочерью отбыл из квартиры, то уланы, собравшись в той же горнице, говорили опять-таки не о товарище, а исключительно о той, которая когда-то была почти объявленной невестой его и, собственно, из-за которой он теперь лежал мертвый.

– А она влюблена в его убийцу! – горячо воскликнул Биллинг.

– Не может быть?! В Шумского? В безродного? В блазня! – раздались голоса.

– Верно, господа, – глухо произнес Мартене. – Вот логика судьбы... Вот наука нам, мужчинам. Защищайте женщин от негодяев, в которых они влюбляются легче, чем в честных людей, и отдавайте себя на убой.

– А когда вы будете убиты, – добавил Биллинг, – то красавица выйдет замуж за вашего убийцу. И вместе они посмеются...

Наступило минутное молчание.

– Смеяться в данном случае, – заговорил снова Мартенс, – будет один лишь мерзавец Шумский. Баронесса, добрая и честная девушка, и смеяться не станет. Зато негодяй блазень весело смеется теперь над убитым врагом, а потом... со временем посмеется зло и над бедной женщиной, которая его любит.

– Женится, а потом бросит?

– Нет. Не женится, а потом бросит...

XLIII

Барон Нейдшильд и его дочь, ворочаясь домой, сидели в карете молча, задумавшись. Барон под тяжестью своих размышлений согнулся, опустил голову и глядел на коврики экипажа. Так сидят выздоравливающие или совсем дряхлые старики, или, наконец, убитые горем люди.

Красавица Ева, напротив, как-то особенно выпрямилась, даже слегка закинула голову назад и только крайне бледное лицо и необычный тревожный огонек в глазах всегда ясных и спокойных выдавали ее нравственное настроение. Когда свет фонарей, уже зажженных на улице, освещал ее фигуру в карете, она казалась не живым существом, а красивым привидением.

Молча доехали они домой, вошли и разошлись в столовой, направляясь в свои горницы. Однако, через несколько минут, побродив по своему кабинету, барон вышел, прошел на половину дочери и постучался в ее дверь.

Она откликнулась. Барон вошел и выговорил, как бы извиняясь:

– Ева, надо поговорить... Молчать хуже.

Молодая девушка не отвечала и вздохнула.

– Надо поговорить, – повторил барон, опускаясь в кресло. – Может быть, что-нибудь выяснится... Придумаем, что делать...

Ева тихо подошла, села около отца и произнесла твердо:

– Нечего делать, батюшка... И сколько бы мы ни говорили, придумать ничего нельзя. Вы хотите утешить и успокоить меня беседой. Это напрасный труд, я спокойна. Притом же я знаю, что никакие беседы, хотя бы они длились целый год, ничего не решат. Вы скажете снова мне, что он безродный, подкинутый или купленный приемыш, и, что, несмотря на свое звание флигель-адъютанта, он мне не пара...

– Конечно, милая моя!

– Да. Но я отвечу вам, что я его люблю. Вы скажете, что он дурной человек, очень дурной, дурно воспитанный, с дурными наклонностями, даже с пороками, что в нем нет ничего привлекательного, что он человек без нравственности, без религии, без сердца, не так ли?

– Ты знаешь, что это все видно из всех его поступков. Я говорю не наобум.

– Ну, да. А я отвечу вам на это, что все это верно, справедливо, но... но, что я его люблю!

– Подумай! – воскликнул барон. – Если ты признаешь в нем все, что ты говоришь, сама убеждена в этом, а не просто повторяешь чужие слова, то подумай – за что ты любишь его? Почему?

– За что и почему, я сама не знаю! За то, что он – именно он, а не другой. Отнимите у него все его недостатки и пороки, сделайте его другим – добродетельным – и тогда, пожалуй, я перестану любить его.

– Это ужасно, что ты говоришь!..

– Да, конечно, но поверьте, что чувство, которое во мне, еще ужаснее. Мне кажется иногда, что я в борьбе с каким-то чудовищем, которое овладело мною. Этот человек и мое чувство к нему так мало похожи на мои прежние грезы о счастье, что, размышляя, я только более запутываюсь. В нем есть, конечно, хорошее, но сравнительно мало: недостатки и даже пороки преобладают. И вот это все дурное в нем я тоже люблю. Я бы не желала, чтоб он изменился. Быть может, вы думаете и даже вы однажды говорили, что я напрасно надеюсь, что он изменится, что, будучи женой его, я буду тщетно стараться его изменить. Я об этом не думаю. Я не желаю, чтобы он переменялся. Пускай остается он тем же дурным человеком, а я буду любить в нем, помимо хорошего, и все это дурное.

– Ева! Ведь это сумасшествие! – снова воскликнул барон в отчаянии. – Ты обманываешь себя. Твое воспитание, характер, твоя религиозность не могут допустить тебя до этого!

– Все это было, – едва слышно, упавшим голосом, отозвалась Ева.

– Что было?

– Все это было, – повторила Ева.

– Да что все?

– Все что была ваша дочь Ева, все это где-то далеко, будто потеряно на дороге, все это не нужно... Все это лишнее... Без всего этого можно жить. А теперь есть одно, чем живешь – чувство к этому человеку.

– Ева, что же это?! А отец?..

Девушка двинулась со своего места, опустилась на колени перед бароном, взяла его за руки и, целуя их, опустила на них голову и прижалась лицом.

– Стало быть, и меня ты любишь меньше. И я ему пожертвован?..

– Неправда! – отозвалась Ева. – Я чувствую, что это неправда. Но теперь я не могу ничего разъяснить ни себе, ни вам. Не будем говорить об этом... Время все разъяснит нам обоим.

– Время! Да... Но теперь ведь ты несчастлива?.. Неужели рассудок твой не может прийти к тебе на помощь? Тогда будем говорить вместе. Чаще...

– Нет, батюшка, напротив. Дайте мне слово, что это наш последний разговор о нем. Что мы больше об этом говорить не будем, что мы имени его ни разу не произнесем. Дайте мне слово! Иначе я не могу... Это, действительно, мучение и мне, и вам. Для меня будет уже маленьким утешением знать, что мы больше с вами о нем никогда говорить не будем. И вы должны мне дать честное слово, что не заговорите обо всем этом долго, долго... покуда я сама не заговорю, сколько бы времени это не продолжалось. Дайте мне слово! Это будет мое единственное утешение.

Нейдшильд взял дочь за голову и поцеловал ее в лоб дрожащими губами. Слезы показались на лице его.

– Даете слово? – ласково спросила Ева, целуя отца.

– Даю...

– Никогда ни слова ни о чем, как если б его не было, как если б ничего не случилось. Даете?..

– Даю слово.

– Ну, вот! – с грустной улыбкой произнесла девушка, поцеловала руку отца, поднялась и, отойдя к зеркалу, стала поправлять прическу.

Но ее собственное лицо с каким-то незнакомым ей самой выражением во взгляде, с какой-то новой странной полуулыбкой на губах вдруг поразило ее. Она будто испугалась самой себя и быстро отошла от зеркала.

Нейдшильд, тяжело поднявшись, молча вышел и, придя к себе в кабинет, не зажигая свечей, сел в кресло и произнес шепотом:

– Надо уехать! Увезти ее подальше, надолго... А если она не захочет, то надо...

Он запнулся и мысленно добавил:

– Но ведь это будет счастье на один месяц, на полгода... Ужасно!..

XLIV

Тотчас же после ухода барона явился лакей и доложил барышне о приходе Пашуты. Легкий румянец вспыхнул на щеках Евы. Вместо того, чтобы велеть позвать девушку, которую она уже видела в этот день, Ева быстро двинулась сама. Пройдя в прихожую и увидя Пашуту, она взяла ее за руки и потянула за собой, ни слова не вымолвив.

Усевшись на кушетке и усадив Пашуту, как часто бывало прежде, на скамейке у себя в ногах, Ева выговорила тихо:

– Говори все!.. Что-нибудь новое есть?.. Все говори, что знаешь... Ты видела его теперь? После поединка?..

– Да-с. После...

– Что он говорит? Как себя чувствует? Он не был в опасности?..

– На нем рукав сорочки разорвала пуля.

Ева схватила Пашуту за руку и вдруг замерла, потом вздохнула, покачала головой и потупилась.

Пашута говорила что-то, но она не слушала.

– Как же это понять? – произнесла вдруг Ева. – Когда мне сказали: фон Энзе убит, со мной этого не было. А теперь, узнав только про рукав... Бог знает что... Ну, говори, что он? Рад, доволен, что избавился от фон Энзе... Радует и смеется со своими секундантами, с приятелями?..

– Нет, барышня. Как можно! Он не такой, как все... Ведь он чудной! Дверь была долго растворена к нему в спальню, и я все до единого слова слышала.

– Что же?

– Он говорил, так ему скверно, что не знает, что лучше: убить ли или быть убитым. Говорил, что уж лучше бы фон Энзе его убил, легче бы стало. А они все над ним смеялись... Он сказал, что и говорить об этом не станет и поминать не хочет. Уж очень тяжело.

– Да, это так... Это он! – тихо произнесла Ева. – Я так и думала. Это он! И про этого человека говорят, что он дурной, порочный... И сам он считает себя порочным. И ты ведь считаешь его извергом и злодеем.

– Да, барышня, считала! А теперь и у меня ум за разум зашел. Теперь я и сама не знаю, какой он человек. Должно быть, он, барышня, знаете что?.. – вдруг произнесла Пашута.

– Что?..

– Колдун он.

– Да, правда твоя, Пашута, – улыбнулась Ева, – именно колдун!

– Вот что, милая моя барышня, – заговорила Пашута, опуская глаза. – Я ведь к вам не сама пришла, меня послал Михаил Андреевич.

Ева схватила девушку за руку и сжала ее. Она не вымолвила ни слова, но глаза ее ясно сказали:

«Говори скорей!»

Пашута рассказала подробно свой разговор с Шумским и передала то положение, в котором он находится благодаря своей последней шутке с каретой. Она объяснила Еве, что

Шумский настолько верил в свою неминуемую смерть, что не побоялся дерзкой выходкой нанести страшное оскорбление Аракчееву. Но вышло все иначе. Он остался невредим. Карета расписная наделала много шума в Петербурге. А он ждет отместки от графа. Все сводится к тому, признается ли он графу или будет отрицать. А все это: погибель его или спасение, зависит от нее – Евы. Если у него будет надежда, что прежнее возвратимо, то он выгородит себя и не сознается Аракчееву.

– Все зависит от вас, барышня, – кончила Пашута.

– Что же я могу сделать? Скажи ему, чтобы он надеялся, что все еще устроится.

– Этого мало. Он хочет видеть вас, говорить с вами или у вас, или...

Пашута запнулась и опустила глаза.

– Или у нас, или где? – произнесла Ева.

– Понятно там...

– Где там?..

– У нас, – вымолвила Пашута тихо.

Наступила пауза. И, наконец, Ева произнесла тихо:

– У него?

Пашута не ответила.

Наступило молчание и длилось долго.

Пашута, державшая руку Евы в своих обеих руках, вдруг почувствовала, что маленькая ручка вздрагивает все сильнее, она подняла глаза на свою дорогую барышню и увидела, что Ева плачет.

– Что вы, барышня? Вы оскорбились и на меня. Я передаю чужое... Это не я... – взволнованно заговорила Пашута.

– Скажи ему, – заговорила Ева, но голос ее прерывался от слез и спазмы в горле. – Принять его в доме отца я не могу без его позволения. Здесь все его. Это значит нарушить его права. Стало быть, можно видаться только там... у вас. Скажи, что это может быть. Не скоро, но будет. Понимаешь? Я чувствую, что это будет. Но затем, после, тотчас же все кончится благополучно или мне останется только самоубийство.

– Ах, что вы! – воскликнула Пашута.

– Ах, милая, давно ли ты говорила мне сама, что жизнь может так повернуться, что другого выбора нет. Давно ли ты говорила, рассказывая о себе, что это вовсе не так трудно, как кажется, что ты много думала об этом, будучи в Гру зине. Ну вот я теперь в положении, которое, пожалуй, хуже твоего. Тебе грозят мучениями, пытками, но не душевными. Тебя будут наказывать, придумывать всякие истязания, но душу твою не тронут, а ведь мне грозит много худшее...

Пашута молчала и волновалась. В голове ее неотступно стоял вопрос: говорить ли баронессе все или нет? Говорить ли, что задумал Шумский? Каким образом он хочет заставить барона согласиться на их брак. И Пашута не решалась. Она будто боялась, что, испугав баронессу, она не выполнит поручения Шумского и предаст ей его. Умалчивая, она ему предает то существо, которое обожает. Давно ли она ненавидела этого человека, считала врагом и злодеем Евы. А вдруг теперь в ней борьба, кого из двух предавать.

И, наконец, Пашута, мысленно решив умолчать, по крайней мере на время, произнесла:

– Барышня, позвольте мне завтра опять придти?

– Конечно, приходи. Всякий день приходи. Я батюшку попрошу дозволить это. Я знаю, он согласится. У меня теперь только одно утешение, тебя видеть. Но я одного боюсь, Пашута. Ты можешь всякий день, всякий час попасться полиции. Тебя схватят и опять отвезут в Гру зино, а там твоя погибель. Я хочу опять просить батюшку, не боясь Аракчеева, укрыть тебя где-нибудь. Там ты не в безопасности... там, на Морской... у него...

И Ева почему-то не решилась назвать Шумского по имени.

– Там тебя скорее разыщут и схватят. Я даже не понимаю, как до сих пор тебя не нашли. Приходи завтра же. А я сегодня переговорю с батюшкой. Прежде он не хотел, но теперь после всего этого, он согласится укрыть тебя. Если же мы уедем к себе в Финляндию,

а кажется это так и будет, то мы возьмем тебя с собой. Там и Аракчеев тебя не достанет. За русской границей, в Финляндии, ты уже не крепостная. Мне это говорили знающие люди.

Баронесса расцеловала свою любимицу и, прощаясь с ней, говоря: «до завтра», почувствовала себя несколько бодрее.

Мысль, что завтра она снова будет с Пашутой говорить все о том же, чем полно ее сердце, полон разум, делала ее почти счастливой. Это была все-таки надежда на нечто, что осуществимо, что завтра непременно будет.

Беседа с Пашутой о Шумском казалась ей теперь тем же, чем когда-то, давно, было для нее свидание с ним самим... с секретарем Андреевым.

XLV

Едва только Пашута вышла из дома барона и прошла несколько шагов, как увидела около фонарного столба хорошо знакомую фигуру. Она сразу узнала ее и, приостановившись на мгновение от безотчетного чувства страха, двинулась навстречу еще быстрее.

Это был ее брат, которого Пашута никак не могла ожидать встретить здесь в эту минуту, так как он жил, скрываясь у Квашнина.

– Что такое?.. Беда какая?!.. – воскликнула Пашута.

– Вестимо, беда, – ответил Копчик, – а то что же другое ждать можно. Я тебя целый час тут караулю.

– Что ж такое?

– Меня накрыли, чуть не взяли... И тебя ждут у Михаила Андреевича, чтобы заарестовать.

– Полиция?..

– А то кто ж!

– Господи, что ж теперь делать! – с отчаянием произнесла Пашута.

«Хоть бы дали денька два-три чужое горе уладить, – подумалось ей, – а самой-то все равно».

– Ну, иди скорей! И тут негоже время терять. И сюда могут нагрянуть. Да вон смотри, на извозчиках едут... Вишь кивера... Поди они же и есть.

Копчик схватил сестру за руку, и они пустились быстрыми шагами в противоположную сторону, но через несколько мгновений Копчик оглянулся и выговорил тревожно:

– Побежим скорее!

И брат с сестрой пустились по панели бегом. Звук дрожек замолк вдали, но им было не видно, остановились ли предполагаемые полицейские у дома барона или свернули куда-либо в сторону.

– Ну передохнем! Покуда миновало. Что-то дальше будет? – выговорил Копчик.

– Куда же мы, Вася?

– А вот сейчас узнаешь, все расскажу; а теперь шагай, что есть мочи.

– Да ты скажи только куда идем?

– Одно у нас место осталось, Пашута. Последнее. Да и то неведомо, пустят нас или выгонят. Думаю пустят. Он добрый, добреющий!..

– Кто?..

– Капитан Ханенко – приятель барина. Он не пустит, пойдем прямо за заставу, в поле. Больше некуда.

– Вряд ли пустит. Я его раз как-то мельком видела... Был он вечером у Михаил Андреевича. Хохол ведь он? Хитрый, опасливый. Почему ты надумал к нему идти?

Но Копчик на вопрос сестры махнул рукой и выговорил:

– Идем скорей! Успею все рассказать!

И они быстрой походкой, почти бегом двинулись далее, поворачивая из одной улицы в другую. Через полчаса ходьбы, они были уже перед маленьким домиком, в котором жил капитан. В окошках было темно. Копчик зашел во двор и спросил денщика капитана,

которого, разумеется, знал давно.

Маленький и тщедушный солдатик по имени Григорий, которого Ханенко звал уменьшительным «Гришуня», принял беглецов. Он впустил их в крошечную прихожую и объяснил, что капитана нет дома, да вряд ли он и вернется на ночь.

– Отчего! – ахнул Копчик.

– Вам лучше знать! – отозвался Григорий. – Из-за вашего барина все приключилось. Капитан сказывал, что ему ночевать придется в крепости и что если он на ночь не придет, чтобы я справлялся там и первым делом халат ему снес. Он ведь без халата не может! Что там не случись на свете, а ему халат. Он ведь сказывает завсегда: ты, говорит, Гришуня, коли я помру и в гроб смотри не забудь мне халат положить, чтобы было в чем на том свете ходить.

Григорий, улыбаясь, широко раздвинул свой огромный рот с черными зубами и удивился, что прибывшие не рассмеялись, а продолжали тревожно смотреть на него.

– Аль с вами беда какая? – догадался он.

– Да... то есть особенного ничего... – спохватился Копчик. – Мне... Вот нам с сестрой нужно капитана видеть. Даже так тебе скажу: не придет он на ночь, мы все равно его тут прождем всю ночь. Мне так указано и сестре тоже: сидеть тут и ждать капитана хотя бы трое суток.

– Ну что же, сидите! – нерешительно выговорил солдат. – Коли приказано, так делайте. Токмо одна беда, коли капитан не вернется суток двое, трое, что же мы тогда все трое-то жрать будем. На меня одного хватит, а на троих где же...

– Об этом не заботься, у нас деньги есть, а у вас тут лавочки есть... Мы и тебя угостим.

– Ну, это дело иное! – быстрее выговорил солдат. – Оставайтесь. Эдак хоть месяц можете ожидать. Да ведь может, капитан сейчас придет. Все это неизвестно. А самоварчик я все-таки сейчас поставлю.

Копчик с сестрой остался в маленькой прихожей, а Григорий отправился в кухню, чтобы похлопотать об угощении. Пашута, как вошла, села на полуразломанный стул и сидела теперь, опустив голову и глубоко задумавшись. Она почти не слыхала разговора брата с денщиком. Копчик сел на какой-то сундук и окликнул сестру:

– Что ты? Устала, что ли?..

– Нет, не устала. А что ж нам делать. Он что говорил – капитана нет.

– Подождем, может, все врет. Да я и думаю, что врет. Если бы капитану приходилось садиться в крепость, так и наш барин уж сидел бы, и Петра Сергеевича уже заарестовали бы; а ведь полиция-то была ради меня.

– Как же ты все узнал? Как спасся? Говори! Ведь я по сию пору еще ничего не знаю.

– Дело простое и ожидать этого надо было. Я ждал...

И Копчик рассказал сестре, что в сумерки, вернувшись в квартиру Квашнина, он совершенно спокойно сидел в передней. Через несколько времени приехал Квашнин, передал ему вкратце подробности поединка и объяснил, что ожидает ареста.

Он только, что вернулся от Шумского, за которым уже приезжал офицер, требуя его к графу Аракчееву. Квашнин тоже предполагал, что в тот же вечер, а может быть наутро, его арестуют и посадят на гауптвахту или свезут и прямо в крепость.

Не прошло получаса, как в квартире Квашнина позвонили. Копчик выглянул в окошко и увидел полицейских. Не отворяя дверь, он бросился к барину и доложил ему. Квашнин немножко смутился, но развел руками и выговорил:

– Делать нечего. Пускай...

Копчик двинулся было отворять дверь, но кухарка Квашнина предупредила его. В передней слышались уже голоса и один из полицейских спрашивал, здесь ли в доме крепостной человек графа Аракчеева по имени Василий. Кухарка отвечала, что есть какой-то человек, но звать его Копчиком, а не Василием.

В это же самое мгновение Квашнин, прислушивавшийся к говору, схватил его за плечо и шепнул:

– Не за мной!.. Тебя!.. Удирай!

Копчик почти не помнил теперь, как выскочил он из дому через заднее крыльцо, как пробежал двор, как бросился на него какой-то солдат и задержал его за ворот и как отмахнулся он, сшиб солдата с ног и вылетел за ворота.

Первая его мысль была, конечно, о сестре. Он нанял извозчика и поехал на квартиру Шумского. Барина не было дома. Он был у графа, а Марфуша сказала ему, что Пашута ушла к Нейдшильду. Когда Копчик рассказал ей про свое бегство от Квашнина, Марфуша посоветовала ему предупредить и сестру, что она встретила какого-то полицейского в соседней лавке и узнала от лавочника, что его расспрашивали о жильцах в квартире флигель-адъютанта Шумского.

И Копчик решил идти ждать сестру около дома барона.

– Что же теперь-то делать? – произнесла Пашута, когда брат замолчал.

– Что? Ничего! Рано ли, поздно ли быть нам в Гру зине, быть нам изувеченными, быть в «Едекуле», быть и в Сибири. Все будет! Да, Пашута, всё будет. Не жить нам на свете. А с чего все это пошло, и уразуметь-то нельзя. Все перемололось, для других мука вышла, а мы все мыкаемся. Для других беды прошли, а над нами все висят. Ты предала Михаила Андреевича, он тебя засадил в чулан. Я тебя выпустил. Он нас отвез к ведьме Настасье. Мы оттуда бежали. С ним ты помирилась, его слугой стала. На меня он тоже не злобствует, как прежде. А беда как была, так и осталась. Даже и понять мудрено. Был бы он человек богобоязный, так справил бы теперь все, выпросил бы нас обратно к себе, а он и думать забыл.

– Ему теперь не до того, – отозвалась Пашута. – После все как-нибудь уладится. Лишь бы день, два оттянуть.

Солдат явился звать незваных гостей в кухню пить чай. Пашута, сильно озябшая, обрадовалась возможности согреться. Устроив гостей в кухне и налив им чаю, Григорий стал размышлять о том, где и как устроить их на ночь.

Теперь денщик был вполне уже убежден, что барин его к ночи не вернется и что завтра утром придется ему путешествовать по всему Петербургу с халатом, заглянуть и в крепость, побывать и на всех гауптвахтах.

– А все это из-за вашего барина, – объяснил Григорий. – Нешто можно трем господам офицерам эдакое дело делать. Взяли эдакого же офицера, как и они сами, заперли его в темный чулан, да там и застрелили.

Копчик, знавший все подробности поединка, при этом неожиданном объяснении солдата невольно прыснул со смеху.

– Что?.. Что?.. – выговорил он. – Заперли офицера в чулан да там застрелили?..

– Вестимо! – ответил солдат, но при этом уже весело улыбался.

Копчик счел было нужным объяснить Григорию, как именно был убит фон Энзе, но в ту же самую минуту раздался звонок, и все трое вскочили с мест. Чуть не все трое выговорили в один раз:

– Слава Богу!

Помимо капитана звонить было некому в такой поздний час. Григорий пошел отпирать, а Пашута, взглянув на брата, выговорила тихо:

– А выгонит?.. Куда же тогда?

Брат с сестрой стояли молча и прислушивались к голосу капитана, опрашивавшего денщика. Квартира была настолько мала, что хотя разговор шел за три комнаты, можно было слышать все от слова до слова.

Ханенко удивлялся появлению бывшего лакея Шумского, якобы с важным поручением. Он догадался, что это вздор. Но затем еще более удивился он, узнав, что вместе с Копчиком его сестра, которую он видел не более двух раз мельком, когда та приходила от баронессы к Шумскому. Капитан помнил смутно смазливенькое личико и помнил, что эта горничная смахивает на барышню.

Последнее обстоятельство заставило теперь Ханенко призадуматься. Ни разу еще в его

квартире не появлялась ни одна женщина. Появление же в такой поздний час барышни-горничной несколько смутило капитана. Он вошел, насупившись, в свою маленькую гостиную и велел позвать неожиданных посетителей.

Григорий зажег свечку, поставил на стол и пошел в кухню. Когда при тусклом свете сальной свечи появились в горнице Копчик и Пашута, капитан при виде бледного лица и блестящих черных глаз красавицы Пашуты вдруг сразу как-то окрысился. Лицо его изменилось, голос стал грубее.

XLVI

В действительности добряка капитана смутило совершенно особое обстоятельство. Уже лет с десять ему не приходилось даже разговаривать с какой бы то ни было молодой девушкой, не только с такой красивой, как эта, стоящая перед ним. Вдобавок капитану как-то дико было видеть среди ночи эту молодую красавицу в своей собственной квартире. Если б он увидал теперь здесь медведя или даже домового, то, быть может, смутился бы менее.

– Что тебе нужно? Откуда ты? – выговорил Ханенко грубоватым голосом, глядя в лицо Копчика и стараясь не глядеть на его спутницу.

Но это было невозможно, так как Пашута стояла прямо за спиной брата и через его плечо блестящие и грустные глаза девушки пытливо приковались к лицу капитана.

Копчик смущенным голосом, запинаясь и волнуясь, стал рассказывать капитану всю правду. Ханенко после своего первого вопроса тотчас же стал смотреть в пол. Затем еще раз поднял он глаза на Копчика, снова увидел за его плечом красивую черноволосую голову и устремленный печальный взгляд и снова, будто обозлившись, уперся глазами в пол.

Когда Копчик кончил свой рассказ, умоляя капитана позволить ему с сестрой укрыться в его квартире дня на два, на три, чтобы избежать поисков полиции, капитан начал тяжело дышать и сопеть. Ответ уже был готов давно, ко ответ, который был злым и жестоким. Действительно, поступить так со стороны капитана – он понимал это – было бы безжалостно... или странно. Он хотел отвечать Копчику, что он знает его давным-давно, не раз пользовался его услугами, привык к нему, как к лакею своего хорошего приятеля и, следовательно, готов всячески его одолжить, тем паче, что он бежит не от этого молодого барина, а от всем ненавистного временщика. Что же касается до его сестры, то капитан должен наотрез отказать ей, не считая возможным допустить ее присутствие в своей маленькой квартире.

Обдумывая этот ответ, покуда Копчик рассказывал сестрины и свои беды, капитан сам себя усовещивал.

«Это возмутительная мерзость – брата принять, а сестру его выкинуть на улицу ночью без пристанища. Понятно и он уйдет, не может же он ее бросить среди ночи на краю города. Не ночевать же ей где-нибудь на улице в холод и ненастье».

И в эту минуту было, конечно, неизвестно, кто из всех троих был наиболее смущен и взволнован.

Копчику и Пашуте мерещилось, что они сейчас же очутятся на улице и им придется двигаться пешком за какую-нибудь заставу, бежать в какую-нибудь чухонскую деревню подальше от Петербурга. Но они уже бывали в бегах. Как-нибудь, Бог милостив, дело обойдется!

Ханенко, напротив, не имея сил выгнать вон двух людей, ищущих у него убежища, с ужасом думал о совершенно невероятном, диковинном происшествии, с которым надо примириться – присутствию в его доме красавицы-девушки, скорей барышни, чем горничной. Не только одного медведя – десять медведей пустил бы капитан к себе на ночь и был бы спокойнее, нежели теперь!

В ответ на рассказ Копчика Ханенко, не поднимая глаз с пола, неожиданно для самого себя развел руками и пробурчал смущенным голосом:

– Что ж тут делать? Я уж и не знаю...

Но в эту минуту, снова подняв глаза, он востроился и даже сердце екнуло в нем. Он ожидал увидеть за плечами Копчика то же бледное лицо с красивыми черными глазами. Вместо этого, девушка оказалась уже в двух шагах от него. Он и видел, и чувствовал ее близость... И потупился снова.

– Ради Господа, не гоните нас! – тихо, умоляюще произнесла Пашута. – Вам беды никакой не будет! Нам случалось подолгу укрываться от полиции. У вас же мы пробудем день, два... Ну, хоть эту ночь одну позвольте остаться. Это благодеяние будет... Мы вас не беспокоим... Будьте милостивы! Михаил Андреевич спасибо вам скажет. Он теперь меня любит. Будьте милостивы! Мы там в кухне ляжем и рано утром чуть свет уйдем.

Капитан хотел отвечать: «Я не знаю... не могу»... А вместо того ответил:

– В кухне!.. Да, в кухне!

И затем, после паузы он снова поднял глаза на стоящую перед ним Пашуту и выговорил совершенно бессмысленным голосом:

– Кухня...

Но в тот же миг в добром хохле произошел какой-то перелом. Он будто очнулся от первого неожиданно овладевшего им чувства смущения. Он глянул спокойнее, бодрее и выговорил почти обычным своим добродушным голосом:

– Что ж тут делать! Дело понятное... Оставайтесь, живите сколько понадобится. Я полиции не боюсь. Вот меня самого заарестуют ночью или завтра. А меня посадят на гауптвахту, вы все-таки оставайтесь тут... Да не в кухне! Где же в кухне! Копчику можно, а вам нельзя. Вы вот тут в комнате устройтесь! – выговорил капитан, показывая на соседнюю горницу, служившую столовой.

– Нет, все равно. Я там... с братом, – тихо отозвалась Пашута, смущаясь.

– Как можно в кухне, на грязном полу! Вы не привыкли. Нет, нет, вы уж тут вот... В этой горнице, – сразу быстро и оживляясь заговорил капитан.

Но вдруг какая-то внезапная мысль мелькнула в его голове, он вспыхнул, почти побагровел лицом и прибавил:

– Ну, в кухне... Это я так... Вы не понимаете... Я совсем не то... Как хотите!..

И Ханенко, окончательно растерявшись, махнул рукой и двинулся в другую комнату. Пашута и Копчик тоже вышли довольные, успокоенные и снова уселись за столом в кухне. А капитан, сидя в спальне, среди темноты, мысленно рассуждал сам с собой.

«Вот так приключение! А как я испугался! Вот какая жизнь оголтелая! И за что такая жизнь? Чем я хуже других? От всех мужчин женщины бегают, опасаются их... А я, наоборот, всю жизнь от каждой женщины бегал? А почему бегал? Из ненависти?»...

– Спросите-ка, почему бегал? – выговорил вдруг капитан вслух, как бы обращаясь к своей темной горнице.

«Спросите-ка, – повторил он мысленно. – То-то вот! Есть вот эдакие обойденные судьбой. А за что? Какое они зло кому сделали? Что толст, дурен, рожа неподобная! Так что ж, я виноват, что ли? Таков уродился. Да и опять, добро бы от меня бегали, от этой богопротивной рожи Ханенковской! А то ведь я бегаю! Может, она и не испугалась бы... Сам я себя пугалом почел».

И вдруг капитан замахал рукой и выговорил вслух, шепотом:

– Полно! Полно! Пугало! Пугало! Ведь знаешь, давно знаешь, что пугало!

Ханенко вдруг быстро перешел снова в гостиную, взял щипцы, снял нагар со свечи, расправил фитиль, и когда комната осветилась ярче большим огнем, он кликнул денщика. В лице капитана видна была бодрость, решимость и довольство.

Когда солдат явился, он глянул на него весело и выговорил:

– Ну, Гришуна, давай хлопотать! Дела немного, в пять минут все перестроим. Зажигай другую свечу в столовой!

Едва только комната, где обедал и ужинал капитан, осветилась, он вошел в нее и огляделся, соображая что-то. Затем он осмотрел обе двери столовой, одну, ведущую в гостиную, другую в коридор, где был вход в кухню.

– Отлично! – выговорил он. – Сейчас все уладим. Позови-ка их... Ну его позови... Василия... его одного...

Копчик тотчас же появился из кухни с более уже веселым лицом.

– Я твою сестру на грязном полу кухни оставить не могу. И ты гляди, что сейчас будет. Сюда мы диван перенесем и вот эту дверь заколотим... Тут она и ляжет. Хочешь, ложись с ней тут же. Не хочешь – оставайся в кухне. А я ее там оставить не могу. Она, вишь, какая!.. Нешто она простая горничная девка... Она, вишь, какая! У баронессы, поди, на голландском полотне почивала да на тюфяке, а тут в кухне, на грязном полу.

– Ничего-с, помилуйте! Слава Богу, что не на улице, – отозвался Копчик.

– Нет, нет! Нечего и толковать.

И капитан вдруг бодро, оживленно, почти весело начал распоряжаться. Тотчас же из гостиной денщик и Копчик перетасили в столовую диван. Затем, несмотря на увещания и просьбы Копчика просто заставить дверь в гостиную стулом или столом, а то и ничем, капитан весело смеялся и отвечал:

– Нехорошо! Не твое дело! Знай помалкивай.

И потребовав у Григория гвоздей и молоток, капитан с особенным удовольствием, даже с каким-то азартом начал заколачивать дверь так, как если бы там, действительно, должен был ночевать самый злой из медведей.

Копчик, глядя на работу Ханенко, невольно изумлялся. Он решительно не понимал ничего. Капитан так заделывал дверь, что когда надо будет ее раскрывать, то, конечно, придется провозиться часа два.

Когда дверь была заколочена, Ханенко послал денщика за Пашутой. Девушка вошла, смущаясь добротой и вниманием к ней этого толстяка, которого она всего раз или два видела в квартире Шумского. Теперь первый раз пригляделась она к его некрасивому толстому лицу с удивительно добрыми серыми глазами, с милой ласковой улыбкой.

– Зачем вы беспокоитесь? – выговорила она смущаясь. – Как можно из-за меня эдакое... Стою ли я того?

– Нельзя-с, нельзя-с, – отозвался капитан. – Я ведь знаю... Ведь вы в приятельницах состояли у баронессы, а не в горничных. По вас видать какая вы. А-то кухня! На грязном полу! Как можно! Пожалуйста, вот ваша комната на сколько пожелаете дней. Ну, хоть бы, – вдруг выговорил капитан с каким-то отчаянным жестом, – хоть до скончания века!

Ханенко вышел в противоположные двери, через коридор вернулся к себе в спальню и, позвав денщика, тотчас же приказал ему подать что есть поужинать. Когда солдат принес посуду, прибор и два холодных блюда, капитан задумался, но затем быстрым движением отрезал два куска мяса, положил хлеба и приказал нести к Пашуте.

– Скажи, очень прошу покушать, не брезгать, а то обидит. Так и скажи: хочет, не хочет – пусть кушает, а то обидит.

Григорий счел долгом распусть свой огромный рот, изображая улыбку, но капитан нахмурился при виде его глупой рожи.

– Чего зубы скалишь, дубина? Неси!

Через несколько мгновений денщик явился вновь и, уже не улыбаясь, заявил:

– Она говорит: «скажи – очень благодарна, очень проголодалась. Скажи, что я говорю». Я говорю: скажу.

– Скажу – говорю! Говорю – скажу! – повторил капитан, весело рассмеявшись. – Ах ты, Гришуня, дура ты, дура, хоть и солдат. Ну, а Василью что же дать? Тут мало.

– А каши?

– А есть у тебя?

– Есть.

– Так и давай! И его накорми. Ну, пошел!

Через полчаса в квартире капитана было уже темно и тихо. Все улеглись спать, но из четырех лиц под этой кровлей двое спали, а двоим не спалось.

Пашута, покойно устроившись на мягком диване, принесенном ради нее из одной

горницы в другую, думала о хозяйине дома. Всякое внимание, оказанное ей посторонним человеком, трогало девушку глубоко. Не избалованная судьбой, она была особенно чутка на всякую ласку.

Она, обожавшая баронессу, обожала ее именно за ее ласку. Теперь этот толстый капитан, который из-за нее почти испортил дверь, да велел перетащить тяжелый диван, сразу тронул ее до глубины души.

«Славные у него глаза, – думалось Пашуте. – Добрый человек! Одиноким? Небось, сам всю жизнь без ласкового слова прожил, вот и к другим несчастным ласков. Видно, не одни крепостные горе мыкают, и свободным людям, дворянам, не всем сладко на свете живется... Ведь вот этот всю жизнь и теперь бобылем прожил».

И спустя несколько времени Пашута грустно улыбнулась среди темноты и подумала:

«Ишь я растрогалась! Вместо того, чтобы спать или о своих бедах думать, все о ласке капитана думаю...»

В то же самое время толстый Ханенко, лежа на своей огромной постели, глядел тоже в темноту во все глаза. О сне тоже не было и помину. Но капитан, собственно, ни о чем не думал, ни о чем не рассуждал. Ему представлялась заколоченная в столовую дверь, а в ней диван. На диване неожиданная гостья. Он видел ясно кудрявую головку с черными, как смоль, завитушками, бледное лицо с правильными чертами, выразительные черные глаза, искрившиеся, вспыхивающие. Он вспоминал последний ее взгляд, когда он выходил из столовой. Взгляд, в котором было столько кроткой благодарности, столько искренней радости и ласки...

– Да, диковинно! – шептал капитан. – А останься она тут неделю, две, что будет? Беда! Помилуй Бог! Беда будет. Пропадут я... Нет, уж лучше поскорей с рук долой. Наживешь такую беду, что на остаток дней своих свихнешься разумом. А выкупить на волю у графа? Да... А рыло себе самому тоже купить другое. Эх, спать пора!..

XLVII

На другой день утром, чуть брезжил свет с капитаном случилось нечто настолько незаурядное, что оно осталось в его памяти на всю жизнь и даже повлияло на нее роковым образом.

Ханенко проснулся и пришел в себя потому, что кто-то с силой дергал его за руку. Он открыл глаза и думал, что бредит наяву. Пред ним, лежащим в постели, стояла сама Пашута бледная, как смерть. Капитан, ошеломленный, подумал, что он сходит с ума или бредит наяву, но несколько слов девушки привели его окончательно в себя.

– Скорей! Скорей! – выговорила Пашута через силу. – Михаил Андреевич в себя стрелял! Еще вчера! Ступайте скорей!

– Каким образом? Что такое?! – воскликнул Ханенко, садясь на постели, но тотчас же, несмотря на перепуг, он конфузливо прикрылся одеялом.

– Скорей ступайте! Ничего не знаю...

– Сейчас! Сейчас! Господи помилуй! Диковинно! Уйдите вы-то... Уйдите! А то как же при вас...

Пашута, взяв себя за голову обеими руками, быстро вышла из горницы.

Капитан стал звать денщика, но та же Пашута из-за двери крикнула ему:

– Никого нет! Я одна в доме... Что вам нужно?

– Ничего! Ничего! – отозвался капитан. И он начал быстро одеваться.

– Диковинно! Совсем диковинно! – повторял он изредка вслух. – А эта-то?.. Здесь-то? Меня-то будила?.. Два происшествия! Вестимо два!

Через несколько минут капитан был уже одет и вышел.

– Каким образом? Что случилось? – спросил он Пашуту. – От кого вы узнали?

– Сейчас прибежал лакей оттуда вас известить. Я отворила ему и бросилась вас будить. Едемте скорей! Возьмите меня с собой!

– Как же вам-то, посудите. Вас там накроет полиция.

– До того ли теперь, помилуйте! Ведь он, может, кончается... Лакей сказал – очень плох. Будет ли жив – неведомо...

– Да когда он стрелялся?

– Еще вчера вечером.

– В какое место?

– Ничего не знаю! – с отчаянием воскликнула Пашута. – Едемте скорей!

Капитан быстро собрался и накинул шинель. Пашута тоже оделась, но при выходе из квартиры Ханенко вдруг воскликнул:

– Где же мой-то леший? Как же квартиру-то бросить? Вы бы остались... Я тотчас вернусь. Все вам расскажу. А ведь там вас накрыть могут!

– Ни за что! – решительно отозвалась Пашута. – Едемте!

Ханенко уже хотел бросить квартиру с распертой дверью, но в эту минуту появился с заднего хода его денщик.

– Куда провалился, дьявол?! – крикнул капитан. – Запирай и не отлучайся, покуда не вернусь.

И через несколько минут капитан с Пашутой уже сидели на извозчике и шибко двигались по направлению к Неве. Ханенко снова расспросил Пашуту, но она повторила то же самое. Подробностей она никаких не знала, так как лакей прибежал на одну секунду только оповестить капитана.

Разумеется, всю дорогу проговорили они оживленно и не умолкая о Шумском. И только спустя много времени, уже почти подъезжая к Морской, капитан вспомнил или заметил, что первый раз в жизни имел такую долгую, простую и бесцеремонную беседу с полужнакомой красивой девушкой.

Когда они подъехали к квартире, где жил Шумский, то уже, были как будто давнишние хорошие знакомые и даже более. Что-то общее было между ними. Что-то возникло...

Капитан не стал звонить, а пройдя двор, вошел в квартиру задним ходом.

Первая личность, которая попалась ему навстречу, был Шваньский.

– Что такое? Ради Создателя! – спросил Ханенко.

Шваньский, весь окончательно съёжившийся, что бывало с ним в минуты смущения, развел руками, хотел заговорить, но голос его задрожал, губы задержались, глаза заморгали.

– Ничего... не понятно... – проговорил он, запинаясь. – Вчера еще... без меня... Марфуша была... Ходил, сидел один... и хватил...

– Куда?

– В грудь. Прямо... А то куда же...

– В грудь? Плохо дело... – пробурчал капитан.

– Пожалуйста! Там в гостиной Петр Сергеевич и доктор. Я сейчас еду за другим.

Ханенко прошел в гостиную и нашел там Квашнина и доктора, к которому изредка обращался Шумский, когда случалось ему хворать.

Расспросив тотчас встревоженного и бледного Квашнина, он узнал только то, что Шумский накануне по возвращении от Аракчеева выстрелил себе в грудь, а что об исходе раны сказать покуда ничего нельзя.

Доктор однако от себя прибавил, что надежду терять не надо, так как никаких ужасающих признаков нет. Пуля прошла недалеко от сердца, но очевидно ничего «существенного» не повредила. По его мнению Шумский долженствовал быть убитым наповал. Если он остался жив всю ночь, то должен и оставаться в живых. Вот разве пуля пойдет «путешествовать» и тронет сердце... Тогда будет не хорошо...

– Что именно? – спросил капитан.

– Смерть... помилуйте...

Ханенко вызвал Квашнина в столовую и вымолвил взволнованным голосом:

– Что же все это? Какая причина?

– Непонятно, капитан. Совсем непонятно! Ведь вы помните, боялся быть убитым,

помните все его разговоры. А тут вдруг, оставшись цел и невредим, хватил сам себя.

– Сумасшествие! – отозвался капитан.

– Да, именно сумасшествие.

– Вы его видели?

– Входил. Видел на минуту. Слаб.

– Но в памяти?

– В памяти. А временами будто бредит...

– Что же он вам сказал?

– Да что? Знаете его? Смеется. Увидал меня и усмехнулся. Говорит: сплоховал я, Петя! Знаем мы, где сердце помещается, да не с точностью. Слыхали только, что в левой стороне... Влево и палил я, да промахнулся. А теперь, видно, жить надо, да со стыда от людей укрываться.

– Со стыда! – выпучил глаза капитан.

– Да. Стрелять в себя, говорит, можно, а живым после этого оставаться смешно. Да он и не остался бы в живых – Марфуша его спасла.

– Каким образом?

– Она вбежала, он лежал на полу да тянулся за пистолетом. Достал его и хотел опять палить. В голову. Она с ним сцепилась... Из всех сил, говорит, билась с ним и таки отняла.

– Да из-за чего? Из-за чего? – вымолвил капитан с отчаянным жестом.

– Неизвестно.

– Я думаю, не было ли чего-нибудь у него с графом.

– Может быть, – задумчиво ответил Квашнин. – Граф ему пригрозился, может, за карету чем-нибудь особенным, Сибирью, что ли, солдатством. Мало ли чем.

Ханенко не согласился, однако, с этим мнением.

В то же время в спальне Шумского долго длившаяся тишина была прервана появлением Пашуты. Девушка долго ждала за дверями, прислушивалась и, горя от нетерпения видеть Шумского, узнать что-нибудь, наконец тихонько растворила дверь.

Марфуша, сидевшая на стуле около постели, поднялась и на цыпочках вышла в коридор. Пашута схватила ее за руки и ничего не спросила, но Марфуша, будто поняв молчаливый вопрос, ответила шепотом:

– Ничего неведомо еще... Сказывает доктор, покуда еще ничего... Может, еще и будет...

Но Марфуша не договорила, и слезы полились из глаз ее.

– Будет, будет жив! – вымолвила Пашута. – Я верю.

– И я верю! – проговорила, едва шевельнув губами, Марфуша. – Теперь забылся. Придет в себя, я ему скажу, что вы здесь. Захочет видеть. Все ее по имени называл сейчас...

– Баронессу? – спросила Пашута.

– Да! – отозвалась Марфуша странным голосом и, поникнув головой, опустила глаза. – Очнется, я скажу... Он ведь разговаривает.

И девушка, снова отворив дверь, вернулась тихонько на свое место и села около постели, внимательно приглядываясь к бледному лицу лежащего, которое казалось лишь немногим темнее подушки.

XLVIII

Прошло около получаса. Шумский открыл глаза и пригляделся к Марфуше. – Все сидишь?... – произнес он чуть слышно. – Что прикажете?

– Теперь поздно... Приказал бы не мешать. Теперь нельзя... Помешала, – с расстановкой произнес Шумский. – Глупая ты, глупая. Зачем ты сунулась... Был бы теперь всему конец. Опять духу не хватит...

Марфуша не отвечала ни слова.

Наступила пауза.

Шумский шевельнулся и простонал.

– А ведь больно! – выговорил он.

– Вы не двигайтесь! Полежите спокойно. Иван Андреевич сейчас придет с другим доктором.

– Чем их больше, то хуже! А что говорят они? Не лги! Скажи по совести.

– Говорю же я вам который раз по чести, по совести. Говорят: ничего, беды нет. Миновала пуля... все такое... Необходимое... И ее вынуть можно...

– Я это сам чую. Необходимого, – усмехнулся он, – ничего не повреждено. Только больно... Не то судьба, не то я дурак! В башку вернее бы было.

– Бог с вами!

– Да. Не хотел башку портить. Дурак и вышел... Да и ты вот помешала! След бы околеть. На кой прах я тут нужен?

– Баронессе нужны... – глухим голосом проговорила Марфуша, потупляясь.

– Эвось! Через месяц утешилась бы.

– Ну, другому кому нужны...

– Больше никому.

– Неправда это! Не одна она на свете. Есть и другие. Такие, что за вас помереть сейчас готовы.

– Ты, Марфуша? Знаю... Тебе я верю. Ты вот, действительно, одна на свете ко мне... Но Шумский, не договорив, двинулся и, сделав гримасу, охнул.

– Да не двигайтесь, ради Создателя! – воскликнула Марфуша, вставая к нему.

Шумский тотчас закрыл глаза и, заметно ослабев от разговора, снова впал в полусознательное состояние. Прошло около получаса полной тишины в спальне. Марфуша сидела недвижно и не спуская глаз с лица лежащего. Изредка слезы набегали на глаза ее, и она украдкой быстро утирала их.

Наконец, дверь осторожно растворилась и появился, едва переступая, на цыпочках Шваньский. Он приблизился к девушке, нагнулся над ней и шепнул ей на ухо:

– Привел... Хирург он прозывается... Вырезать пулю будут... Как он? Приходил в себя?

– Ничего. Говорил даже много... – шепнула Марфуша.

– Ты бы шла, Марфуша, отдохнула... Спать бы легла.

Девушка мотнула головой.

– Ведь ты всю ночь тут сидела. Заснуть надо. Устала ведь. Поди ляг да выпишись...

Марфуша улыбнулась едва заметной, горькой улыбкой и не ответила.

– Право бы, шла. Теперь не нужно, – шептал Шваньский жалостливо. – Да чаю бы напилась или поела чего. Сколько часов уже ты сидишь не пимши, не емши. Поди хоть чаю напейся! Самовар готов.

Марфуша подняла глаза на Шваньского, присмотрелась к нему и вдруг снова улыбнулась той же улыбкой. Что-то особенное сказалось в этой улыбке и в выражении лица ее. Шваньскому почудилось Бог весть что! Нечто, кольнувшее его в сердце. Ему почудились и упрек, и презрение, и озлобление. Никогда еще невеста его не смотрела на него такими глазами.

– Что же? Никто не виноват! Сам захотел! – шепнул он. – Пить, есть все-таки надо. Кто живет, кто умирает... И мы помрем.

– Ах, полноте! – вымолвила Марфуша, закрыла глаза рукой и отвернулась.

Шваньский постоял, переминаясь с ноги на ногу, потом снова нагнулся к девушке и шепнул:

– Как очнется, скажи... Они говорят, что надо скорее пулю искать и вырезывать... Чем дольше с ней, то хуже...

Марфуша встрепенулась, почти вздрогнула и пытливо присмотрелась к лицу Шваньского. Он кивнул головой, как бы подтверждая сказанное.

– А если еще хуже... вырезать? – шепнула она.

– Не нашего разума дело. Сказывает и этот и тот доктор, что я привез, что надо скорее. Марфуша встала со стула, выпрямилась, будто решаясь на что-то особенное, и затем, постояв мгновение, перекрестилась...

Шваньский удивленно глядел на девушку. Марфуша протянула руку и положила ее тихонько на плечо лежащего.

Шумский открыл глаза наполовину, но взор его был не ясен, как бы в полусне.

– Михаил Андреевич, доктор хочет с вами поговорить, – произнесла Марфуша.

– Двое-с... Двое тут, – добавил Шваньский. – Сказывают, надо пулю поискать...

– Ну, что же... Зови... Пускай ищут, – тихо заговорил Шумский. – Прикажи чертям: шерш, пил и апорт...¹⁴

Шваньский кисло улыбнулся, вышел позвать докторов.

– Как же это они... искать будут, Марфуша?

– Не знаю-с, – с оттенком тревоги отозвалась девушка и, отвернувшись, отошла, чтобы скрыть выступившие на глаза слезы.

– Ну, что же... С одним доктором помереть можно... а с двумя – должно, – пошутил Шумский и ухмыльнулся, но принужденно и грустно.

После нескольких мгновений молчанья, видя, что Марфуша все что-то переставливает на столе без нужды, стоя к нему спиной, он позвал ее. Девушка быстрым движением отерла лицо от слез и подошла к постели. Он заметил все и вымолвил:

– Марфуша... Знаешь что...

– Что прикажете?..

– У тебя рука легкая... Или сказать – губы легкие... Ты меня перед кукушкой поцеловала... Ну, вот и теперь на счастье надо...

Марфуша поняла, вспыхнула от восторженного чувства, захватившего вдруг сердце, но не двигалась, сама не зная почему.

– Что же? Поцелуй на счастье...

Марфуша нагнулась, чувствуя себя в каком-то тумане, взяла Шумского бережно за голову обеими руками и прильнула губами к его губам. Но тотчас же, не поборов себя, не выдержав, она зарыдала и бросилась вон из спальни. Шумский вздохнул, но взгляд его оживился... Он что-то почувствовал сейчас в себе от поцелуя девушки, что-то ясное, сильное, новое... Что-то еще неизведанное. Быть может то, что горело огнем в душе Марфуши, заронило искру и в него... Он попросил поцелуй ради шутки, а теперь ему казалось, что и в самом деле все обойдется благополучно, что этот поцелуй, действительно, принесет ему счастье... Он это не только думал, но даже будто чувствовал...

– Ну, Иван Андреевич, – прошептал Шумский, улыбаясь почти весело, – ты моли Бога, чтобы я помер. А то тебе, что свои уши, что Марфуши – равно не видать...

Дверь из коридора растворилась, и в спальне появились оба доктора, а за ними Квашнин, капитан и Шваньский. Когда все вошедшие затворили за собой дверь, Марфуша, шедшая за ними, стала близ нее в коридоре и начала прислушиваться... В ту же минуту в передней раздался осторожный звонок... Спустя немного снова звонок повторился... Наконец, в третий раз прозвенел колокольчик. Марфуша вспомнила, что всех людей разослали в разные стороны и быстро двинулась отворить дверь подъезда. Перед ней оказался господин старый и важный на вид...

– Что г. Шумский? Как его положение? – спросил прибывший с акцентом, который удивил девушку. Барин был, очевидно, не русский.

Марфуша объяснила все толково и подробно, потому что заметила в старике-барине ясно сказывающееся участие и даже тревогу.

Выслушав все, старик выговорил еще более взволнованно:

– Когда будет г. Шумский здоров, скажите ему, что были узнать об его здоровье барон

¹⁴ искать, растирать и принести (фр.).

Нейдшильд и его дочь... Баронесса тут в карете... Поняли вы?..

– Поняла, – протяжно и упавшим голосом произнесла Марфуша и понурилась. Барон вышел и сел в свою карету, в которой никого не было.

XLIX

В Гру зине в продолжение целых трех дней после бегства Пашуты с братом длилась настоящая буря. Настасья Федоровна была вне себя от злобы и, как разъяренный зверь, доходила до такого бешенства, что рвала на себе волосы и била себя кулаками по голове. Если бы в эту минуту попались ей в руки эти две жертвы, то, конечно, они не остались бы в живых от истязаний.

Заподозрив и наказав зря около дюжины женщин, Настасья Федоровна не выдержала и в первый раз с тех пор, что была сожительницей Аракчеева, распространила свой гнев на мужской персонал усадьбы. Несмотря на строгое запрещение графа наказывать кого-либо из дворовых помимо женщин, Настасья Федоровна присудила «к рассолу» двоих людей, которых подозревала, как пособников, помогавших беглецам.

Погоня, разумеется, была послана повсюду. Тотчас же был отправлен гонец к графу в Петербург, и столичная полиция была им уведомлена. Настасья Федоровна не сомневалась в том, что и девушка, и поваренок будут вскоре разысканы и доставлены, но озлобленное нетерпение, зверская жажда мести требовали, чтобы жертвы тотчас же, без малейшего промедления очутились в ее власти. Месть через несколько суток не была бы так сладка, как теперь, а удовлетворение этого чувства было в Минкиной такой же страстью, как и к вину.

На третий день она, однако, успокоилась несколько и в сумерки была даже в особо хорошем расположении духа. Многих гру зинцев обстоятельство это удивило. Пошли толки, догадки. Так как все ожидали, что «Аракчеевская графиня» будет свирепствовать вплоть до появления беглецов, то неожиданная перемена в ней заставила всех обитателей Гру зина недоумевать и стараться разгадать загадку.

И при этом всеобщем настроении не мудрено было отгадать нечто или придумать. И все дворовые, находившиеся в ближайших отношениях к графской сожительнице, сразу, будто по мановению жезла волшебника додумались до невероятного умозаключения, которое их самих испугало.

Все ли они были задним умом крепки или все и прежде думали нечто, но мысленно отрицали догадку, или случилось что-нибудь новое, мелкое, едва заметное, но подтвердившее давнишнее подозрение. Однако, все кому пришло это нечто на ум, не только молчали, но боялись даже и думать о новости.

А это нечто новое, смутно мелькавшее в голове гру зинцев, были подозрительные отношения, возникшие между Настасьей Федоровной и тем молодым аптекарским помощником, которого когда-то граф взял в дом.

Молодой малый, тихий, скромный донельзя, кроткий, но несколько хитрый и осторожный, уже давно сумел себя поставить известным образом в усадьбе. Красивый и молодой, по наружности совсем барин-дворянин, с белыми, чистыми руками, с изящными движениями он совсем не подходил к должности помощника дворецкого, в которую вдруг попал.

И скоро этот новый обыватель Гру зина, по имени Петр Иванович Силин, стал любим и уважаем всеми. Вскоре заметили, что он становится особым любимцем графа, умеет ладить с ним. Петру Ивановичу случалось иногда по часу оставаться в кабинете графа и беседовать с ним. О чем шла беседа никто, конечно, не знал, но все замечали, что после каждого раза Аракчеев все мягче и ласковее относился к молодому человеку.

Через несколько времени Петр Иванович стал появляться на половине у Настасьи Федоровны, оставаться у нее, беседуя с ней. Наконец, она стала звать его к себе чаще то «на чашку чаю», то «на словечко». Но чашка чая длилась часа по три, словечко длилось по часу.

Грузинцы поняли, что Настасья ухаживает за любимцем графа, желая расположить его

в свою пользу, боясь известного рода соперничества. Подобное отношение ее к людям, которые нравились графу, было не новостью. Всех, кого ласкал Аракчеев, дарила и она своим вниманием и заискивала перед ними, как бы опасаясь их влияния.

Однако, вскоре *гру* зинцам стало казаться, что Настасья Федоровна относится к Силину чересчур милостиво. Сиденье его у нее в гостях становилось все продолжительнее. Иногда он выходил от нее уже очень поздно вечером, и каждый раз после этого Настасья Федоровна бывала в таком добродушном расположении духа, что *гру* зинцы дивились.

– Волк овечью шкуру вздел! – говорили они.

И вдруг теперь, на третий день после бури по поводу бегства Пашуты и Васьки, *гру* зинцы неведомо почему вдруг нечто сообразили и поняли. Случилось ли это от какой-либо неосторожности самой Настасьи или Силина, или от чего-либо, бросившегося кому-либо в глаза, но в этот день все обитатели, переглядываясь, ни слова друг дружке не говорили о новости, но все понимали, что у каждого из них в мыслях одно и то же соображение.

Разумеется, каждому из обитателей тотчас пришел на ум вопрос:

«Что же будет, если это нечто раскроется и дойдет до графа?»

Но как дойдет? Сам граф никогда до этого не додумается, а из *гру* зинцев, конечно, никто не пойдет рисковать своей головой.

Когда на четвертый или пятый день по исчезновении беглецов в *Гру* зине появился снова из Петербурга сам властелин, то нашел в усадьбе тишину, мир и согласие. Что произошло в первые три дня, он не знал. Никто не решился идти сказать ему, какая была сумятица, какая буря, а тем менее никто не доложил о том, что Настасья Федоровна простерла свои права в наказаниях на мужской персонал.

Граф, узнав от гонца, что двое людей, бывших слуг Шумского, бежали из *Гру* зина и, по всей вероятности, в Петербург, строжайше приказал разыскать их через полицию. Но вместе с тем Аракчеев наивно удивлялся теперь, как спокойно отнеслась к этому дерзкому бегству сама Настасья Федоровна.

По приезде в *Гру* зино граф тотчас объяснил Минкиной, что после занятий делами, он ввечеру будет к ней в гости побеседовать о «важнейшей материи».

Настасья Федоровна сделала вид, что обрадовалась предстоящей беседе и тотчас же объяснила, как она стосковалась по графу.

– Одно мое спасение в ваше отсутствие – это Петр Иванович, – доложила она. – С ним все сию, а без него просто беда была бы. Он меня развлекает всякими рассказами.

Таким образом, Минкина сама первая, по своему обыкновению доложила графу о том, что могло дойти до его сведения через людей.

И Аракчеев, встретив в коридоре молодого человека, ласково треснул его по плечу.

– Спасибо! Настасью Федоровну развлекаешь, скучать не даешь! – выговорил он.

Петр Иванович улыбнулся кротко и покорно, он хотел было глянуть в лицо графу, чтобы видеть его выражение, но духу, однако, у него не хватило.

Ввечеру граф, явившись к своей сожительнице, уселся к столу, где был накрыт чай, но затворил тщательно дверь за собой. Затем, посидев молча несколько минут, он вместо того, чтобы начать говорить, приказал Настасье Федоровне выслать всех из соседней горницы и не приказывать входить впредь до разрешения.

– Эдак-то лучше будет! – прибавил он.

Минкина несколько смутилась от неожиданности, поняв, что беседа будет не простая, а какое-то очень важное объяснение. Что именно – она не могла себе представить. Выслав двух женщин, сидевших в соседней горнице, она быстро вернулась с встревоженным взглядом и выговорила глухо:

– Что ж такое? Случилось что новое, не хорошее? Государь разгневался?

– Государю на меня гневаться не за что, Настенька, – отозвался граф, ухмыляясь самодовольно.

Так как это уменьшительное имя женщины появлялось на языке Аракчеева крайне редко, а обыкновенно он называл ее именем и отчеством, то женщина сразу успокоилась.

Нечто новое и важное, если и будет, то касается не до нее.

L

Новость, привезенная графом в Грузино, касалась Шумского. Граф сначала кратко рассказал своей сожительнице о шутовской карете, из-за которой было столько шума в городе, что толки дошли даже до государя. Когда у графа был доклад об окраске казенных зданий в три колера, то государь приказал только повременить, а куда окрасить лишь заборы и столбы казенных зданий.

Затем Аракчеев стал подробно рассказывать о поединке Шумского с фон Энзе.

Настасья Федоровна пытливо слушала рассказ, не перебивая, так как граф этого не любил, и с замиранием сердца ждала конца, ждала доброй вести. Авось Шумский, если не убит, то по крайней мере ранен! Но когда граф передал все и кончил, то женщина вздохнула и подумала про себя:

«Леший! И пуля-то его не берет! Видно, в наказание Божеское послан».

Но затем граф после паузы выговорил:

– Ну, а теперь, Настенька, лежит наш Михаил в постели с простреленной грудью.

– Каким образом?.. – встрепелась, всплеснула руками и вскочила с места Минкина.

– Сам себя хватил!..

Настасья Федоровна оторопела и уже хотела сказать: «Быть не может!», но сдержалась.

Граф таких восклицаний на его слова не любил. Когда и не верилось кому, то все делали вид, что верят.

– Сам в себя стрелял? – произнесла она, изумляясь.

– Да. Сам в себя.

– Без всякой причины? Со зла или с чего особого?

– Верно отгадала, Настенька. Причина была – злоба!.. Причиной – граф Алексей Андреевич.

И он показал пальцем себе на грудь.

– Вы изволили ему приказать? – не сообразила женщина.

– Что ты, голубушка! Если б я и приказал, так разве он такое приказание исполнит. А я ему, не воздержавшись, кой за что сразу заплатил... И немногим заплатил... мелочью!.. Мелкой монетой на водку дал... Да, видишь ли, гордость и самомнение в нем, как два зверя сидят. Он и этой мелочи не снес, приехал домой и хватил в себя.

– Простите... Побили вы его, что ли?..

– И того меньше, Настенька!

– За вихор оттащали?..

– И того меньше.

– Ну, за ухо?..

– И того меньше! – уже рассмеялся Аракчеев.

Настасья Федоровна сочла нужным улыбнуться тоже, но развела руками.

– Я его обругал за все его злодеяния на себя и на тебя, пообещался стереть с лица земли. И сотру! – вдруг глухо прибавил Аракчеев. – Но не это заставило его покуситься на самоубийство, а гордость его. Обидно ему показалось то, что я сделал...

– А что собственно? Вы ведь не изволили сказать.

– Я ему плюнул в лицо...

– Так от этого? Полноте. Что вы! От этого? Да полноте. Это он врет... Кто же из-за этого будет себя убивать! Врет он...

– Врать он не мог, Настасья Федоровна, – выговорил Аракчеев другим голосом. – Я его не видал и видеть не желаю. И никому он ни словом не обмолвился. Но я-то знаю, что этому гордецу и моего плевка было немогуту перенести. В нем столько самовозвеличения, что будь оно правильно им понимаемо и чувствуемо, то на многие бы его большие дела, годные для государства, подвинуло. Не сумели мы его воспитать, или же таков он уродился. Или

уж прямо рассудить, просто – из холопской крови ничего не поделаешь! Был он хам родом, хамом и остался.

Настасья Федоровна, смотревшая все время в лицо графу, опустила глаза при последних словах.

– Обещались вы простить и не поминать про это, – вымолвила она чуть слышно.

– Простить я простил, сама знаешь, Настенька, и не поминать обещался укором или упреком. Я теперь поминаю ради пояснения. Впрочем, мы это одни да Авдотья еще только и знаем... Я ему в Петербурге сызнова подтвердил, что он лжет и привередничает, что он наш сын. Да и поединок его в Петербурге так поняли, что он заступился за вашу честь и убил офицера, который его прославил подкидышем. Мы с вами, стало, одни знаем, что он мужицкой крови приемыш. Да не в упрек будь вам сказано, в лихой час разыграли вы все это представление. Не будь у нас этого мерзавца Мишки на плечах, жилось бы нам много спокойнее и счастливее. Ну, да вот скоро... подкидыша этого я...

– Ну, вот вы и попрекнули, – перебила тихо Настасья Федоровна.

– Ну, прости, последний раз! Да и не придется... Я с ним решил покончить. Вот это нас и успокоит.

Настасья Федоровна хотела задать вопрос, но не решилась и только поглядела Аракчееву в лицо. Он догадался, что она спрашивает.

– Каким образом покончу я с ним, желаете знать? А очень просто! Доложу государю, и государь снимет с него звание флигель-адъютанта. А там из офицерского звания переведу его в совсем иное. Вместо мундира наденет он у меня рясу и поступит в послушание в какой-нибудь дальний монастырь.

Настасья Федоровна вытаращила глаза и молчала.

– Удивительно кажет?

– Да-с...

– Почему же?

– Этим мы от него не избавимся. Он и в монастыре будет соблазн всякий заводить.

– Переведут в другой, третий... Есть и дальние монастыри, есть и такие, где только белые медведи водятся.

– Вот это иное дело! – воскликнула Настасья Федоровна, и лицо ее прояснилось.

– Стало быть, вскоре мы можем с вами успокоиться. Не подойдет он от своей теперешней раны, а доктора уверяют, что он скоро справится, то мы его преобразим в монахи. Почем знать, может быть, молитвенное состояние приведет его на путь истинный. Может быть, когда-нибудь игуменом будет.

Настасья Федоровна покачала головой.

– Не думаю! – вымолвила она. – Пуще обозлится! И такое творить начнет, что всякую обитель святую разнесет.

– И я тоже думаю. Ну, тогда и препроводят его в такую обитель, где по полугоду, бывает, солнце не встает, ночь, да белые медведи кругом ходят и в кельи заглядывают.

– О, Господи! – вздохнула притворно Минкина. – Да неужто же такие обители есть?

– Есть. Ну, вот все. Можешь радоваться, я решился. Долго меня это смущало, но, наконец, решение мое вышло, и теперь я его не перемену. Он и не знает и не знал, беспутный и неблагодарный, какую важность возымеет его шутовская карета. Ведь на ней, Настенька, было написано красными буквами, аршинными... Знаешь ли что? Дурак!.. Да!.

Наступила пауза.

– Кто дурак-то? Первый любимец монарха, военный министр! – прокричал вдруг граф почти громовым голосом, но сразу смолк и огляделся дикими, бешеными глазами в горнице.

Затем он вскочил с места и прошелся несколько раз по горнице.

– Ну, черт с ним! – выговорил он спокойнее. – Он карету соорудил, а я монашку сооружу. Карету-то сожгли. Через месяц о ней и помину не будет, а монашка-то в ряске еще лет сорок или пятьдесят погуляет. Он пошутил час времени, а моя шутка будет много продолжительнее. После флигель-адъютантства пускай кадило подает, свечи ставит, на

клиросе поет да прислуживает. А то и в сенях около келий да на лестнице потолчется, прислуживая какому ни на есть архимандриту. Коли пуля не сожрала его, так гордость сожрет насквозь. Гордость униженная ест человека, как ржавчина железо ест. И нас на свете не будет, а он будет у меня мучиться и раскаиваться! Хотел было я его в солдаты упечь. Да нет, за что же? А вот в монашки... Пускай, подлая тварь, Богу молится! Это ему будет самое тяжкое, губительное терзание. Это все равно, что черта заставить Богу молиться. Пущего наказания и не выдумать. Это я только с моим умом мог надумать.

– Да-с. Уж это точно... – подобострастно произнесла Минкина. – Я сразу-то не поняла. А вот теперь смекаю. В особенности если вот в такую святую обитель упечь, где, как вы изволите сказывать, белые медведи водятся.

– В такую и попадет, мерзавец.

И граф довольный, с улыбающимся лицом вышел от своей сожительницы и направился к себе.

В дверях коридора женщина, поджидавшая его, повалилась ему в ноги. Он остановился и вымолвил сухо:

– А?.. Мамка! Прослышала. В Петербург просишься...

– Отпустите... Видеться... Помереть может, – произнесла Авдотья Лукьяновна, всхлипывая.

– Пустое... Не помрет, небось... Ты уж съездила раз, насочинительствовала довольно. Теперь и посиди дома. Видишь, мать родная не тревожится, не собирается, так что ж няньке-то скакать... – ухмыльнулся граф и прошел мимо.

II

Операция извлечения пули сошла совершенно благополучно, так как оказалась очень легкой. Доктора нашли ее над лопаткой, чуть не под кожей, и понадобился очень неглубокий разрез, чтобы извлечь ее. Но по странной случайности, вследствие ли раны или по иным и нравственным причинам, но в тот же день Шумскому стало много хуже.

Явилась горячка с минутами сознания и целыми часами вполне бессознательного состояния. Крайняя слабость и болезненное возбуждение чередовались очень быстро. Ночью, а иногда и днем, являлся бред, но не тихий, а бурный.

Шумский рассуждал озлобленно, грозился или страстно умолял, но с кем и о чем, понять было невозможно даже Марфуше, которая не отходила от постели больного ни на мгновение, ни на шаг. Девушка знала почти все, касающееся до этого дорогого ей человека и его личной жизни, и все-таки путалась в соображениях.

Шумский поминал в бреду и Аракчеева, и Настасью Федоровну, и свою мать, часто поминал и Марфушу, и она иногда откликалась даже, думая, что он зовет ее.

Несмотря на свои опасения за больного, грусть и отчаяние и, наконец, на крайнюю усталость, Марфуша все-таки за это время нашла нечто, что было для нее огромным утешением, огромной радостью.

За все время в бреду и в минуты тихого и полного сознания Шумский ни разу не упомянул одного имени, которое всегда заставляло больно сжиматься сердце девушки.

Марфуша, уже свыкшаяся с мыслью, что она безумно любит Шумского, не могла равнодушно относиться к этой личности.

Волей-неволей девушка, конечно, ревновала его к баронессе, хотя это казалось ей подчас нелепым и дерзким до чудовищности. Она наивно удивлялась своей крайней дерзости! Сметь ревновать его!.. И к кому же?.. К барышне-баронессе, замечательной красавице!

Но, разумеется, несмотря на разные ее рассуждения, глубокое чувство брало верх. И теперь Марфуша была счастлива, была награждена за свой уход за больным именно этой необъяснимой случайностью. Она с восторгом соображала и обдумывала эту странность, что в бреду Шумский ни единого разу не произнес: Ева или баронесса.

Марфуша силилась, но никак не могла уразуметь, что могло значить это обстоятельство. Почему больной называет изредка по имени даже Биллинга, даже Копчика, и ни разу с языка его не сорвалось имя его возлюбленной.

Острое болезненное состояние продолжалось долго, около недели. Два доктора ездили постоянно и вскоре стало очевидно для всех, от Марфуши до последнего человека в доме, что врачи сами не понимают и не знают, что творится с больным и что предпринять.

Марфуша решила взять на себя ответственность и на шестой день стала посылать Шваньского за простым знахарем, жившим около лавры, про которого рассказывали всякие диковины. Шваньский колебался взять это на себя и посоветовался с капитаном, который навещал теперь больного всякий день, равно как и Квашнин.

Капитан тоже не пошел на такой решительный шаг, ввиду серьезного состояния раненого.

– А ну как он что даст, да хуже будет? У нас на совести останется, что мы уморили Михаила Андреевича, – сказал он.

Подумав, однако, Ханенко заявил Шваньскому, что он посоветуется с одним «человеком» и вечером привезет решительный ответ, посылать или нет за знахарем.

– А кто это такой? – спросил Иван Андреевич.

– А это такой человек, которого я считаю самым умным из всех, кого знаю. Умен он и головою, умен и сердцем, умен и всеми чувствами своими. Коли скажет он посылать, то приеду и тоже скажу – посылать.

В тот же день вечером Ханенко явился снова и бодро объявил Шваньскому, что по мнению лица, к которому он обращался, надо за знахарем послать. И Иван Андреевич, несмотря на позднее время, тотчас же отправился.

Имя личности, к которой капитан обращался, осталось его тайной. А личность эта была никто иная, как Пашута, продолжавшая жить и скрываться от полиции в квартире Ханенко.

Знахарь, явившийся поздно вечером, попал как раз в минуту бурного бреда. Он внимательно переглядел все, что стояло в баночках и пузырьках, обильно выписываемое из аптек по рецептам докторов. При этом он не выразил ни одобрения, ни порицания. На вопрос Шваньского, что он думает о лекарствах, он ответил:

– Дело известное! Завсегда так у них, дохтуров, лекарств сотни, у меня вот только два. Им выбирать мудрено, они и путаются, не знают, что дать; а мне выбирать не мудрено – либо одно, либо другое.

Однако, знахарь объявил, что останется до утра в квартире и только при денном свете, снова осмотрев больного, решится лечить.

Внешность народного целителя-самоучки произвела на Марфушу такое хорошее впечатление, что она тотчас же сообщила Шваньскому свое мнение.

– Поглядите, завтра же будет Михаилу Андреевичу лучше. Удивителен мне кажется этот знахарь. Вера у меня в него есть...

Разум ли подсказал Марфуше или любящее сердце, чего следовало от знахаря ожидать, но ее предчувствие не было обмануто.

Наутро, когда знахарь осматривал больного, Шумский пришел в себя, сознательно огляделся и, увидя новую личность, спросил, что за фигура стоит перед ним. Ему сказали, что это фельдшер. Он улыбнулся...

– С бородой-то? – вымолвил он недоверчиво. – Знаю я отлично кто ты такой! – прибавил он слабым голосом.

– А кто же по-вашему? – спросил знахарь.

– Вестимо, кто... Рано только пришел... Приходи денька через два, три, да дорого с них вот... не бери...

Слова эти привели в недоумение стоявших за спиной знахаря Марфушу и Шваньского.

– Да вы что же полагаете? – спросила Марфуша тревожным голосом и выступая вперед.

– Гробовщик!.. – вымолвил Шумский, снова улыбаясь.

– Господь с вами! Что вы! – воскликнула Марфуша. – Да разве это можно? Вы живы, да и здоровы. Через неделю вы совсем на ногах будете. Это я вам говорю! Я! Во сне видела я – и верю...

– Вот это самое верное – во сне, – забормотал Шумский тихо. – Все вздор на свете! Пустое! Самое верное на свете – сны людские. Что сон, то, вишь, вздор, а то, что, вишь, важнейшее, то все сны и есть. Вот и я, Шумский, – сон.

И слова больного, которые не были бредом, хотя сочтены были таковым, тотчас же перешли в настоящий бред.

Знахарь тотчас же сходил в аптеку, купил чего-то и принялся стряпать, но никого не допускал к себе, запершись в том же чулане, где когда-то сидела под арестом Пашута.

Около полудня Шумский выпил целый стакан снадобья, приготовленного знахарем. И за этот день бреда не было. Он пролежал спокойно. Вечером ему снова дали того же питья, и ночью сидевшая около постели Марфуша задремала тоже, так как в спальне царила полная тишина. Больной лежал уже не в забытьи и не в бреду, а спокойно спал и ровно дышал.

На третий день после нескольких приемов того же питья Шумский хотя был в постели, слабый, но со спокойным взглядом и с ясной мыслью в голове. Он снова вспоминал и расспрашивал все происшедшее у Марфуши в подробностях. Он, помнивший, что покушался на самоубийство, помнивший даже подробности второго дня после своего поступка, теперь окончательно забыл многое.

С этого дня выздоровление пошло быстро. Сильный организм, поборов болезнь, освобождался от нее чрезвычайно быстро. Не прошло недели после появления в доме знахаря, как Шумский уже сидел в постели по часу и долее, уже снова курил, требуя трубку за трубкой. При этом он снова шутил, но только исключительно с одной Марфушей, и оставаясь с ней наедине.

Девушка заметила одну новую странную особенность, которая, однако, отрадой коснулась ее сердца. Каждый раз, что в спальне появлялся кто-либо, Квашнин или Ханенко, даже Шваньский, не говоря уже о докторях, которые продолжали навещать больного, хвастаясь своим искусством, Шумский на всех них смотрел одинаковым взглядом. Тотчас же при появлении кого-либо он становился угрюмее, мрачнее, иногда глядел озлобленно, как будто у него явилось теперь какое-то худое чувство ко всем людям, будто он обвинял их в чем-то...

И тотчас же по уходе кого-либо, даже Шваньского или Квашнина, он, оставшись наедине с Марфушей, тотчас же смотрел иным взглядом. Лицо его преображалось, он улыбался и снова начинал шутить.

Марфуша ясно видела это, глубоко чувствовала и была несказанно счастлива, но объяснить причины не могла. То объяснение, которое иногда вдруг приходило ей на ум, пугало ее, страшило, как несбыточная мечта, принимаемая ею за действительность.

Если поверить хотя на мгновение тому, что подсказывает сердце, то возврата потом не будет... Если поверить и ошибиться, то потом уже надо умереть или с ума сойти.

ЛII

Три существа были изумлены равно, думая часто о баронессе Нейдшильд и ее поведении по отношению к опасно больному. Сам Шумский, Марфуша и Пашута. Марфуша думала о красавице-баронессе больше и чаще всех и возмущалась.

– Хоть бы один разок прислали бы хоть лакея на квартиру узнать о здоровье больного?! – говорила сама себе девушка.

Сам Шумский вспоминал реже о Еве... Но о какой-то другой, новой Еве... Теперь их было две... Одна в каком-то ореоле потухающего света, но уже далеко... Там где-то, за «кукушкой», за покушением убить себя, за болезнью... Другая была ближе, вспоминалась просто и спокойно, но была совершенно не похожа на первую. К этой Еве Шумский, как бы против воли, относился с сомнением, с недоверием. Иногда ему хотелось даже отогнать

прочь эту Еву и вызвать ту, прежнюю, которая чудится вдали, застилаяемая всем пережитым... Но та Ева не приближалась, не «возникала» и не «жила» вновь в его мыслях и в его сердце, как бывало еще недавно.

Между ним и той Евой была теперь будто пропасть... А новая Ева была ему чужда...

И думая о двух баронессах Шумский иногда спрашивал себя мысленно:

«Уж не начал ли я опять бредить наяву. Ведь, ей-Богу, две их у меня. Одна милая, да уж там, далече в жизни, а другая вот тут, на Васильевском острове... Сейчас к ней послать можно, спросить о здоровье, что ли? Да не стоит! Не любопытно».

Был ли Шумский оскорблен невниманием Евы к нему, полным пренебрежением к его опасной болезни, от которой он мог умереть?.. Или эта болезнь повлияла на него загадочно и заставила теперь относиться ко многим и ко многому на – совершенно иной лад?.. Шумский сам не мог себе ничего объяснить.

– Все оно так... – говорил он себе. – А почему «так», а не иначе – неведомо.

Но вместе с тем ежедневно, чуть не по десяти раз на день он взглядывал на девушку, которая не отходила ни на шаг от его постели, и невольно повторял, как бы укоряя кого-то или убеждая себя:

– Да, вот эта... любит!

Наконец, помимо Шумского и Марфуши, не менее часто поминала баронессу и Пашута. И она тоже, как Шумский, иначе относилась к своей недавно боготворимой барышне. Пашута была будто оскорблена и, сама не понимая почему, негодовала на поведение баронессы относительно человека, которого та «якобы» любит...

Шумский и Марфуша удивлялись, что после неожиданного и единственного визита барона с дочерью, когда доктора собирались извлечь пулю, не было от Нейдшильдов ни слуху, ни духу... Но они обманывались... Пашута знала больше их и тоже обманывалась.

Барона и его дочери давно не было в Петербурге.

Пашута, тотчас узнав об отъезде Нейдшильдов, внезапном и быстром к себе в Финляндию, была настолько поражена странным известием, что не решилась передать это Шумскому. Сказать ему это возможно было бы лишь тогда, когда он совершенно выздоровеет, так как это должно было неминуемо тоже поразить его.

И Пашута, бывая изредка вечером на квартире Шумского на несколько минут из-за боязни полиции и ареста, ни слова не сказала о выезде Нейдшильдов из столицы.

Сама же девушка возмущалась и даже горевала, постоянно беседуя с капитаном о вероломстве баронессы.

И никто не знал правды.

Правда заключалась в том, что барон, заехав справиться о положении Шумского, решил, что раненый не выживет, не переживет операции извлечения пули.

Вернувшись домой, взволнованный и потрясенный барон объявил дочери... что граф Аракчеев из мести приказал ему лично во дворце немедленно выезжать из столицы как бы в ссылку.

Старик спасал свою дочь и свою честь. Хотел спасти Еву от удара и хотя бы временно предотвратить его! А свое имя спасти от позора!.. Он был уверен, что Ева при роковом известии потеряет голову. Помимо страданий и горя будет и позор, огласка, всеобщее презрение... Старик был убежден, что дочь при известии о положении Шумского, поняв, что ему остается жить несколько часов, тотчас бросится к постели умирающего обожаемого человека.

А этот офицер-блазень, презираемый или ненавидимый всем Петербургом, им ничто. Он даже не жених ее... Он был когда-то женихом необъявленным и всего один день.

Старик решился сразу, в несколько минут и, обманув дочь, увез ее далеко в имение в тот же вечер. Она уехала, ничего не зная о Шумском. И теперь Ева жила однообразной и скучной жизнью среди скал и озер своей родины, которую любила когда-то... Но ее тоскующее сердце было вечно там, в Петербурге. Она мечтала только о возвращении, о случайном свидании. А барон все ждал наивно известия о смерти Шумского, чтобы

осторожно передать его дочери.

И добрый, но ограниченный старик не знал и не предчувствовал, на краю какой страшной бездны стоит он сам и простодушно поставил свою дорогую Еву.